

ЮРИЙ  
КРАСНОПЕВЦЕВ

**РЕКВИЕМ  
РАЗЛУЧЕННЫМ  
И ПАВШИМ**



ЮРИЙ КРАСНОПЕВЦЕВ





Юрий Краснопевцев

---

**РЕКВИЕМ  
РАЗЛУЧЕННЫМ  
И ПАВШИМ**

---





ЮРИЙ  
КРАСНОПЕВЦЕВ

**РЕКВИЕМ  
РАЗЛУЧЕННЫМ  
И ПАВШИМ**



**СТАЛИНСКИЕ  
РЕПРЕССИИ**

ЯРОСЛАВЛЬ  
Верхне-Волжское  
книжное издательство  
1992

ББК 84Р7  
К 78

К  $\frac{4800000000}{M 139-(03)-92}$  Без объявления

Книга издана за счет средств спонсора —  
Тутаевского моторного завода

ISBN 5-7415-1011-6

© В. Ю. Краснопевцева, 1992  
© С. С. Логинов, оформление, 1992

---

---

Вспоминать об отце могу лишь со слезами на глазах — слезами невозполнимой потери. Отец был для меня скорее другом, чем отцом, а воспитание его основывалось на любви, доверии, взаимопонимании и не только ко мне, но и к другим людям.

Оставаться человеком, не озлобиться, будучи незаконно осужденным, — наверное, сложно. А тем более не просто любить страну, где сочли тебя почти врагом, но он любил и передал мне, его дочери, эту любовь...

Юрий Федорович Краснопевцев — уроженец Алтайского края — в 1927 году вместе с родителями в возрасте 10 лет выезжает в Китай. Учится в гимназии, затем в Харбинском университете, получает диплом инженера и наконец женится на русской. В 1943 году на свет появляется сын Юрий.

В 1945 году, после разгрома японских оккупантов, ему предлагают вернуться на Родину для участия в пятилетке восстановления и развития народного хозяйства. Вот тут-то все и началось...

Следствие на Родине заканчивается сообщением: «Судить Вас не будем ввиду отсутствия состава преступления». Но чуть позже (через 2 года) новое следствие и ...печально знаменитая 58-я на долгие годы становится его проводником за колючей проволокой ГУЛАГа.

События этого страшного времени легли в основу книги, для написания которой отец потратил 20 лет жизни. Очень хочется, чтобы потратил не зря и книга нашла своего читателя.

И еще немного истории. В 1979 году, проживая с семьей в городе Ярославле, отец получает визу на выезд в Австралию к сыну в гости на два месяца. Но выехать он так и не смог — власти не отпустили. Встреча с сы-



ном не состоится теперь уже никогда. В 1982 году папа умер.

Никакие документы, справки о невиновности не восстанавливают для сына отнятого у него в детстве отца, его тепла и заботы.

Пусть эта книга поможет ближе узнать о жизни папы всем, кто его знал, и особенно так и не встретившемуся с ним — сыну Юрию Конаш, ныне проживающему с семьей в Австралии. Ему она и посвящается.

ВАЛЕНТИНА КРАСНОПЕВЦЕВА

Конст. Симонов,

МОСКВА

Ю. Ф. Краснопеуеву

Насколько я правильно вас понял,  
- Вас, Юрий Федорович, и заинтересовали  
не столько мое мнение о ваших  
литературных способностях, кото-  
рые очевидны не только для меня, но  
я убежден - и для вас самого, сколько  
вопрос о том, можно ли рас-  
считывать на опубликование ваших  
рукописей

Вот на этот вопрос, весьма  
теплого прощитав ее - хочу вам  
без обидяков ответить. Могу, конечно,  
но, заблуждаться - но мое мнение,  
что рукописи эти - не для печати.  
При этом пишу такие вещи  
кредно - но все же, это менее обидно  
для автора, чем уклончивые ответы.

Возможно, что вы не заметите  
забрав рукописи сами я буду в  
отъезде - на всякий случай, заме-  
тите вашу рукопись вместе с  
этим письмом в конверт, передайте  
его своему секретарю - и попросите  
его запросить вас - как вам  
послать рукопись или вы пред-  
почтете получить конверт с ней  
у него.

Всем доброго!

К. Симонов

31.VIII 78



---

---

## ОТ АВТОРА

«Клевета» — вот то слово, которое раздастся из уст властей моей страны и, может быть, проштампуется пером талантливых и подневольных советских писателей после прочтения моих записок. Возможно, что им не дадут даже прочитать их полностью, а покажут процenzурованные выверты, которые представят меня «гидрой контрреволюции»...

А я не клевету, други-писатели, я фиксирую то, что десятилетиями сохраняет въедливая память, не хочет и не может дать покоя, тревожит разум и бередит сердце в редкие часы отдыха. Я не оговорился. Я работяга и проработал уже большую часть жизни на пользу своего русского народа. Гнетущие условия, в которых я пишу урывками, дают мне право на скидку, они далеки от ваших творчески-комфортабельных, но все равно я счастливее вас — рабом чужих мыслей, опошляющих ложью общечеловеческие идеалы и понятия, я стать так и не смог. Если при существующих порядках не увидит свет и пропадет мой титанический труд и, может быть, вместе с ним и я — ну что ж, с костлявой старухой мы давние знакомые.

Было время, когда я искренне поверил в добрые намерения очередных руководителей моей страны и, особенно, когда съездом было постановлено осудить культ личности и считать коммунистом не того, кто ищет для себя привилегий в удовлетворении материальных потребностей, а того, партбилет которого является свидетельством сознательной целеустремленности и правом на бескорыстный труд ради честного своего и своего народа счастья. Но прошло не так уж много времени, и факты, события и сама жизнь стали опять препарироваться, опутываться ложью, желаемой опять выдаваться за действительность, только в более утонченной форме. Прогрессировал и культ личности. Вся беда в том, что руководство и те, кто им близок, или, вернее, служит, материально давно уже живут, как должно быть при коммунизме — каждому по потребностям («Кремлевка»). Закрытое и тайное снабжение с доставкой на дом — вот мерило благопо-

лучия, за которое идет борьба, совершенствуются подлости, пухнет подхалимаж и стелется раболепие.

Так вот, други мои, вы тоже пользуетесь в той или иной мере этой кормушкой. Бытие определяет сознание, и вы не в силах противостоять натиску обстоятельств, жен, детей и близких — скрипите, но насилуете себя: поднимаете руку, где требуется, да и ногу, если подмигнут.

В этих первых письмах я пишу правду — я сам ее видел. Реалистическая и даже натуралистическая манера письма умышленно акцентируется мной, чтобы дикость трансформации натур, чувств и понятий под давлением основополагающей лжи и обмана предстала во всей своей неприглядности для самых черствых и каменных, чтобы была понятна опасность передачи власти и прав сильного удобным и послушным, эгоистичным и слепым корысти ради.

По вашим, други, писаниям все мы социалистические ангелы и готовы живот свой положить за единомышленников своих. А в действительности, когда спускаемся с трибуны, пониже и еще ниже, живем по Райкину: вы мне — тише едешь, я вам — дальше будешь, вы мне телевизор, я вам телефон. Конечно, есть в ваших писаниях и черти настоящие, рогатые, но непременно не наши доморощенные, а отрывка капитализма. И все правильно: человек совершенствуется тысячелетиями, природа — миллионами лет, и только природой человека можно объяснить чувство собственности у ребенка. Так стоит ли петь дифирамбы нашим «успехам» в формировании человека нового общества — за полвека — и еще выдавать их за массовые? Вред, который приносит такое вранье, вызывает улыбку у либерального Запада, а сами мы — слепоглухие Иваны, что ли? Ложь, которая, развиваясь с тридцатых годов, пронизала все внутренние системы нашего общества, рождает чудовищные извращения понятий и морали человека — единой для всех людей. У нас она стала основой приспособленчества, карьеризма, подхалимажа, протекционизма, скрытого взяточничества, блата.

Повернется ли у вас, други, язык утверждать, что этого нет, что это клевета? Не лучше ли подумать, как объявить ложь вне закона, приложить героические усилия к тому, чтобы измученный неверием народ обрел веру?

Мои письма — результат многочисленных наблюдений изнутри колоссального человеческого материала, и возможно продолжение еще после публикации первых, если я уцелею...

**Юрий Краснопевцев**

1976 г.

---

# РЕКВИЕМ РАЗЛУЧЕННЫМ И ПАВШИМ

---

П О В Е С Т Ъ

«Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считать себя невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты».

Из «Всеобщей декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, подтвержденной «Международным пактом о гражданских и политических правах», утвержденным Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 года

---

Посвящается сыну,  
Юрию Конаш,  
проживающему  
ныне  
в Австралии



## *Часть первая. ЗОВ РОДИНЫ*

### Глава 1. ПЛАТА ЗА ОТКРОВЕННОСТЬ

Серый «воронок» проскочил в широкий проем ворот без створок, с остатками петель на столбах, развернулся на небольшом гравийном пяточке между деревьями и остановился.

Задняя дверца машины открылась, из нее выпрыгнул уже немолодой старшина, одернул выцветшую гимнастерку и, не обернувшись, неторопливо зашагал по хрустящему гравию к двухэтажному зданию, полускрытому зеленью с мазками осенней желтизны.

Потом в прямоугольнике дверцы показалась сгорбленная фигура человека в очках, с бледным нездоровым лицом, в помятом костюме цвета «хаки» и японских ярко-рыжих ботинках. Человек этот ухватился за поручни, нащупал ногами железную ступеньку, неловко опустился на землю и двинулся вслед за старшиной, тяжело переставляя ноги. Перед бетонным крылечком в одну ступеньку человек остановился, чтобы передохнуть, и взглянул на спину старшины, мелькнувшую в темном провале дверей.

Через две-три секунды человек немного отдышался и с трудом одолел ступеньку. Войдя через открытые настежь



двери в темноватый вестибюль, он снова постоял там в нерешительности, поправил сползавшие очки, толкнув их пальцем к переносице, и тут вновь увидел старшину, который стоял против поднявшегося с табуретки сержанта. Старшина тоже взглянул на человека, жестом велел ему следовать за собой и опять показал спину. Широкий вестибюль раздвоился направо и налево коридором во всю длину здания. Старшина остановился около двери, обитой черной клеенкой, показал рукой на ряд стульев возле стены, а сам без стука отворил дверь.

Привезенный безучастно скользнул взглядом вдоль пустого коридора. Он едва успел сесть, как зашуршала дверь и старшина, высунувшись, поманил его пальцем.

В комнате висела тишина, нарушаемая чуть слышными звуками невидимого радио. За письменным столом, спиной к закрытому занавесью окну, сидел молодой советский офицер с погонами лейтенанта. Затягиваясь дымом от душистой папиросы, он посмотрел на вошедшего, чуть приподнялся и показал рукой на стул перед столом:

— Садитесь. Я знаю, что вы больны. Извините...

Вошедший удивленно поднял глаза — любезности он не ожидал, более того, успел уже забыть о том, что она существует в отношениях между людьми.

— Да вы садитесь! — мягко, но настойчиво повторил лейтенант, стряхивая пепел. — Ваша фамилия?

Вошедший взглянул на спину покидавшего кабинет старшины и чуть кашлянул:

— Вы же знаете — Алтайский Юрий Федорович, 1917 года рождения.

Голос Алтайского оказался неожиданно приятного тембра, с басовыми нотами, ясной дикцией и чистым произношением.

Лейтенант сказал серьезно:

— Так полагается... Я должен удостовериться...

Наступила пауза. Офицер призадумался, переложил стопочку бумаги, долго разглядывал перо на свет, потом еще раз пробежал глазами разложенные на столе документы. Они содержали анкетные данные о человеке, который сидел сейчас напротив. Этот человек, Юрий Алтайский, прожил в Китае восемнадцать лет.

Пауза несколько затянулась. Наконец, офицер оторвался от бумаг, вновь поднял глаза на доставленного.

— Следственным органам требуется от вас только

справка о человеке, которого мы отправляем в Союз, — несколько неуверенно начал лейтенант. — Не очень учтиво беспокоить больного, но я надеюсь, что вы нас поймете.

— Пойму, — тихо согласился Алтайский. — Можно вопрос? Скажите, гражданин лейтенант, вы знаете, чем я болен?

Офицер задержал ответ, наблюдая за Алтайским. Он увидел капельки пота на лбу, свисающую прядь слипшихся волос, временами оживающие глаза, точный цвет которых — голубой или серый — мешали разглядеть стекла очков. Глаза отразили интерес к ожидаемому ответу. Офицеру показалось даже, что в них мелькнул испуг, как в ожидании приговора.

— И да и нет, Алтайский, — откидываясь на спинку стула, сказал лейтенант. — Санчасть меня предупредила, что у вас, возможно, инфекционная болезнь, но точного диагноза нет, нужны анализы.

Алтайский опустил голову.

— Значит, не нервы и не перемена условий, — задумчиво сказал он. — А мне так нужно быть здоровым...

— Вы, наверное, сами не побереглись, — сделал офицер предположение.

— Возможно, — согласился Алтайский, — в окрестностях Харбина мне пришлось есть немывтые помидоры прямо в поле, пить воду, какая попадет, а ведь они могли быть специально заражены японцами холерным тифом.

— Вы работали в штабе охраны общества советских граждан?

— Работал, — рассеянно ответил Алтайский, думая о чем-то своем.

Офицер улыбнулся.

— Кстати, к вашему сведению, — сказал он, — работа в составе вооруженной охраны до прихода частей Красной Армии приравнивается к участию в партизанском отряде. Сейчас вы хотя и в изоляции, но не арестованы. Постарайтесь понять нас, проверить-то надо, ведь много вас таких, приехавших на Родину. И последнее — пожалуйста, не называйте меня гражданин лейтенант. Меня зовут Константин Сергеевич Гладков, следователь СМЕРШа. Закуривайте, Юрий Федорович!

Алтайский внимательно посмотрел на Гладкова: хорошая улыбка, типично русское, немного широкое лицо, ровный пробор на русых волосах, грубоватые руки — точно такие же, как у лейтенанта Васи, которого, когда подошли

советские войска, со взводом бойцов послал в помощь группе Алтайского военный комендант Харбина.

Алтайский неловко взял папиросу из незнакомой пачки с какой-то картой и надписью по диагонали «Беломорканал», прикурил от непривычно толстой советской спички. От затыжки зашумело в голове, он наклонился и оперся локтями о колени.

Гладков прервал молчание:

— Я не хочу вас утомлять, — сказал он, — приступим к делу?

Алтайский согласно кивнул головой. Гладков продолжил:

— Следственным органам нужна справка о князе Верейском, арестованном нами месяц назад в Харбине. Вы его знаете?

— Хорошо знаю.

— Давно?

— Наверное, с тридцатого года — выходит, лет пятнадцать. Я был еще мальчишкой-школьником, когда он женился на старшей сестре моего друга детства Вадима Крутова — Любе...

— У вас уже тогда были с ним короткие отношения?

Алтайский внимательно посмотрел на Гладкова:

— Это, конечно, шутка? Отношения между нами тогда не могли быть короткими; он старше меня без малого на двадцать лет, он бежал с Родины после революции, а я выехал из Владивостока вместе с родителями на КВЖД в двадцать седьмом году.

— А когда вы с ним познакомились короче?

— В сороковом году, — нерадостно и даже раздраженно сказал Алтайский. — Я только что закончил университет, а мой друг Дима Крутов, о котором я уже говорил, вместо того, чтобы получать диплом, надумал жениться. На его свадьбе Верейский неожиданно предложил мне выпить с ним на брудершафт...

— Что вам было известно о его работе?

— Тогда я знал, что он журналист, хорошо зарабатывает, отец двоих детей, с женой живет не очень дружно. Через год я убедился, что он аморален и грязен...

— Значит, после свадьбы Крутова вы с ним стали часто встречаться?

— Нет, я опять его не видел и не слышал довольно долго, больше года. Но как-то днем Верейский позвонил мне на работу, хотя номера телефона я ему не давал, и по-

просил зайти в кафе вечером, как он сказал, «просто так, давно не виделись». Я пришел и оказался в компании стариков, душой которой был Верейский. Там были Демешко — в прошлом какой-то чин монархического союза во Франции, Иванов — бывший меркуловский премьер, фотограф Абламский, журналист Зиберт, наркоман и пьяница Ульянов... Верейский, между прочим, и пробудил во мне интерес к политике, желание разобраться в окружающем мире, определить свое место в нем. Но все это я осознал позже, а тогда лишь слушал Верейского да поддакивал. Верейский сразу посчитал, что обработал меня, что я молод и глуп, и раскрыл в первую же встречу цель приглашения. Он предложил мне распространять среди знакомых содержание «бюллетеней» своего производства, в которых будет раскрываться, как он сказал, известная ему, журналисту, правда о происходящих в мире событиях. Он показал на стариков: смотри, мол, какие седые бороды и блестящие лысины будут с нами... Не знакомый, в общем-то, со стариками, но зная с детства самого Верейского и Ульянова, я быстро среагировал, сказав, что моя жена советская гражданка и я едва ли буду для них подходящим человеком. Но к этому времени Верейский был уже пьян и мои слова пропустил мимо ушей...

— Вы можете рассказать, в чем состояла, как бы это сказать... техника пропаганды, что ли? — спросил Гладков.

— Простая и несовершенная, просто глупая, — ответил Алтайский. — Я думаю, что он просто морочил голову тем, на кого работал... Раз в неделю Верейский собирал своих сообщников, читал им и комментировал «бюллетень», просил запомнить и при случае пересказать знакомым.

— Содержание «бюллетеней» вас удовлетворяло? — спросил Гладков. — Оно соответствовало вашему настроению?

Алтайский отрицательно замотал головой:

— Вот в том-то и дело, что обещанная им правда была «правдой» в кавычках — бездарные перепевы пропагандистских мотивов оси Берлин-Рим-Токио, антисоветские анекдоты времен отступления. Запоминать и пересказывать их мог бы мерзавец или последний дурак... «Бюллетени» эти были шиты белыми нитками даже для не очень проницательного слушателя.

— Значит, вам не нравился Верейский и вы не разделяли его взглядов? — снова спросил Гладков.

— Да, не разделял, — ответил Алтайский. — И тем не

мене я оказался его сообщником — у меня ведь не хватило мужества сказать все, что я о нем думал. Как бы он ни был мне противен, я выпивал с ним, поддерживал другие отношения, хотя и не занимался распространением «бюллетеней». Вина тут обыкновенная трусость: я ведь понимал, что стоит Верейскому выразить сомнение в моей лояльности «Русскому центру» или «Бюро по делам российских эмигрантов», как моя песенка была бы спета.

— Вы откровенны, — сказал Гладков таким тоном, что Алтайский не понял, чего было больше в этой фразе, одобрения или осуждения. Беседа истощила силы Алтайского. В глазах у него потемнело, он покачнулся, но удержал равновесие, ухватившись за край стола. Преодолев приступ слабости и спокойно глядя на следователя, Алтайский сказал:

— Я ничего не хочу таить, я приехал на Родину... Не знаю, поймете ли вы меня?..

Гладков промолчал. Он заметил, как Алтайского шатнуло, как он чуть не свалился со стула, и теперь раздумывал: продолжать ли разговор.

Алтайский посмотрел через окошко на свисающие ветви осеннего вяза, перевел взгляд опять на собеседника и сказал:

— Я продолжу, только не задавайте мне вопросов, я все расскажу сам... Может быть, расскажу лишнее и вредное для себя... Вы первый советский человек, с которым я так откровенен. Я просто не могу иначе... И я догадываюсь, что вам нужно знать о Верейском, — Алтайский устало выпрямился, стул под ним скрипнул. — В общем, через некоторое время после «выхода в свет» пятого или шестого «бюллетеня», под предлогом, кажется, чьего-то дня рождения, в отдельном кабинете ресторана «Эдем» Верейский организовал банкет вскладчину, на который пришли все те же старики... Особенно мерзок мне был Ульянов. Он, не стесняясь, хвастался, как с каким-то японцем, не то полицейским, не то жандармом, издевался над китайцами. Да... Ко времени этого банкета я уже начал наблюдать и слушать. Шла война. Я пытался понять то, о чем не хотели или не могли говорить открыто — я выпитывал в себя, как губка, обрывки сведений о действительном положении на фронте, на оккупированных немцами территориях. К концу банкета к нашей компании присоединился невысокий японец в штатском, которого я узнал... Тут я окончательно понял и Верейского, и неведомый мне «Русский центр».

Понял, что они ищут хозяев... Вернее, Верейский уже нашел и хочет набить себе цену показом группы, а возможно, и продать кого-нибудь из числа еще не проданных.

— Как фамилия японца? — спросил Гладков.

— Поручик Камимура, хотя Верейский назвал его Каназава, — ответил Алтайский. — Но я не мог ошибиться, я видел его в свое время на выпускном акте в университете. Видел в военной форме в качестве адъютанта начальника военной миссии генерала Янагида. Фамилию Камимуры я прочитал потом в газетном отчете. Не знаю, то ли потому, что этот японец выделялся броской внешностью среди других военных, то ли из-за его молодости — он был лишь на два-три года старше нас, выпускников университета, но поручик мне хорошо запомнился...

Алтайский вопросительно взглянул на Гладкова — о том ли он говорит, надо ли все это рассказывать? — и когда Гладков утвердительно кивнул головой, как бы соглашаясь, продолжил:

— И вот... Сначала я растерялся, потом струсил, при знакомстве выдал комплимент его русскому языку и внутренне затаился. Вид у меня, очевидно, стал не банкетный, так как Верейский начал усиленно подливать... Я встречал много хороших людей среди гражданских японцев. Даже они не любили чопорных, чванливых офицеров, которые выдумали о себе поговорку: нет цветка краше вишни и человека лучше воина. На самом деле японская военщина была олицетворением тупости, коварства и жестокости... Сколько их было в Маньчжурии еще до тридцать второго года, жили там под видом прачек, парикмахеров, лавочников! Мне, как и всем русским, было за что не переваривать этих «гегемонов» Восточной Азии... Даже на улице приходилось оглядываться, как бы не встретить купленную им какую-нибудь сволочь, свою же, русскую, да не сказать ей случайно чего-нибудь лишнего. По малейшему подозрению любой из нас мог исчезнуть в военной жандармерии, как мой учитель Мячков, как Слава Дедюхин, которого подбросили на крыльцо матери с переломанным хребтом... Защиты не было никакой. Советское консульство пыталось что-то сделать, но получало обычный ответ: «Нашему командованию ничего не известно...»

— Значит, вы поняли, что через Верейского попали в сети японской военной миссии? — спросил Гладков.

— Нет, — подумав, ответил Алтайский. — Мне ничего не предложили ни тогда, ни потом... Ни Верейский, ни Ка-

мимура... Наоборот, когда после банкета я спросил Верейского, кто же этот японец, он ответил, что Каназава — сотрудник телеграфного агентства «Кокупу», знаком ему по журналистским делам и оказался на банкете случайно... Думаю, что Верейский был уже давно завербован японской военной миссией. С какого времени, чем занимался — этого я, к сожалению, сказать не могу, даже пьяный он не был со мной откровенен.

Гладков начал быстро писать, то и дело обмакивая скрипучее перо в фиолетовые чернила.

— Курите, — коротко сказал он, не поднимая головы.

Курить Алтайскому хотелось. Он потянулся рукой к лежащей на столе пачке с папиросами, как вдруг одна неожиданная мысль на полпути остановила его. На какое-то мгновение рука Алтайского застыла в воздухе.

Движение Алтайского заметил Гладков и поднял голову:

— Вы не стесняйтесь, — сказал он.

Алтайский опустил руку.

— Я не стесняюсь. Просто я вспомнил о своей болезни. Может, сами дадите мне папиросу? И спичку тоже...

Гладков засмеялся:

— Пожалуйста, только болезнь ваша для меня опасности не представляет, нам сделаны соответствующие прививки.

— А я живу в общем бараке. Думаю, там ни у кого нет прививок. Японцы делали их только себе, а русским и китайцам — лишь когда их слишком много дохло!

— Сильное выражение! — усмехнулся Гладков. — У нас так не принято говорить о людях!

— Но именно таково было положение русских и китайцев на захваченной японцами территории, — объяснил Алтайский и с горечью добавил: — а чем оно лучше сейчас, после прихода советских войск?

— Насчет отсутствия прививок у людей, живущих в вашем бараке, вы ошиблись, — возразил Гладков. — Прививки были сделаны всем без исключения в первый же банный день. Вы в бане, очевидно, не были и потому ничего о прививках не знаете. А может быть, прививку вам сделали раньше? Вас кололи?

— Кололи, — смутился Алтайский. — Значит, вы не списываете нас в утиль?

— Ну, что за глупости! — укоризненно ответил Гладков. — Вы такие же люди, русские к тому же...

— Выходит, вы не делаете разницы между своими людьми и нами?

— Разница все-таки есть, ее не может не быть, — нахмутив брови, произнес Гладков. — Посудите сами: одни вынесли на плечах всю тяжесть фашистского нашествия и победили, другие в это время отсиживались в эмиграции... Тем не менее мы стремимся видеть в вас прежде всего просто людей... И знаете, Алтайский, по-моему, у вас совершенно дикое представление о советской действительности!

— Возможно! — согласился Алтайский. — Но, может быть, и вы не все знаете. А я сужу по фактам... Всеобщие прививки — это действительно хорошо. Но вот вы говорите, что видите в нас прежде всего людей, а были ли вы в нашем бараке? Спим мы мягко — на полу, вот на таком слое пыли, — показал Алтайский пальцами. — Вповалку и только на боку, потому что иначе не хватает места... Больные и здоровые, мы лежим все вместе: поворачиваемся с боку на бок по команде! В бараке нет освещения, пробраться ночью по естественной нужде, не наступив на кого-нибудь, не получив пинка или просто в морду — невозможно... Еду, правда, дают — пять или шесть бачков на барак, но как и чем есть? У нас нет ни мисок, ни ложек, только банки из-под тушенки, одна на двенадцать человек, и щепочки. Разве можно так относиться к людям? Могу ли я поверить, что вы считаете нас за людей?

— Знаете, Алтайский, — сказал Гладков, — это общее положение — фронт! Хорошо еще, что мы сейчас можем дать вам крышу над головой. Вы скоро сами увидите наши полевые госпитали, вас вот-вот переведут туда, как и всех больных из барачков. Тогда поймете, почему вас держали в этом бараке, — госпитали переполнены... И главным образом, гражданским населением. Больные лежат в проходах, коридорах — где только можно! Понимаю, что вы удручены ужасными неудобствами, что в окружающих вас условиях видите подтверждение тому, что вам долгое время вдалбливала японская и белоэмигрантская пропаганда. Поверьте, все это временно! Будет у вас все необходимое, как бы ни было и вам и нам трудно. Вы скоро в этом убедитесь!

Алтайский слушал внимательно, выражение лица его менялось, и при последних словах Гладкова угрюмость и недоверие исчезли. Он опустил голову. Все тело опять налилось свинцом, руки уцепились за стул.



— Константин... — начал он, поднимая голову, но замялся.

— Сергеевич, — подсказал Гладков.

— Константин Сергеевич, — повторил Алтайский, — вы извините меня за грубость, резкость, может быть, неправоту. Я все понимаю. Трудно не понять, когда вот так просто, по-человечески объясняют мне мои заблуждения. Жизнь сложна, мне она давалась с трудом. Кажется, что хуже тебя никто не жил и не живет, хотя это, очевидно, не так...

— Верно, Алтайский! — согласился Гладков. — Эгоистом нельзя быть, особенно если вы хотите жить в Советском Союзе. Однако, мы отвлеклись...

Гладков вытащил из пачки папиросу, передал Алтайскому и заскрипел пером.

Алтайского давила тяжесть, мысли роились в голове. Конечно, он не прав, жестоко не прав. Он жив, и рыжие трофейные ботинки, что на нем, получены взамен его единственной «жертвы» войне — носок его полуботинка был отбит пулеметной очередью при ночном рейде отряда охраны. А сколько погибших, искалеченных среди русских — его соотечественников, которые до последней капли крови, мысли и дыхания дрались за Родину? Может ли его личное унижение на чужбине сравниться с унижениями и страданиями тех, кто был под кованым сапогом оккупантов, не просто топтавших русскую землю, но терзавших тела исконных владельцев этой земли? Его личное существование сейчас... А знает ли он, как живут те, у кого война отняла кров, родных и близких, вместо которых остались дымящееся пепелище да обгоревший, окровавленный кусок одежды сына, отца, жены или матери? А он все-таки жив! Может быть, незаслуженно, но жив! Болезнь? Ну, что же...

«Если я умру, — подумал Алтайский, — значит, не заслужил счастья жить на Родине...»

— Что вы можете добавить к сообщению о Верейском? — раздался вдруг голос Гладкова.

Алтайский вздрогнул, растерянно посмотрел вокруг, как будто кто-то подслушал его мысли.

— Может быть, вспомните какой-нибудь случай, характеризующий его с моральной или с политической стороны?

Враз все мучившие его мысли, обрывки прошлой жизни озарились внезапной вспышкой — Алтайский понял, что сравнивать свои невзгоды с унижением и страданием цело-

го народа — мелко, недостойно, даже подло... Эгоизм, трусость, другую мерзость, накопившуюся в душе за годы жизни в отрыве от Родины, надо безжалостно выкорчевывать... Разговор со следователем — это как исповедь перед священником, она очищает душу и совесть, делает человека порядочнее...

— Да, могу добавить, — выговорил Алтайский.

Гладков взглянул на часы, лежавшие перед ним на столе, и сказал, заторопившись:

— Если вам трудно или, может быть, неприятно вспоминать — я не настаиваю...

— Нет, я расскажу! — упрямо сказал Алтайский. — Примерно через год после знакомства с первым «бюллетенем» Виктор Хван, знакомый врач-кореец, женатый на русской, пригласил меня с женой поужинать в ресторане. Садясь за столик, я увидел Верейского, он тоже заметил меня, встал, покачнулся — уже вдребезги пьяный — и церемонно раскланялся. Рядом с ним сидели какие-то типы и раскрашенная полная женщина. Это было очень неприятно. Контраст между непринужденным разговором, который мы только что вели, и впечатлением от этой компании почувствовал не один я. Весь вид Верейского вызывал омерзение: претендующие на аристократичность, развязные, «княжеские» жесты и, как обычно, неопрятный, всегда залитый чем-нибудь костюм, крупный подбородок в каплях жира. В общем, Верейский сидел против меня через два столика, я старался на него не смотреть, и он это почувствовал. Через некоторое время, когда я уже забыл о нем, Верейский вдруг встал во весь рост и, смотря вокруг мутными глазами, потребовал: «Господа, молчание!» Его мало кто слушал, но он закатил здравицу за «великий Ниппон». Кое-кто встал. Я сидя взглянул на него и увидел, что он уставился на меня стеклянными глазами... Я, как лягушка под взглядом удава, тоже поднялся... Сидящий рядом кореец, окончивший русскую школу, сделал вид, что не понимает.

Алтайский понизил голос:

— Понимаете, насколько гадким было сознание своей ничтожности, трусости, бесправия... Как мне было стыдно смотреть на Виктора Хвана, на наших жен! Стыдно от сознания потери своего человеческого достоинства... Мне тогда показалось, что все посетители ресторана смотрят на меня с осуждением и плохо скрытым омерзением. И действительно, получилось, будто своим вставанием я публично

подтвердил, что то ли я последняя мразь, то ли единомышленник, сообщник Верейского.

Алтайский опустил голову и... неожиданно почувствовал облегчение — тяжесть, давившая его, вдруг словно потеряла вес. Он тотчас сообразил: это облегчение наступило оттого, что ему впервые за долгие годы удалось излить душу русскому человеку, который, хотя сам и не познал горечи холопского унижения, но, очевидно, хорошо его понял.

— Да, Алтайский, — подтвердил эту мысль Гладков, — жили бы вы на Родине, никогда не испытали бы ничего подобного. Вы бы дрались, может, умирали, но не испытывали унижения — обстановка, общество, воспитание не позволили бы вам этого.

Алтайский внимательно посмотрел на Гладкова, но вдруг остро почувствовал, что запас нервной энергии иссяк и он уже не в состоянии поддерживать дальше тонус своего обессиленного тела — мысли вновь начали путаться... Он услышал голос, который прозвучал в его ушах глухо, словно издали или через стенку:

— Алтайский! Еще один вопрос. Скажите, вы продолжали встречаться в Верейском?

— Да, встречался. Он долго преследовал меня, приходил ко мне домой, втерся в доверие жены. Я уж стал безработным и, по-моему, перестал быть для него интересным, но он все равно приходил по праздникам, может быть, вел за мной слежку...

— Еще один вопрос: когда он вам дал последний «бюллетень»?

— По-моему, в конце сорок третьего года.

— Хорошо, Алтайский! Вы сейчас вернетесь в барак. Я поговорю с товарищами, чтобы вас положили в госпиталь.

Гладков кончил писать и протянул несколько листов — они были нарезаны из военных топографических карт и заполнены по обратной белой стороне мелким бисерным почерком.

— Познакомьтесь и подпишите, пожалуйста...

Конец подписи Алтайского пополз — он уронил голову на руки и потерял сознание.

Лишь много недель спустя Алтайский узнал, что после беседы с Гладковым в тот же день, 23 сентября 1945 года, был подписан ордер на его арест — собственная откровенность перевела его в разряд подсудимых. Позже узнал Алтайский и о полном беспределе тех, кто по доносу, по за-

писке или по произволу владельцев тихих кабинетов должен был признаваться в несодеянных преступлениях и тем подтверждать рожденную этими властелинами кабинетов мудрость: был бы человек, а статья найдется!

## Глава 2. УТРО ПОСЛЕ ДОПРОСА

Было утро. Нежаркое осеннее солнце пробивалось в небольшое оконце рядом с входной дверью в барак. В его косых лучах висела пыль, она клубилась в стремительном танце за бесцельно шатавшимися взад-вперед обитателями барака — небритыми, нестриженными, пестро одетыми...

Алтайский все еще лежал в углу, куда его положили вчера, доставив после допроса. Тяжесть, которой было налито тело, буквально вдавливала его в пол; не хотелось шевелиться и даже поднимать веки. Смутный тихий говор, шарканье ног прогуливающихся — все это успокаивало, навевало сон. Но мысли то и дело начинали беспомощно метаться — думалось обо всем сразу.

Хорошо ли он сделал, что не удрал при приближении Советской Армии? Стоило только захотеть... Ведь начиная с 15 августа, можно было сесть в любой из шедших на юг поездов... И никаких разрешений уже не требовалось. А дальше? Австралия, Южная или Северная Америка, чужой язык, затем натурализация — получение подданства и последующее растворение в многоязычном мире... Человек без роду, без племени... Если бы повезло, как Леониду Дурову, — был бы «боссом», не повезло — вечным посудомоем в каком-нибудь портовом кабачке. И вечно бы снилась северная белая березка, русский говор, русская толпа...

А некоторым везет и на чужбине... Вот хотя бы тот же Леонид Дуров — в тридцать восьмом он уехал из Китая в Сан-Франциско, спустя полгода писал оттуда Алтайскому, что истратил последний доллар и теперь прочно сидит на мели. И вдруг та статья в «San Francisco Examiner», надевавшая в их кругу немало шума... Оказывается, какая-то журналистка, получив командировку в десяток латиноамериканских стран, задумалась: как за два часа, оставшихся до рейса самолета, получить все визы? В первом же консульстве ей подвернулся паренек, который отправил ее домой укладывать вещи, сказав: «Это пустяки, мадам, не беспокойтесь, встретимся на аэродроме, все будет сделано». Когда журналистка приехала на аэродром, паренек уже

ждал ее, приветливо улыбаясь, — все визы были отшлепаны на листках паспорта. «Этим человеком оказался еще не настоящий американец Лео Дуров, собирающийся открыть оффис по адресу...» — так журналистка закончила статью в четверть страницы с броским заголовком. И все. Не зря говорят американцы, что реклама — двигатель прогресса. Через полгода «Leo Dougov Office» имела две машины и двоих служащих, через год — десятерых служащих и почти пол-миллиона годового оборота...

Ну, а чем все кончилось? Началась война. Лео Дуров бросил свой оффис — березки, наверное, вспомнил — пошел добровольцем в армию оскорбленной, но не покоренной Франции и погиб в предместье Парижа бойцом Спротивления. Страшная эта штука — ностальгия!

А ему, Алтайскому, разве можно было бежать от березок, когда они сами подходили к дому, предшествуемые громом артиллерии Советской Армии? Рано или поздно, все равно потянулась бы к ним душа, если в ней осталась хоть капля от своего народа. Эта капля не позволила бы долго унижаться в прислугах или холоуях. Да и кто бежал-то? Родзаевский — «фюрер», прихлебатель голодранно-эмигрантской фашистской партии, семеновские генералы и некоторые бывшие царские офицеры, у которых уже давно была продана душа черту и рыльце было не то что в пуху, а в густой шерсти! Даже князь Верейский, которому, оказывается, нечего было ждать хорошего от советской власти, затосковал по березкам...

Дальше всего пошло своим неумолимым ходом: Квантунская армия в середине августа капитулировала, но ее офицеры, выполняя гласные приказы своего высшего командования о капитуляции, в то же время отдавали и другие, тайные, приказы — об уничтожении всего, что было ценным и для победителей и для народа... Прав был советский консул, когда еще в сорок первом году в ответ на просьбы молодежи отправить на фронт ответил: «Сидите смиренно, на фронте и без вас обойдутся, а вы, придет время, и здесь пригодитесь». И верно: пригодились. Именно молодежи выпало захватить в момент ухода японцев один из арсеналов, вооружиться и затем охранять до подхода частей Советской Армии военные и промышленные объекты, пути сообщения, а также жизни и имущество людей в потерявшем власть городе. Авторитет красного флага стал символом порядка в японском тылу еще в тот момент, когда главные его носители — бойцы и командиры Советской

Армии — огнем сметали отдельные части Квантунской армии, осмелившиеся не подчиниться приказу императора о капитуляции.

Красный флажок на радиаторах отбитых у японцев машин, красная повязка на рукаве — вот что вселяло силы, давало права в японском тылу эмигрантской молодежи, объединенной общим порывом любви к Родине. Когда прилетел в Харбин первый краснознаменный авиадесант, среди него жертв не было — аэродром и многие километры вокруг него были уже под контролем «красных повязок». Когда подошли первые задымленные пылью и гарью самоходки — на окраине города и далеко за его пределами их встретили кордоны «красных повязок». А какое радостное чувство ликования охватило «красные повязки» при встрече с первыми вестниками надвигающейся мощи — невероятной мощи народа, еще пахнувшей зеленью родных берегов...

Первые объятия, первые прикосновения к пропитавшимся потом гимнастеркам, таким добротным, пахнущим тысячами километров покоренных пространств, невероятно родным и близким. Золото погон слепило глаза, это был не тот блеск, имитацию которого приходилось видеть прежде на пыжащихся фигурах бурелома — отдельных представителях белого офицерства, появлявшихся в Харбине с благословения прежних хозяев. Это было настоящее золото настоящих погон настоящей армии-победительницы...

Дни летели как минуты, и хотя краснознаменных частей становилось все больше, работы тоже прибавлялось — нужно было быть и проводниками, и переводчиками, и дипломатами во взаимоотношениях красноармейцев с японским и китайским населением, и «разоружителями» японских частей в отдаленных населенных пунктах, и борцами с уголовным элементом. И все же караулы «красных повязок» начали постепенно сменяться частями Советской Армии — и через некоторое время на постах остались лишь самые дальние караулы. А потом случилось непонятное для Алтайского...

На пост охраны приехал капитан и срочно вызвал начальника поста — требовался переводчик, как объяснил капитан. Начальником поста был Алтайский. Что за черт? Неужели в городе не нашлось переводчика? Но раз надо, значит, надо: «красные повязки» уже хорошо усвоили, что приказы требуется выполнять. Машину на обратный путь капитан обещал дать.

И вот бывшее японское консульство, третий этаж, недолгое ожидание. В кабинете появляется майор.

— Скажите, товарищ Алтайский, вы хотели бы поехать на Родину участвовать в пятилетке восстановления и развития народного хозяйства? — спросил он еще с порога.

— С удовольствием! — искренне ответил Алтайский.

— Ну вот, наши мысли сходятся с вашими! — в тон Алтайскому, так же бодро произнес майор и, сделав паузу, добавил: — но сначала нужно выяснить кое-какие обстоятельства вашей жизни, а это, как вы понимаете, не совсем просто... Я должен огорчить вас, — майор опять сделал паузу, — хотя мы и учитываем ваш энтузиазм, ваш вклад в наше общее дело, но для порядка, повторяю, мы вынуждены задержать вас на несколько дней. Разрешите ваше оружие...

Алтайский замер на какое-то мгновение, превратившись в недвижимый соляной столб. Что это? Арест? Задержание? Или недоразумение? Только утром он был на очередном докладе у коменданта города, и тот сказал, что представил его к награде... Какой контраст представляет услышанное от майора с тем, что говорил утром генерал!

Майор стоял молча, ожидая сдачи оружия, которое Алтайский добыл именем Родины. Значит, промелькнуло в голове, значит он ей уже не нужен? Промелькнула мысль о застенках НКВД, о которых трубили много лет все газеты мира... Нет, все это вздор, просто недоразумение, в котором быстро разберутся: переводчика русского языка ведь не надо, здесь — свои, это не жандармерия, не гестапо. Неужели вот этот майор не поймет, с какой силой и откровенностью сердце Алтайского тянется к Родине?

Майор словно прочитал его мысли:

— Послушайте, товарищ Алтайский, — сказал он примирительно, — проверку-то нужно сделать, прежде чем пустить вас участвовать в народной пятилетке!

«А может, кончить все разом?» — подумал Алтайский в ту минуту, когда медленно потянул ремень автомата с шен...

И майор тоже это понял — лицо его стало строже, он опустил протянутые за оружием руки и выпрямился.

Вера в правду, в собственную правоту встали железной стеной за спиной Алтайского — автомат лег на стол, а еще через минуту и кобура с пистолетом. Майор облегченно вздохнул и взял оружие.

...Когда громынула дверь подвала и Алтайский увидел

в нем притихшую, скученную толпу, за своей спиной он почувствовал только тяжелую, обшитую листовым железом дверь — вера осталась за дверью, ее задержал автоматчик.

А без веры было плохо. Еда казалась безвкусной и не лезла в глотку, ему хотелось только пить. И кто знает: может, не помидоры в поле, не водопровод, умышленно зараженный японцами перед отходом были причиной его болезни, а именно отсутствие веры.

Еще через неделю колеса отсчитывали по стыкам километры на пути к Родине, двери вагонов были открыты — ехали добровольцы на пятилетку восстановления и развития народного хозяйства.

Когда поезд на небольшой скорости пересекал пограничные туннели, Алтайский услышал в мгновенно наступившей тишине стук собственного сердца. Вера вместе с надеждой вновь показались было в открытых вагонных дверях, но лишь на очень короткий срок. Сразу после пересечения границы двери вагонов опять оказались наглухо закрыты, на площадке встали автоматчики, залаяли собаки... Если в тридцать пятом году возвращавшихся «кавежедеков» встречали с оркестрами и посадили только через два три года — то теперь по всему было видно, посадят сразу...

«Плохо жить без веры в людей, в справедливость, — подумал Алтайский, — вот и болею сейчас. А где взять веру? Недоразумение с задержанием «на несколько дней для выяснения некоторых обстоятельств жизни» тянется уже три недели, и никому-то до тебя дела нет: вчера впервые спросили, да и то не о тебе, а о Верейском... Подожди! Как вчера сказал лейтенант? «Вы не арестованы, вы не заключенный». В самом деле, разве это застенки?»

Алтайский приоткрыл глаза и посмотрел на дверь: через щелки, тоненькие и острые, пробивались солнечные зайчики. Невольно думалось: не возвращается ли вместе с ними и потерянная где-то за стенами барака вера? Алтайский резко приподнялся и охнул от боли: живот, казалось, наполнился тысячами иголок, голова будто разломилась пополам, она глухо стукнулась об пол — удар был смягчен сложенным вчетверо пиджаком цвета хаки.

Около Алтайского захлопотал Борейко — бывший воспитанник военно-инженерной академии, бывший первый начальник первого в Российской империи аэродрома в Гатчине, бывший доцент политехнического института КВЖД, бывший инженер-полковник... Бывший, бывший, бывший... И неизвестно — кто теперь.



Уже две недели, с момента, когда вагон, в котором они ехали вместе, пересек границу Родины, Борейко не расставался с Алтайским. Разница в их возрасте находила выражение лишь в подчеркнутой почтительности младшего.

Еще совсем недавно Борейко сохранял душевную молодость, общительность, энергичность, прямоту, даже грубоватость в сочетании с необыкновенной ясностью инженерного мышления и свойством быстро сходиться с людьми — качества, которые Алтайский замечал вообще у всех инженеров старшего поколения. У Борейко лишь было больше мягкости. А сейчас он таял на глазах: душевные переживания обнажали прожитые годы с непостижимой быстротой — энергии уже не хватало, ясность мысли сочеталась с наивностью, со склонностью к преувеличениям в восприятии фактов, к незаметным компромиссам в быту.

В пути Алтайский спросил его:

— Дмитрий Александрович, как вы не испугались неизвестности? Ведь мы, наверное, будем строителями; придется встретиться и с холодом, и с голодом, и с неустроенностью...

— Ну, батенька мой, это я все давным-давно прошел, еще с четырнадцатого года, когда приехал на КВЖД, — прервал Борейко. — И должен сказать, что силенки у меня еще хватит... Вот только, знаете, ваша трактовка целей нашей поездки меня смущает. Меня взяли, когда я упомянул о себе как о бывшем офицере царской армии. О том, что я инженер, меня не спросили...

Когда переехали границу и были закрыты двери, а на площадках встали автоматчики, Борейко в одночасье осунулся и постарел.

— Знаете, Юра, — тихо начал он, — я носил погоны, служил в армии, но всю жизнь считал себя прежде всего инженером. В двадцать восемь лет в звании полковника был назначен начальником аэродрома в Гатчине, хотя эта должность генеральская. Меня назначили, потому что я окончил с отличием военно-инженерную академию. Но, понимаете, чтобы занимать этот пост, мало обладать хорошими знаниями — требовалось иметь связи, а у меня их не было. Меня просто вытурили в Маньчжурию, когда моя должность приглянулась другому, со связями, но я насколько об этом не жалею. Во-первых, край — чудо, во-вторых, в работе самостоятельность, размах... Впрочем, вы сами знаете или слышали, что значил тогда инженер в этом диком, первобытном крае... Революция прокатилась

где-то далеко, было лишь забавно встречать сановитых петербургских знакомых, ныне ободранных и нищих. Они уже забыли, как вытуривали меня из столицы, да и я не помнил зла, в душе даже был им благодарен. Помогал им, кормил... вот, пожалуй, и вся моя вина перед советской властью. Но я вижу среди нас людей, которые, не стесняясь, рассказывают, как ходили по заданию японцев в советское Приморье, проходили какие-то учения по советскому уставу с переодеванием в советскую военную форму, обращались друг к другу в каких-то походах со словом «товарищ», изучали подрывное дело, помогали выкрадывать советских пограничников. Это одна категория людей, их «заслуги» и хвастовство мне непонятны — то ли надеются, что их кто-то выручит, то ли хотят показать себя идейными борцами. Но ежели они борцы за идею — то за какую? Это мне не понять! Как можно красть своих же, русских, в угоду японцам?!

Борейко помолчал, понял, что отвлекся, не закончил начатой мысли и продолжил:

— Еще среди нас есть важные чины полиции, один жандарм, о которых вы, Юрий Федорович, тоже, наверное, знаете... Кто не знает, как они издевались над своими же русскими. И они молчат, нет и не было у них идеи, кроме подлости и чревоугодия... И еще я вижу разных людей — их большинство, они замкнулись в себе, как вы, как я, — они думают... Вот это смешение мне и не нравится — как бы нам не пришлось хлебнуть горя, пока разберутся во всем, Россия еще долго будет Россией: санкции, инстанции, и пока до меня дойдет... Хоть бы взглянуть еще разок на Марию Александровну — друг она мне сердечный... И детей у нас не было... — вдруг закончил он с тоской.

В пути он больше не сказал ни слова. Борейко замкнулся в себе и старел на глазах. Отрешенным взглядом смотрел он и не видел ничего. Зябко передергивал плечами — кутаться было не во что: светлый костюм, некогда белая сорочка с галстуком и соломенная шляпа — это вся его одежда.

«Надо его подбодрить, — подумал Алтайский. — Пока солнце светит, проскакивают сквозь дверь зайчики, ты живешь и веришь в жизнь, ты должен верить и он, Борейко, тоже должен...»

Сознание стало четким. Алтайский осторожно надел перевязанные тряпочкой очки с выпадающим стеклом и по-

смотрел вокруг, не поднимая головы, — теперь он знал, что при резком движении будет опять больно. Все так же ходили люди, бороды их, казалось, стали еще длиннее, четко вырисовывалась пестрота одежды: пыльники, светлые и темные костюмы, японское трофейное обмундирование. Желтые налеты пыли, сальные пятна на одеждах... И люди — разные люди, разные лица: задумчивые, наглые, растерянные, ненавидящие, заискивающие и все — незнакомые... Откуда они?

Подошел Борейко. В который раз он принес воду Алтайскому в своей банке из-под американских консервов. Банка была единственной собственностью Борейко и, похоже, фундаментом, фетишем его сегодняшнего существования. Банки были большой ценностью, причиной ссор. Ему приносили в бачках, банок было мало, и кто имел банку, ел первым, пользуясь щепочкой вместо ложки. Кроме того, владелец банки мог есть не всухомятку, он имел возможность запивать еду водой. И все же на собственность Борейко никто не покушался: все знали, что банкой он пользовался и в других экстренных случаях. Дело в том, что желающий пробраться ночью по малой нужде к выходу был вынужден терпеть ругань, а то и побои, если в темноте случалось наступить на кого-нибудь, Борейко старался этого избежать... После он тер банку неском, землей, полоסקал водой, сушил на солнце и не замечал косых, осуждающих взглядов. Алтайский узнал об этом, когда было поздно отказываться, — пришлось бы оскорбить и унижить единственного человека, который заботливо и бескорыстно за ним ухаживал и еще, несмотря на свою собственную опустошенность, искренне и неумело пытался подбодрить собрата по несчастью...

Неделю назад Борейко, как всегда, воздерживаясь садиться в светлом костюме на пыльный пол и поэтому сидя на своей банке, задремал около изголовья Алтайского. Ноги его поехали и зацепили очки, которые Алтайский обычно прятал под свернутый в изголовьи пиджак. Когда Алтайский открыл глаза и увидел свои очки под ногой Борейко, было уже поздно — сломался ободок, одно стекло не держалось, а без очков он перестал различать лица дальше трех метров... Борейко тяжело переживал вину, как его ни успокаивали, и однажды, укладываясь спать рядом, потихоньку намекнул, что готов отдать за очки свою банку. Алтайский сделал вид, что не понял намека, и Борейко смущенно замолчал...

Сейчас Борейко опустился на корточки, держа в руках банку.

— Дмитрий Александрович, — взглянув на инженера, с усилием разжал губы Алтайский, — следовательно сказал, что контакт со мной может быть опасен. У меня какая-то инфекционная болезнь, меня направят в госпиталь.

— Полноте, Юрий Федорович! — ободряюще протянул Борейко. — Нет такой болезни, которой бы я не болел!

— А если брюшной тиф, дизентерия или холера?

— Полноте! Холера бы вас корчила, а другие желудочные болезни старикам не страшны! — попытался он улыбнуться. — Вот выздоровеете, Юра, — неумело, веселым тоном продолжал Борейко, — прежде всего попрошу Марию Александровну, и она сама купит вам лучшие пейсовские очки... Вы будете ходить к нам в гости, ходить часто...

Борейко приумолк — запала веселости не хватило, потом добавил задумчиво:

— Вы знаете, моя жена не просто любит готовить, она любит смотреть, как с аппетитом едят... Ну, а какой я едок — одно огорчение, а она... она... — тоска, привязанность, печаль, безнадежность прозвучали в этих словах. За ними зримо встало желание представить, вспомнить в мелочах, ощутить знакомый, дорогой и такой далекий образ... И сам Борейко это понял и безнадежно замолчал...

Вместе с Дмитрием Александровичем Алтайский ночевал последнюю ночь — никогда больше им не суждено было встретиться.

Вечером 29 сентября, перелезая через высокий борт полуторатонки, Алтайский снова почувствовал сильный приступ тупой боли в животе...

Шел теплый дождь, когда машина проехала контрольный пост военного госпиталя.

### Глава 3. ГОСПИТАЛЬ

В пустом санпропускнике было холодно — Алтайского знобило. Кусочек мыла, который дала санитарка, был настолько мал, что сразу растворился в густых прядях грязных волос. Мыться было трудно и по другим причинам — носовой платок вместо мочалки, свинцовая тяжесть в теле, которая буквально придавливала к деревянной, выскобленной до торчащих сучков скамейке. Кругом шныряли молоденькие санитарки, но если бы какая-нибудь из них захотела помочь Алтайскому — он бы отказался: видеть

девчонок в мужской бане, пусть даже в белых халатах, стоять перед ними голым ему еще не приходилось. Алтайский слышал, что у японцев жена по зову мужа запросто идет из женского отделения в мужское в первозданном виде, чтобы потереть ему спину... Но ведь он-то не японец, к тому же ему всего 28 лет...

Тут Юрий увидел, как из парной вышли два голых стриженных паренька, очевидно, бойцы. Они вылили на себя по шайке холодной воды и отправились на выход, где в дверях стояла санитарка.

По-деловому взглянув на них, она тоном примирения сказала:

— Ну вот, постриглись и порядок. Проходите!

— Уж слишком ты, девушка, настырная! — бросил на ходу один из бойцов.

— Больно надо, чтоб вшей завели!

Алтайский про себя отметил: «Разговор деловой. Очевидно, ничего зазорного в том, что одна из сторон в голом виде, нет. Значит, так принято!»

Он перестал плескать на себя воду, когда через открытые двери услышал продолжение разговора:

— Ну, дай ты, девушка, кальсоны с пуговицами... Вишь, одна только на ниточке держится?

— Нету у меня таких! Возьми пуговицу — сам пришьешь!

— Вот ты бы, девушка, и пришила.

— Ну, да. В день вас сотни пропустить надо. Потаскали бы белья одного из прожарки, да в прожарку, да в прачешную, да обратно — так бы и захотели пуговицы пришивать?! Ты вот стоишь, рот разинул, а мне за бельем надо... Вот тебе иголка, вот нитка — сам пришей! Да смотри — не значь, вот сюда вколи!

Дверь хлопнула, и потянуло холодком.

Когда Алтайский, кое-как смыв многодневный загар барачной пыли, предстал перед девушкой, она дала ему кальсоны и рубашку с пуговицами — наверное, потому, что его голова не была стриженной.

Юрий стал одеваться и прежде всего напялил покаленные очки. Девушка деловито помогла перестегнуть хлястик сзади на кальсонах, когда они оказались слишком широки.

На выходе Алтайского ждал сержант.

Вечерело. Мягкими теплыми волнами набегал воздух, чуть пахнувший осенней прелой листвой. Вдохнув всей

грудью, Алтайский вдруг почувствовал, что сейчас потеряет сознание. Ноги его сделались ватными, по телу пробежала дрожь неудержимого озноба. Сержант поддержал Юрия, ухватив за плечи, да так и повел дальше по еще сырой после дождя песчаной дорожке.

Крепко сбитый, обветренный сержант в пилотке и невысокий бледный человек в пиджаке и брюках цвета «хаки», в японской зеленой рубашке, в ярко-рыжих японских солдатских ботинках... Довольно странно, нелепо выглядела, очевидно, эта картина. Во всяком случае, вывернувшиеся из-за поворота бойцы изумленно остановились:

— Гляди-ка! Сержант японца прет!

— А не косоглазый...

— Брось ты его, сержант!

— Проходи, проходи! — сказал сержант. — Никакой он не японец — русский!

— Гляди ты! Белобандит?! — ахнули бойцы.

Следуя позади Алтайского, бойцы перешептывались о нем до самого больничного корпуса — одноэтажного, вросшего в землю здания барачного типа.

Железная печурка, стол, деревянные тумбочки, металлические кровати с дощатым настилом, застланным сенными матрацами, простынями и выцветшими одеялами, в изголовьях — набитые тоже сеном и потому всегда шепчущие что-то в ухо подушки. В окнах рамы со стеклами, кое-где заткнутыми ватой...

В большой комнате-палате оказалось несколько русских, японец и кореец. Среди русских Алтайский увидел одного знакомого. Это был князь Василий Голицын, некогда заносчивый репортер эмигрантских газет. По мере того, как японцы закрывали в Китае русские газеты, он все больше переквалифицировался в комиссионера по продаже парфюмерных изделий, пока вовсе не сменил профессию. Нижняя часть лица и брови Голицына были выкрашены бриллиантовой зеленью, благодаря чему он стал похож на индейца, вставшего на тропу войны... Небритая борода торчала рыже-седоватыми клочьями среди зеленых островов.

Санитарка как раз принесла ужин.

Что это? Белый хлеб, суп с мясным фаршем и рисом, котлета с макаронами, большой кусок сахара. Чай в кружках, эмалированные миски, деревянные лакированные ложки...

Алтайский попытался откусить кусочек хлеба, запить

ложкой супа и не смог — оказывается, есть ему совсем не хотелось и еда показалась противной.

Еда на тумбочке простояла недолго — ее начал поглощать Голицын, приговаривая:

— Я тебе, Юрий, сейчас нагрее водички, попей с сахарком...

\* \* \*

Какая тяжелая ночь! Страшные чудовища окружили Алтайского со всех сторон: они извивались, пищали, гудели колокольным звоном, появляясь и исчезая в каком-то водовороте... Вот рогатая черная образина без глаз; вот извивается что-то черное в недвижном оранжевом фоне; рога, хвосты, волосы гигантских гусениц; мутные очертания скорпионов с черными жалами, яма с шевелящимися змеями...

Уже утро... За окном голубое небо, голоса.

На тумбочке вновь дымилась еда, лежал белый хлеб с маслом, была насыпана горка легкого табака... Табак! Надо покурить!

Голицын уже суетился рядом. Алтайский снова попытался откусить кусочек хлеба с маслом... — нет, не лезет! Голицын опять съел его завтрак. Алтайский непослушными пальцами закрутил сигарку... — нет, не надо и табака. Лучше лежать. Но черные чудовища начинают подступать, стоит закрыть глаза...

В палату вошла врач — пожилая женщина. Когда она наклонилась, под белым халатом блеснул погон с двумя просветами. Какая она внимательная, как мягко ее теплые руки касаются живота, где Алтайскому больно.

Юрий поднял голову, пошарил под подушкой, надел очки:

— Что со мной?

Врач не ответила. Бросив на Алтайского спокойный взгляд, она ободряюще кивнула головой, села за стол и начала что-то писать. В склоненной к столу голове врача серебрятся седые пряди. Алтайскому хорошо видны небольшой нос, задумчивые серые глаза, горькие складки возле уголка рта — врач чем-то напомнила ему уже совсем седенькую мать...

«Где-то ты, мама? Помнишь, ты рассказывала, как какая-то гадалка пришла в дом после моего рождения и сказала: твой первенец принесет тебе много радости, еще больше горя... Вот оно, мое и твое горе, оно только начинается».

Алтайский смотрел на серебрящиеся пряди сидящей перед ним женщины и никак не мог оторваться: он чувствовал — ее горе уже пережито.

Врач подняла голову, окинула Алтайского лучистым взглядом:

— Что вы так на меня смотрите? — ее серые глаза продолжали глядеть внимательно и грустно.

Алтайский тоже смотрел. Сказать ему было нечего — у каждого свое!

Так Юрий Федорович познакомился с советским врачом — майором Клавдией Николаевной Сушильниковой.

\* \* \*

В отделении смердил букет болезней.

Рядом с Алтайским лежал рыжий Костя Быстрицкий с дизентерией. В углу — Голицын с экземой. Трое русских с восточной линии КВЖД и японец — хроники. Кореец, который часто стонал, охал и матерно по-русски ругался, болел неизвестно чем.

Напротив, через коридор, находился изолятор для умирающих — бокс на две койки, возле него комната дежурных, рядом одна палата для японцев. С другой стороны коридор перегороден. По вечерам на том конце было шумно, слышалась каждый раз одна и та же мелодия, распеваемая то вместе, хором, то врозь: «Ах ты, Галя, Галя, молодая...»

В дежурной комнате жили наблюдающие — сержант Алеша Еремин, который и приволок сюда Алтайского из бани, и ефрейтор Ляня.

Табак и белый хлеб выдавали палатникам недолго — через несколько дней все были переведены на общую норму. Что такое общая норма, никто не знал, главное — перестали давать табак. Но и курево Алтайского интересовало уже мало — сознание его все чаще и чаще затуманивалось.

Голицын успевал поглощать всю еду — свою, Алтайского, Быстрицкого, корейца и даже остатки хроников. Его цветастое лицо заметно округлилось. Еды было столько, что вскоре Голицын стал оставлять часть хлеба и даже свой сахар начал складывать Алтайскому под подушку, подбираясь к его табачку, который успел накопиться и лежал в самодельном кисете возле сахара.

Санитарка Надя по секрету сообщила Алтайскому диагноз — азиатский брюшной тиф. «Значит, — подумал он, — будет еще хуже».



Однажды пришла в палату парикмахер — полька Яна. Когда подошла очередь Алтайского, он приподнялся, ухватившись за спинку кровати, и с трудом сел. Яна достала ножницы, алюминиевой гребенкой начала расчесывать его волосы, не догадываясь, что причиняет боль, чуть потрепала их рукой и чисто по-женски сказала:

— Вот уж не знаю, какая прическа вам больше подойдет...

Алтайский оторвал руки от кровати, показал на тыльную сторону ладони и провел по ней другой.

— Под машинку? — изумленно и возмущенно воскликнула Яна. — Зачем? Нет! Нет, не буду! Волосы выются, густые, хорошие...

— Яночка! — взмолился Алтайский. — У меня температура под сорок и не спадает. Если не подстрижете — волосы выпадут!

— Нет, нет! Я подстригу покороче. Под машинку не буду!

— Яна, дайте мне машинку! — Алтайский взял инструмент и, чуть не падая от напряжения, выстриг клоч волос над самым лбом.

Рука его бессильно опустилась.

Яна покраснела, торопливо выхватила машинку и осторожно начала стричь. Прикосновение машинки, даже в осторожных руках Яны, причиняло боль, Алтайский чувствовал, как нестерпимо горит каждый волос. Он крепился и, когда стрижка кончилась, безвольно опустил голову на прошептавшую что-то подушку.

— А бриться? — спросила Яна.

— Потом... — только и смог сказать Алтайский.

Что было дальше, он помнил смутно. Вспоминались какие-то обрывки: как его куда-то тащили, как он убеждал сержанта Алешу, что за ним приехал брат и надо спешно собираться, брат повезет его домой; потом — как ефрейтор Леонид толкал его в плечо и просил отдать табак, говорил, что бойцам задержали выдачу и они мучаются без табака и как он показал ефрейтору под подушку; еще вспоминалось, как из-за чего-то кричал кореец и матерно ругался по-русски...

\* \* \*

Алтайский вдруг очнулся. Было тихо. На подоконнике играло золотистое солнце.

Он огляделся: незнакомая узкая комната. Прохладно — железная печка рядом с входной дверью в углу не топится, дверь чуть приоткрыта, кроватей по бокам не видно. Юрий чуть повернул голову, скосил глаза и увидел тонкую ножку еще одной железной кровати за своим изголовьем: две койки — значит, он в изоляторе, в палате для смертников... Плохо дело!

Он закрыл глаза: черные чудища так и не отвязываются, так и обступают со всех сторон. Лучше лежать с открытыми глазами.

Дверь чуть скрипнула. Алтайский услышал Яну:

— Мне нужно побрить больного!

— Да подожди ты! — прозвучал в ответ грубоватый незнакомый женский голос. — Он кончается. Кончится, тогда и побреешь.

И дверь прикрылась.

Значит, тот, в изголовье, кончается... Почему же он не стонет? Почему кругом так тихо?

Алтайский подложил руку под спину, чуть приподнялся и повернул голову: неподвижно лежит кореец, прикрытый простыней, не ругается, не охает — он уже мертв!

Не может быть, чтобы мертвец сам себя накрыл простыней, — значит, санитарка знает, что кореец мертв. Тогда кто же кончается? Не успел Алтайский подумать об этом, как неумолимая бесстрастная логика уже дала ответ...

На мгновение сердце, кажется, остановилось... Еще момент — и оно перестанет биться, но... оно вдруг закипело, наполнилось протестом: как цинично-жестока судьба! Очнуться после долгого забвения только для того, чтобы узнать свой приговор! Увидеть, как ласково светит солнце, как тиха и умиротворенна задумчивая осенняя природа — и умереть? Умереть, когда наступил мир на земле и нужно залечивать раны войны, когда каждая пара рук так нужна Родине?! Какой цинизм у этой смерти!

Что придет на Родину вместе с миром? Долго ли еще инженер Борейко будет использовать свою банку и для еды и для экстренных нужд? Будут ли стоять еще эти бараки за колючей проволокой около моста через речку в центре города? Что ждет тех, кто вернулся на Родину?

Нет, черта с два! Русского мужика мало свалить — его еще надо убить: подчинение нахальной хамской силе не в его натуре, оно противно его естеству! Вот и он еще жив,

ему надо жить! Надо дать бой смерти, надо заставить себя не терять сознание. Ох, как это трудно.

Вечером Алтайский попросил перевести его обратно в общую палату...

Голицын растопил печку. Зажег керосиновую лампу и поставил на стол. Около стола села на табуретку пришедшая на смену Клавдия Николаевна.

Забегал сержант Алеша, положил под подушку пустой кисет, сказал: «Спасибо, бегу табак получать. Завтра вернем все, что взяли».

Притронуться к телу было больно. Как мучительны уколы камфары, вливание глюкозы в вену... При свете керосиновой лампы Алтайский увидел, как Клавдия Николаевна метнула короткий взгляд в его сторону, когда посмотрела на термометр.

Стало совсем темно, дневные звуки замерли, уступили мир глубокой безжизненной тишине ночи. Шепчущая подушка вдруг уколола Алтайского в щеку, кажется, у ней появилось жало.

Юрий отодвинул голову от того места, где было жало подушки, и скосил глаза: лампа высветила вмятину на подушке от головы. На дне ее Алтайский увидел что-то шевелящееся — вошь!

Откуда могла появиться эта тварь, когда в палате перевозанно-чисто? Алтайский вспомнил, как кто-то говорил, что если к больному приползет вошь — значит, близок конец. У-у, проклятая!

Как ни трудно было шевельнуться, но Алтайский достал рукой паразита, медленно поползшего по подушке. «Ах ты, гадина! Еще преследуешь? Нет, тварь, — я не умер! Вот тебе, вот!» Бессильные пальцы все же скатали шарик, прижали его к железной поперечине кровати, и шарика не стало — на большом пальце осталось лишь мокрое пятнышко.

Алтайский сморщился, будто раздавил во рту горсть клюквы, но глаза блеснули удовлетворением. Он отряхнул подушку и почувствовал, что она почему-то мокрая... рубашка тоже, да и весь он мокрый...

Врач дремала, сидя за столом. Голова ее опустилась на грудь, закрывая лоб, нависали пряди волос с проседью. Свет лампы резко вырисовывал морщинки и складки лица, в которых было что-то неповторимо близкое и родное...

Алтайский не решился тревожить врача. Лишь увидев,

как в дреме встрепенулось расслабленное тело, поднялась голова и рука поправила волосы, он неуверенно сказал:

— Клавдия Николаевна! Я почему-то весь мокрый...

Через мгновение врач была рядом.

— Голицын, встаньте!

— Я Голицын! — вскочила с кровати фигура. Бывший князь не спал по очевидной причине — ему страшно хотелось курить, а курить было нечего.

— Позовите Надю, — приказала врач.

В этот момент из черного провала дверей появилось полкорпуса сержанта Алеши в расстегнутой гимнастерке:

— Я, товарищ майор, сам позову!

— Скажите ей, сержант, чтобы принесла рубаху и наволочку.

Алеша исчез и почти тотчас же появился с рубашкой — очевидно, принес свою. Клавдия Николаевна постаралась не заметить, что приказ выполнен только наполовину, — в крайнем случае, подушку можно перевернуть.

Голицын подложил угля в печку, помог Алтайскому снять мокрую рубашку и повесил ее прямо на горячие трубы, потеснив врача, гревшего около огня свежую рубашку.

Алтайский лег, но не прошло и пяти минут, как свежая рубашка опять оказалась мокрой. Холодный пот заливал его — рубашка не успевала высохнуть на трубах, когда другую уже надо было выжимать. Голицын добросовестно трудился, он честно отработывал съеденное.

Забрезжил рассвет, когда Алтайский уснул. Проснулся он поздно — уже всюду светило солнце. За окном, фыркая, умывался обнаженный до пояса Алеша. Перед ним стояло ведро, и он, меняя руки, поливал из кружки спину, шею, грудь. От тела Алеши шел пар — уже начались утренняя.

Самочувствие Алтайского было отличное — он уже давно не чувствовал себя так легко и хорошо! Даже хочется немного есть. Но почему в такой тревоге убежала медсестра Надя с термометром, извлеченным из-под руки Алтайского, вернулась с двумя и поставила оба?

Алтайскому захотелось рассмеяться — что-то наврал термометр, а она беспокоится! Хорошая девчонка — вон как морщит курносый нос с веснушками, боком сидит на табуретке и озабоченно-удивленно поглядывает на него. А с какой поспешностью она опять убежала, взяв градусники через пять минут! Что с ней?

Юрий поочередно потрогал лоб и грудь — они холодны, и он чувствует себя отлично.

Появилась Клавдия Николаевна. Она тоже торопится, заспанная.

— Клавдия Николаевна, с добрым утром! Я чувствую себя как никогда хорошо! — радостно встретил ее Алтайский.

Она улыбнулась, застегивая пуговицы халата, взяла руку, прощупала пульс:

— Увидим, увидим...

Настороженная сестра встала рядом. Лицо врача посерьезнело, в глазах мелькнула озабоченность.

— Кордиамин в вену! — коротко приказала она. — А вас, больной, прошу лежать спокойно и не двигаться.

— Но в чем дело? Я...

— Не жестикулируйте и еще раз прошу — не двигаться! Сейчас у вас температура тридцать четыре и восемь десятых... Невероятный упадок сердечной деятельности. Беспрекословно выполняйте указания и не спорьте.

— Хорошо, — покорно сказал Алтайский, — но я так хорошо сейчас себя чувствую! И сердце у меня было всегда хорошим!

— Было! — сказала врач, но тотчас же спохватилась. — И, может быть, будет! Вам хочется жить?

— Неужели дело так серьезно?

Врач утвердительно кивнула головой:

— Меня больше устроила бы, да и вас тоже, температура тридцать девять — не кризис, а лизис\*.

Алтайский притих, начал вспоминать, что такое «лизис»? Голова его была светла, мысли — четки и ясны, память — безотказна. Он без особого напряжения восстановил в памяти когда-то слышанные лекции по микробиологии и анатомии. Нетрудно было вспомнить и точную формулировку лизиса — ведь инфекционные болезни были предметом особо тщательного изучения.

Размышляя, Алтайский машинально подставил руку для вливания, автоматически согнул ее в локте, прижимая кусочек ватки, и закрыл глаза. Черных чудищ не было видно, в ушах тоненько позванивало. Хорошо

---

\* Кризис — резкое понижение температуры после кульминации при инфекционных заболеваниях, например, при сыпном тифе. Лизис — медленное нарастание и медленное снижение температуры, характерное для брюшного тифа.

бы поспать, но сон не шел, наверное, обиделся на свою сестру — смерть, которую Алтайский гнал в шею.

Однако к вечеру черные чудища опять обступили его...

#### Глава 4. ЦЕНА ХИРОМАНТИИ

Через несколько дней Алтайский снова почувствовал себя лучше, температура медленно-литически, как сказала бы Клавдия Николаевна, падала.

Голицын по-прежнему был раскрашен бриллиантовой зеленью. Причем оказалось, что выражение его лица менялось в зависимости от локализации болезни и соответствующему этому расположению окраски: если на подбородке — он походил на козлоподобного сатира, если на одной щеке — начинал напоминать кровожадного пирата, если на обеих щеках и бороде — был похож на опереточного душегуба, обрызганного каплями зеленой крови. С прежним аппетитом он лопал за двоих... Впрочем, не за двоих: за себя, за Быстрицкого, за Алтайского и, если еще прибавить остатки четырех хроников, значит, приблизительно за семерых... И, однако, он страдал. Не чересчур набитое брюхо было тому причиной, не экзема и не раскраска под краснокожего, вышедшего на тропу войны...

Голицын был готов отдать половину достающихся ему лишних порций за дополнительную закрутку табака. Перебивался он «бычками», которые немедленно выпрашивал у каждого, кто курил, — у пожилой санитарки, у врачей-мужчин, у бойцов через стенку коридора. Продымленные насквозь концы указательного и большого пальцев его напоминали по желто-коричневому цвету кожи хорошо прокопченные рыбки тушки. Выдаваемого по норме табака бывшему князю было мало.

Алтайского охотно снабжали «закрутками» сержант Алеша и ефрейтор Леонид. В этих случаях Голицын, конечно, не терялся — жирный «бычок» был его законной добычей.

Бывало, что ему доставались целые щепотки табака, после перешептывания с пожилой санитаркой. Щепотку он делил на несколько «завертушек» и сосал каждую по очереди, одна за одной, до ожога губ. Как он «зарабатывал» этот табак, для Алтайского долгое время было загадкой. Но однажды пришла разгадка. Как-то утром Алтайскому захо-

телось покурить. Алеша с Леонидом куда-то запропастились, и как раз начался врачебный обход.

В палату вошла капитан медицинской службы Струнина. Молодая, всегда приветливая, веселая, она и на этот раз была оживлена, улыбалась.

— Ну, как дела? — спросила Струнина, обращаясь к Алтайскому.

— Хорошо, — тоже улыбнувшись, ответил тот. — Вот курить хочу.

— Ну, вот еще! Курить! Ожил, значит? Это хорошо! Завтра попрошу у завхоза табаку. Если даст — принесу.

В разговор встрял Голицын:

— Гражданин капитан!

Струнина сердито оборвала:

— Вы разве заключенный?

— Собственно говоря, нет... Раз нас за колючую проволоку не убрали, значит, пока не заключенный...

— Вот и называйте меня просто врачом или по имени-отчеству, Галиной Николаевной. Ну, что вам?

— Уважаемая Галина Николаевна... — потянул снова Голицын.

— Знаете, Голицын, в вашем уважении у меня почему-то нет нужды, — засмеялась Струнина. Но Голицын не захотел понимать ни иронию, ни сарказм — он сладко улыбнулся и потянул дальше:

— Нет, серьезно, Галина Николаевна. Вы такая молодая, интересная, у вас все впереди, вас уже ждет суженый...

— Суженый? Какое архаическое слово! — досадливо сказала Струнина.

— Да, да, именно суженый. Это очень точное слово. Суженый — значит спутник, предназначенный судьбой.

— Уж не вы ли это, князь Голицын?

— Что вы! Я женат. Вы знаете, я изучал в свое время хиромантию, по руке предсказываю будущее без ошибок. Хотите, я вам погадаю, а вы мне принесете хоть щепоточку табачку...

Голицын улыбнулся еще раз, с растяжкой выговорив слово «щепоточку» и показав при этом пальцами правой руки на согнутой ладони левой, какую именно щепоточку ему хотелось бы получить. Улыбка подняла зеленые бугры и ямы на его лице, проплешины колючей щетины — родила выражение раскрашенного кривляющегося сатаны.

Струнина растерянно посмотрела на Голицына, очевид-

но, не поняв, шутит ли тот или всерьез предлагает гадание, оглянулась по сторонам...

— Товарищ капитан, можете не сомневаться, — сказала басом пожилая курящая санитарка. — Даже адрес суженого мне сказал, да и не только мне, а, к примеру...

— Вот как? — обрела дар речи Струнина. — Скажите, нет ли сходства вашей родословной с князьями Воляпук из «Сильвы»?

— Нет, нет! Что вы! — обрадованно сказал Голицын. — Я прекрасно понимаю ваш тонкий юмор! Цыган и шансонеток, смею вас уверить, в роду у меня нет! Видите ли, я интересовался с научной точки зрения и нашел...

— Нет, Голицын, спасибо! По недостаточной грамотности и неразвитости я предпочитаю свою жизнь делать сама, без помощи потусторонних сил.

Когда Струнина ушла, Голицын, чувствуя неловкость, присел на койку к Алтайскому и доверительно, пониженным тоном, начал издавля:

— Знаешь, Юрий, в тридцатых годах в Харбине я сделал большую работу и через третьих лиц передал советскому консульству. Нисколько не сомневаюсь, что эта представляющая большой интерес работа — о настроениях белого офицерства — не забыта и к Новому году я буду дома.

— Повесть об остатках бурелома, о их жизни в тридцатых годах? — зло спросил Алтайский, которому немедленно вспомнилось давно осточертевшее двуличие, бахвальство и подхалимаж «бывших людей». — Эх ты, репортер белых идей!

— Нет, нет! У нас ее отказались печатать. Тема актуальна, животрепещуща, если хочешь знать...

Но тут как раз принесли еду. Быстрицкий панибратски подмигнул Алтайскому, когда Голицын с поспешностью подхватил ведра у санитарки.

Алтайскому тоже сильно захотелось есть. Он с сожалением посмотрел на то, что принесла санитарка: кислый суп с зелеными помидорами — ему есть нельзя. Кишки у него сейчас тонкие, как папиросная бумага. Каша гречневая — мягкая, вкусно пахнет, но попадают черные скорлупки и целые необрушенные зерна — тоже нельзя; хлеб черный, сыроватый, но душистый, особенно по утрам, — так и хочется откусить, однако попадают кожурки колосков — опять нельзя... Остается кусочек голубоватого колотого сахара.

Быстрицкий уже начал понемногу есть. Алтайский пока



воздерживался. И тот и другой были примерно в одинаковом состоянии: один перенес дизентерию, другой брюшной тиф. Быстрицкий начал поправляться несколькими днями раньше. Врачи пытались назначить им диетический стол, однако по приказу коменданта НКВД им продолжали выдавать общий паек.

И вот дымящаяся еда разлита в миски. Быстрицкий с аппетитом начал есть суп. Алтайский раздумывал — есть ему хотелось до одурения. Он взял миску с кашей, перебрал по зернышкам и очистил от кожурок горсточку гречихи, съел и запил кипяченой водой с сахаром вприкуску.

Быстрицкий придумал другое — он вывалил кашу в суп, размешал, получил тюрю.

— Нюся, добавку можно? — спросил он санитарку.

— А чего ж нет? Голицын все равно один не управится, — добродушно ответила Нюся.

— Нет, отчего же... — вмешался Голицын, но осекся, смутился и добавил поспешно, — конечно, надо добавку! Сколько времени человек не ел!

— Юрий! — обратился Быстрицкий к Алтайскому. — Ну, чего ты, право? Поешь! Знаешь, как вкусно?

— Костя, тебе нужно быть осторожным, — сказал Алтайский. — Не надо много есть сразу.

— Брось! — махнул рукой Быстрицкий. — Вчера я чумизу ел? Ел! И то ничего. А тут, брат, — гречневая каша!

— Костя, — настойчиво повторил Алтайский. — Пойми, надо чаще есть, но маленькими порциями и не досыта. Перебрать кашу надо, убрать скорлупки. Оставь ты вторую миску и хлеб — съешь потом.

— А! — досадливо отмахнулся Быстрицкий. — Я уже здоров. Ладно, хлеб, пожалуй, оставлю... — и съел вторую миску. — Ну, вот! Теперь чувствую, что по-настоящему сыт. От чего казак гладок? Поел — да и на бок! Теперь бы поспать...

Голицын тоже старался изо всех сил, но в этот раз Нюся принесла особенно много еды; было видно, как огорчен князь расставанием с остатками супа в одном ведре и каши в другом.

Алтайский прилег, закрыл глаза. В желудке чувствовалось еле заметное непривычное движение. Шепчущая подушка из свежего сена отсчитывала пульс — сердце билось ровно, глуховато и тяжело.

В палате было тихо. В коридоре за перегородкой бряка-

ли миски, постукивали деревянные ложки. Вдруг какой-то молодой голос заревел: «Ах ты, Галя, Галя молодая...» Осекся, послышалось шипение: «Чего ты, окаянный, сбесился?! Мертвый час!» И опять стало тихо. Вдалеке хлопали двери, за окном чуть слышно гудел самолет. За окном разливался желтеющий свет золотой дальневосточной осени...

Солнце уже склонилось к западу, когда проснулись все сразу.

— Юрий, — обратился Голицын к Алтайскому. — Попроси у сержанта закурить. Тебе он даст. После обеда так и не покурил! Сосет под ложечкой...

— Голицын и ложку проглотил! — высунулся из двери ефрейтор Леонид. — У тебя разве нет курить? — спросил он Алтайского.

Юрий достал кисет — в нем оказалась только пыль, но при нужде «завертушку» сделать можно...

— Ну, это не табак, — махнул рукой ефрейтор. — Голицын, передай кисет!

Тут раздался стон Быстрицкого. Только сейчас все заметили, что он один остался недвижим, когда остальные проснулись. Может быть, всех и разбудил его стон...

Быстрицкий опять застонал, переворачиваясь на спину. Лицо его было землисто-бледным, провалившиеся глаза смотрели как из ям, нос заострился.

— Ребя... та! Позо... Позовите врача... — прерывисто сказал он. — Мне... очень... плохо...

До вечернего обхода оставалось около часу, дежурный врач мог быть в ординаторской. Ефрейтор побежал туда вместе с кисетом Алтайского. Голицын соскочил с кровати, смахнул в ладонь с тумбочки табачные крошки, которые Алтайский высыпал туда перед тем, как отдать кисет Леониду. Князь завернул цыгарку, но не успел прикурить, как в палату вошла Струнина.

— Что с вами, Быстрицкий?

— Живот... как ножом... колет... — еле выговорил он.

— Галина Николаевна, — пожаловался Голицын, — он съел много супа и каши.

— Ай-ай-ай! — с каким-то стоном проговорила Струнина, качая сокрушенно головой. И добавила чисто по-женски, с душой: — Быстрицкий! Ведь вам даже операцию делать нельзя!

Быстрицкого перенесли в изолятор. Ночью он умер.

Потянулись дни.

Уже два месяца прошло с тех пор, как Алтайский расстался с семьей. За это время ему, да и всем другим, разрешили написать лишь по коротенькой записке родным о присылке теплых вещей. Получили ли эту записку дома? Как хотелось бы ему рассеять тревогу, сообщить что-то подробней о своем существовании и узнать самому о семье. Но приказ был строг, категоричен: разрешается только попросить теплую одежду. Письма, содержавшие какую-то дополнительную информацию, даже что-то сугубо личное, неумолимо возвращали для переделки.

Вспоминая большие карие глаза жены, Алтайский испытывал чувство раздвоенности: мужское самолюбие хотело быть уверено в ее верности, разум же, логика требовали не отрываться от действительности — она молода, одинока, привлекательна, может быть, знает о его будущем, для него неясном и темном, больше, нежели он сам. И, главное, имеет ли он право что-либо желать или требовать от жены, не подавая вестей о себе, — ведь она может считать, что он ее бросил на произвол судьбы вместе с сыном...

Больно сжалось сердце, когда Алтайский вспомнил сына. Ему уже два года и восемь месяцев — большой. Еще недавно сын был маленьким живым комочком с прозрачным голубеньким взглядом — в отца. Потом цвет глаз переменялся на карий — он стал весь в мать. Первые слова, первые шаги: сначала инстинктивное «маа...», затем полусмысленное «ма-ма» и, наконец, совсем разумное «папа»... Когда он впервые увидел дедовых козлят, то захлопал в ладоши и неуверенно оглянулся, как бы спрашивая: «Как же их назвать?» И тут же самостоятельно решил, робко выговорив: «кози».

— Тебя зовут Юра, — объяснила мать. — Повтори, как тебя зовут?

Виновато поглядывая по сторонам, он задумался и вдруг улыбнулся:

— Одя!

Мать засмеялась:

— Да не Одя, а Юра!

Подошел дед. Новоиспеченный Одя, доверчиво поглядывая на деда и весело улыбаясь, отрекомендовался:

— Дедя! Одя! Одя!

Не беда, что туговатый на ухо дед сразу ничего не понял...

Алтайский вспомнил последнее прощание с семьей. Было это в середине жаркого августовского дня. Около двухэтажного дома, запрятанного в глубине тополевой рощи, стоял тупорылый трофейный грузовик с красным флажком на радиаторе. Два вооруженных паренька, с красными повязками на рукавах, поджидая Алтайского, прятались в тени деревьев от немилосердного солнца. Они уже побывали в штабе, успели заскочить на минутку к семьям и теперь должны были возвратиться на дальний загородный объект.

На дорожке показался тот, кого они ждали, — их командир, немного смешной — вооруженный и очкастый. Костюм цвета хаки, трофейные солдатские ботинки и трофейная же рубашка без воротника, вылезая из-под пиджака... Да, тот же самый костюм, те же ботинки и те же очки, над которыми потешались бойцы, когда сержант Алеша волок больного Алтайского в палату госпиталя. Только лицо тогда было свежее — без складки между бровей, тверже был взгляд глаз, легче походка. Он вел за руку маленького белокурого мальчика. Рядом с ним, стараясь идти в ногу, спешила тоненькая женщина. Вот он поднял мальчика на руки. Бойцы полезли в кузов, толкнув в бок дремавшего водителя, которому из-за вызовов днем и ночью явно не хватало времени для сна.

— Товарищи! — сказал Алтайский. — Это моя жена и сын. На втором этаже, квартира вторая. Запомните на всякий случай.

Бойцы поняли. Мало ли что могло случиться.

Белокурый мальчик, устремив на отца наивно-просящий детский взгляд, чуть наморщил лоб:

— Пап! Сколько плиедешь?

— Постараюсь скоро, сынок! — ответил Алтайский, прикоснувшись лбом к носу сына и поцеловав затем его в щеку. — До свидания, маленький!

Одя прильнул долгим поцелуем к отцовской щеке, обхватил руками шею. Отец прижал к себе теплое, податливое тело сына.

— Ну, все, сынок! — сказал он. — Надо ехать... Будем мужчинами! Я скоро вернусь. Будь здоров.

Однако ручонки не разжались, мягкие губы как будто прилипли к щеке отца.

— Сынок! Ну, что ты, миленький мой?! Я же...

Тоненькая женщина потихоньку заплакала, при этом неосторожно чуть-чуть всхлипнула. Лишь тогда Одя, растерянно взглянув на обоих, опустил отцовскую шею и перешел на руки к матери\*.

...Сержант Алеша заглянул в палату:

— Лежишь? А знаешь, как на улице тепло?

— Знаю, Алеша, — рассеянно ответил Алтайский. — Знаю я дальневосточную осень уже два десятка лет.

— Пойдем, покурим?

Алтайский попробовал подняться. Ноги подчинялись плохо, но он все-таки встал, держась за кровать. Однако коленки затряслись — Юрий отнял руки от опоры и, не в силах удержать равновесие, свалился на постель.

— Нет! Так дело не пойдет, парень! — с хитринкой сказал сержант. — Давай руку!

Алтайский снова поднялся и, опираясь на Алешину руку, сделал несколько шагов. Алексей помог ему отойти от койки и... вдруг опустил руку. Алтайский беспомощно оглянулся, оставшись без опоры, увидел улыбающееся лицо Алеши и тут только разгадал его хитрость. В глазах Алтайского блеснула решимость, он сделал усилие — коленки выпрямились, получился шаг, другой, третий — и, черт возьми, он, улыбаясь, сел на кровать...

— Алеша! Тебе не стыдно? — спросил Алтайский, вытирая тыльной стороной ладони выступившие на лбу капельки пота.

— Чудак-человек! Ноги ж у тебя поотсыхают, коли сам вкус ходьбы не поймешь! Вот ты и пошел... Голицын, а ты чего, как пень, лежишь? Нет, чтобы человека поучить ходить? Видишь — разучился!

— Пожалуйста, если надо, я готов, — бодро согласился Голицын.

Во время очередного обхода Алтайский обратился к Струниной с вопросом: можно ли ему есть, что дают. Струнина смутилась:

— Есть вам нужно! Санчасть постарается добиться диетического стола... А пока ешьте понемногу картофельный суп, просматривайте его, конечно, как бы чего не попало... Можно кашу гречневую, манку...

— Манку нам не дают, — перебил Голицын.

---

\* Не знал тогда герой и автор записок, что действительно видит сына в последний раз. Юрий Конаш, сын Ю. Ф. Краснопевцева, в настоящее время живет в Австралии (примеч. ред.).

— Ну, значит, гречневую кашу, — продолжила Струнина, — пока мы помогаем вам глюкозой — два раза в день.

— Меня уже всего искололи! — поежился Алтайский.

— Не забудьте, что глюкоза в вену для вас лучшее лекарство и питание, — пояснила Струнина. — Получим на днях рыбий жир, дадим бутылочку — пейте, сколько сможете... От хлеба пока воздержитесь, — неожиданно Струнина достала из кармана халата пачку сигарет. — Чуть не забыла! Второй день ношу с собой... Это вам. Венгерские, трофейные. Дайте и хироманту покурить.

Голицын так и подскочил в своей койке. Не успела закрыться за врачом дверь, как он уже сидел на краешке постели Алтайского. Раскрашенное лицо Голицына дышало вдохновением. Оно выразило подлинное умиление, когда половина сигарет из пачки оказалась в его руках.

С того дня Алтайский начал вставать и понемногу ходить по палате. Какой волчий аппетит стал его спутником, каких трудов стоило ему заставлять себя перебирать гречневую кашу, вику от кожуры, не смотреть на хлеб, душистый и таящий опасность, — этого никто не знал, кроме него самого.

И вот наступил день, когда Алтайский смог самостоятельно выйти на улицу...

## Глава 5. ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Стоял октябрь — по-дальневосточному тихий, задумчивый, золотистый. Дальние сопки были причудливо изукрашены разноцветными пятнами: красными — от виноградников и зарослей осинника; золотыми — от дуба и лиственницы; буро-желтыми — от высушенных и поблекших трав. Бросались в глаза изумрудно-зеленые квадратики озимых, особенно яркие на фоне голых тополей. Воздух был чист, свеж и ясен, изредка проплывали паутинки с седоками.

Вот не видел поэт Дальний Восток, а написал как будто о нем:

Люблю я пышное природы увяданье,  
В багрец и золото одетые леса...

Багрец и золото — эти цвета действительно доминируют в раскраске дальневосточной осени.

На завалинке возле больничного барака было тепло — очень ласково грело невысокое солнце.

Очки уже прочно сидели на носу Алтайского — сержант принес медную проволоку. Надя дала иголку и свечу, чтобы воском закрепить стекло. После ремонта очков стекло немного шатается, но уже не выпадает. Видно все отлично: вон солдаты гоняют мяч, стоит толпа около госпитального клуба, вон кого-то пронесли на носилках в санпропускник. Из-за угла корпуса вышли несколько бойцов: стриженные головы, выцветшие госпитальные халаты, идут — дымят, смеются.

Сержант Еремин убежал по делам и унес костюм цвета хаки — пошел договариваться насчет его стирки. Еремин примерно одного роста и одной комплекции с Алтайским, вот и выпросил костюм на время — сержант предполагал блеснуть в нем в клубе госпиталя, где намечались танцы, надеялся достать и галстук. Ефрейтор Леонид пошел за билетами в кино.

Рядом с Алтайским сидели на завалинке хроники-однопалатники. Пятнисто-зеленое лицо Голицына маячило в окне.

Стриженные головы направились к сидящим, подошли, подсели рядом.

— Здорово! — сказал, не садясь, парень с дымящейся завертушкой из газеты величиною, наверное, в четверть листа.

— Здорово, — ответил Алтайский.

— Ты по-русски говоришь? — изумленно спросил парень. — Значит, ты русский?

Алтайский утвердительно кивнул головой.

— А нам говорили, что здесь японцы, — разочарованно протянул парень. И вдруг спохватился: — Тогда получается, что ты белобандит.

Двое пожилых, сидевших рядом с Алтайским, хроников уставились вдаль безразличными взглядами, третий — японец — понимал по-русски плохо. Василий Голицын, пристроившийся было ухом к форточке, стоя на подоконнике, растворился в темноте палаты.

Алтайский рассмеялся:

— Что, похож?

— А кто тебя знает... — протянул боец.

— Сколько тебе лет? — спросил Алтайский.

— Двадцать пять.

— А мне двадцать восемь, — продолжал Алтай-

ский. — Я родился в семнадцатом году. Революция когда была?

— Тогда же, в семнадцатом, и была... — нехотя ответил боец.

— Давай теперь рассудим, — Алтайский заулыбался, — в двадцать втором году белогвардейцы все вышли. Согласен? Как раз здесь, на Дальнем Востоке, они были последними. Мне тогда было пять лет. Значит, по-твоему, — хитро продолжал Юрий, — я появился на свет с усами, с винтовкой и в хромовых сапогах, как все белобандиты?

Бойцы засмеялись.

— Значит, у тебя отец белобандит! — не уступил парень с завертушкой.

— Ты слышал, что такое РКИ? — спросил Алтайский.

— Рабоче-крестьянская инспекция, сейчас ее нет, — объяснил боец, присевший на корточки. — РКИ была сразу после революции.

— Правильно, — подтвердил Алтайский. — Так вот, мой отец в ней и работал, только жили мы тогда в Сибири. Вот ты и прикинь: оставались ли белобандиты служить советской власти?

— Как же ты тогда в Японию попал? — спросил белобрый боец.

— Я в Японии не был. Был только в Китае, а Китай — не Япония, — ответил Алтайский.

— Все равно и там японцы были...

— Были, да потом! — начал объяснять Алтайский. — А когда в двадцать седьмом году мы поехали из Владивостока в Китай, там была советская железная дорога — Китайско-Восточная называлась... Слышал?

— погоди! — перебил боец с завертушкой. — Во Владивостоке был, говоришь? Жил там где?

— На Первой речке, на Океанском проспекте.

— А учился где? — прищурил один глаз боец.

— В десятой школе первой ступени. Как спустишься через «трубу» с Китайской на Первую речку, внизу в балке баня...

— А напротив, на углу, — перебил боец, пыхнув завертушкой, — мы сшибали вывеску «Торговля москательными товарами Титова»...

Лед отчуждения начал таять, когда Алтайский, засыпая вопросами, стал рассказывать о жизни в Китае, об учении, о разных судьбах тех, кто по своей воле или слу-



чайно оказался вдали от Родины. И бойцы вскоре разговорились о своем житье-бытье...

Из того, что рассказывали бойцы, Юрий услышал многое впервые: будто в Советском Союзе бесплатно учат даже в вузах, и не только учат, но и дают студенту место в общежитии, стипендию на жилье и еду, бесплатно лечат людей... Ерунда какая-то! И совершенный свист о том, что истощенное войной государство продолжает бесплатно учить, давать стипендии, обеспечивает народ не просто врачебной помощью в виде бесплатных приемов-консультаций в поликлиниках, но и делает операции, содержа в больницах, поит, кормит и не берет ничего даже за еду!

«Вот бы мне так, — подумал Алтайский. — Хотя бы только учиться так досталось! Но нет, тут что-то не так! Ага, понятно, — догадался Алтайский. — Наверное, им приказали вести пропаганду...»

Так он и сказал вслух. Бойцы взорвались смехом. В их взглядах и улыбках Алтайский прочитал гордость и превосходство...

Подошедший во время разговора и присевший сбоку сержант Еремин покатывался со смеху вместе со всеми, когда Алтайский, упорствуя, долго не хотел верить в «сказки», которые ему рассказывали бойцы, задавал нелепые вопросы.

Да и как ему было не задавать эти нелепые вопросы — уж слишком разителен контраст между тем, что он слышал сейчас от бойцов, и тем, в каких условиях сам учился за границей.

— Не заплатил деньги за учение до пятого числа любого месяца — заворачивай оглобли, на лекции нельзя! Зачеты, экзамены без квитанции о том, что плата внесена, не принимают. Что делать? На первых курсах богатеньким студентам чертежи, курсовые работы, проекты делал, все за плату. В этом и своя польза — другим делаю и сам учусь. А в каникулы примусы чинил... Чего смеетесь? И примусы, и пишущие машинки, и патефоны, и утюги!.. Порох охотничий делал в институтской лаборатории, честное слово — не вру! Сапоги, правда, не тачал, костюмы не шил, а кое-кому и этим приходилось заниматься, — рассказывал Алтайский. — Много было таких, как я, не всегда и найдешь подходящую работу. Уже на третьем курсе я занимался, когда пришлось пойти сторожем-поденщиком на вокзал. Работа, прямо скажу, сволочная: с восьми утра до десяти следующего дня на ногах, спать ночью нельзя — на-

до по путям ходить, чтобы видно было: сторожа бодрствуют. А то назначат крыс гонять... — бойцы, окружившие Алтайского, снова засмеялись. — Ну, вот опять! Да я же серьезно вам говорю: зимой, когда мороженые туши диких кабанов и козуль на платформу выгрузят из вечерних поездов, крысы — тут как тут! Продежуришь 26 часов, потом домой пешком километров пять — и спать... И автобусы и трамваи ходят, да не по карману — и мелочь приходится экономить... А вечером на лекцию в институт тоже километров за пять от дома, в одиннадцать или в полночь снова спать, а к восьми утра опять на работу. И терпел я так больше двух лет...

— Ну, а выходные, дополнительные отпуска студентам, которые работают? — спросил белобрысый боец.

— Какие отпуска? — изумился Алтайский. — Когда я два года изо дня в день вот так проработал, стал просить отпуск без содержания для сдачи экзаменов... Отстал я в учебе здорово. Хорошо, что у нас была предметная система, — значит, не обязательно ходить на лекции. На первом курсе можно было сдавать за пятый и наоборот, только деньги плати и учись хоть десять лет, пока не закончишь. Вот откуда пошли вечные студенты... Ну так вот, прошу я отпуск, а мне говорят: поденщикам никаких отпусков не полагается, да и совсем необязательно сторожу учиться...

— Как же это так? — зашумели бойцы.

— А вот так! — продолжил Алтайский. — Хочешь учиться — твое дело, но ты сам заработай деньги, если родители их не имеют. А для хозяина учение рабочего или служащего — помеха в работе.

— Попробовал бы у нас какой-нибудь начальник не дать положенный трудящемуся отпуск или выходные замылить — ьмиг бы шапка слетела...

Алтайскому снова пришла пора удивляться — бойцы опять начали рассказывать невероятные, по его мнению, вещи.

Если в Советском Союзе рабочий отработал сутки, то по закону двое суток ему положено отдыхать. Учащемуся рабочему дается 30—40 дней дополнительного отпуска для сдачи экзаменов. Причем эти дни оплачиваются, засчитываются в трудовой стаж...

«Не может государство всем, кто работает и учится, предоставлять такие льготы, — подумал Алтайский. — Наверное, их получают только заслуженные революционеры — старые большевики и, может быть, их дети».

Он так и сказал. И опять над ним потешались бойцы, и опять в их глазах мелькали гордость и превосходство...

— Принимай генерала! В пень ему колоду мать! — вдруг заорал кто-то благим матом.

Халаты вокруг Алтайского расступились: два бойца несли носилки, сбоку шел ефрейтор Леонид. На носилках лежал сухонький сердитый старичок. Шедший спереди чернявый боец с пилоткой под погоном оглядывался и что-то настойчиво пытался втолковать старику, но тот то ли не хотел его понять, то ли действительно не понимал — да и мудрено было понять смысл речи чернявого, поскольку матерных слов в его лексиконе было гораздо больше, чем нормальных человеческих.

— Эй, кто тут старшой? Принимай белогвардейского генерала! — опять заорал чернявый, не очень почтительно грохая носилки на землю.

Сердитый старичок вдруг взъярился:

— И какая косорукая ведьма тебя родила? Чтоб у тебя, щенка, руки отсохли!

— Ах ты, старый хрен... В пень, колоду... Такая мать! — заершил чернявый.

— Прекратить! — выступил из толпы сержант Еремин.

— А ты чего, сержант, за всякую падлу заступаешься? — бросился к нему чернявый.

— Молокосос! — заорал старик.

— Слушай! — строго сказал сержант чернявому. — Материться хочешь — отойди вон к отхожему месту... А больного сдавай как положено.

— Так это ты старшим барбосом будешь? Ефрейтор, он? — крикнул чернявый Леониду.

— Ты хочешь, чтобы я рапорт написал? — внушительно спросил сержант.

Чернявый взглянул на сержанта еще раз, задержал взгляд на синем канте красного погона НКВД и чуть сник:

— Ну, а чего он, белогвардейская сука: поднимай ровней, да не тряси, да подушку подложи, да штаны подай, да «барышня, уйдите — я стесняюсь своей наготы», — закривлялся боец.

— Молокосос! Мальчишка! — снова закипятился старик. — Я произведен в офицеры еще при императоре Александре Третьем! А ты вместо уважения к старшему по чину ведешь себя так, что заставляешь меня краснеть за русского солдата!

— Вот видишь! — жалуясь, сказал чернявый сержан-

ту. — Всю дорогу так: он, дескать, старший по чину... Я что, слугой приставлен к этому генералу?

Ефрейтор что-то шепнул сержанту на ухо.

— Гражданин бывший генерал Крутилин! — обратился сержант. — Прошу следовать в палату!

Старик покосился на сержантские погоны:

— Слушаюсь, господин старший унтер-офицер! Только этого дурака прошу к носилкам не подпускать, — добавил он, поднимая сухую руку и указывая на чернявого бойца.

— В пень... колоду... — начал чернявый, но сержант перебил его:

— Хватит! Человек болен. Понял?

Чернявого заменил ефрейтор Леонид. Носилки осторожно подняли и понесли к дверям, которые уже распахивала вышедшая навстречу сестра-хозяйка.

Среди синих халатов прошел шепоток, вдруг кто-то громко сказал:

— А все же сразу видать, что генерал... Сердитый!

— Ну и собака! В пень его... — добавил чернявый.

Его перебил совсем молодой паренек с пухлыми губами:

— Будь он хоть кто, а старость уважать надо! А ты хуже бабы! — повернулся он к чернявому. — Сапог!

Чернявый полез было с кулаками, но взглянул на сержанта и опять сник.

Продолжения разговора не получилось. Уже вечерело, стало прохладно. Стайки белых халатов потянулись к кухне, постукивая деревянными ведрами. Алтайскому захотелось есть, да так, что от донесшегося запаха жаренного на бобовом масле картофеля он сглотнул слюну и попросил закурить.

Условились встретиться завтра.

К утру выпал снег, погода испортилась.

А еще через три дня спецбольных посадили в автобус и отвезли дальше за город — в другой госпиталь с такими же бараками, но обнесенными колючей проволокой. Очевидно, кто-то из начальства решил, что свободное общение с выздоравливающими бойцами им противопоказано.

Сердитый сухонький старичок Крутилин в автобус не попал — накануне он умер от старости. Последние его слова, которые удалось разобрать, были о том, что он счастлив умереть на Родине...

Через две недели Алтайский стал свидетелем фронтового салюта в честь годовщины Октябрьской революции: в

небе скрестились лучи прожекторов, образуя римские цифры XXVIII, бухали орудия, стрекотали автоматы, рассыпался фейерверк и разноцветные ракеты.

С товарищеского ужина по случаю праздника, устроенного госпитальной администрацией, сержант Алеша принес Алтайскому мисочку винегрета и пирожок с морковкой.

10 ноября Алтайского выписали из госпиталя. Одеться было недолго — все те же пиджак и брюки цвета хаки, трофейная рубашка и теплые ботинки на меху, которые сержант Алеша дал ему вместо летних рыжих. Прощаясь, сержант достал из кармана гимнастерки сложенную бу-мажку с адресом:

— Скоро демобилизуюсь... Ты тоже будешь свободен. Пиши! Приезжай!

Окрестные поля и асфальт дороги припорошил снег. Безветренный воздух, сухой от легкого морозца, казался каким-то по-особому живительным. Груженная тюками полуторатонка с несколькими бойцами в кузове уже стояла около ворот.

Бойцы потеснились, давая Алтайскому место на верхнем ряду тюков. Однако сидевший на отдельном тюке внизу усатый пожилой боец в шинели с накинутой сверху плащ-палаткой и автоматом между расставленных ног поманил Алтайского пальцем:

— Так, парень, дело не пойдет. Простынешь на ветру. Садись вот к ногам на кошму — я тебя хоть малость прикрою.

\* \* \*

В лагере Алтайского ждал сюрприз — ему велели получить вещи, присланные из дома. Зимнее пальто с теплым воротником, суконный китель с брюками, белье, подушка-думка, трофейные меховые ботинки, половина палатки и сигареты — все, что он перечислил в записке перед отправкой в госпиталь. Очков не было, он вспомнил о них потом, когда записку уже отправили.

Колючая проволока, окружавшая бараки, не была преградой для взглядов прохожих. Дорога шла рядом, поднимаясь по насыпи к деревянному мосту через какую-то речушку. По мосту то и дело сновали машины. Их водители, сидевшие в кузовах пассажиры, как и прохожие, поворачивали головы, разглядывая бараки за двумя рядами колючей

проводами, и на их лицах не отражалось удивления — очевидно, картина была привычной.

По утрам, по команде «кончать ночевать» узников лагеря поднимали на прогулку и умывание на улице. К кранам, установленным вдоль канав, выстраивалась очередь. За колючей проволокой, примыкавшей к отхожему месту, становился, как для торжественной церемонии, боец с автоматом; он одобрительно отзывался на победные звуки, понукал медлительных.

Первую ночь в лагере спать пришлось не раздеваясь, но мягко — на свернутом зимнем пальто. Мешало что-то твердое в кармане, оказавшееся куском мыла.

«Как кстати это мыло», — подумал Алтайский, держа его в руках и пристраиваясь утром к очереди на умывание.

Утро выдалось солнечным, на сухой земле лежал иней, лужи в канавах подернуты тонким ледком.

Алтайский воспринимал все, что видел, остро и живо: выстроившиеся в два ряда побеленные бараки с маленькими высокими оконцами, затянутыми проволокой, и с железными прутьями на гвоздях казались запущенными и мрачными, а маленькая голая улочка между ними с канавами по краям и тянувшимися вдоль них трубами с торчащими стояками кранов — казенно приглаженной. Приткнувшаяся к колючей изгороди кухня, стоявшая поперек короткой улочки и почему-то называвшаяся офицерской, дымилась, но доносившиеся от нее запахи не были вкусными, они вызвали не аппетит, а глухой протест пустого урчащего желудка... Впечатление убогости, запустения подчеркивали небритые бороды, космы давно не стриженных путаных волос на головах, посеревшие от пыли, грязи и пота рубахи и пиджаки людей, очередями выстроившихся к стоякам с кранами.

Рядом с отхожим местом стоял санизолятор — невзрачный серый домишко с распахнутыми настежь дверями, сквозь которые видны были сплошные нары-лежанки и приткнувшийся к стене стол с крестообразно сколоченными досками вместо ножек.

Радовали глаз лишь ледок в канавах, прозрачные капельки и целые струи, выбивавшиеся из кранов, — они серебрились на солнце, играли всеми оттенками жизни.

Люди, проходившие по насыпи, тащили корзинки, мешки, были бедно одеты. В их случайно брошенных взглядах Алтайский пытался поймать что-нибудь, кроме безразличия, и не мог. И тут же проезжали машины и

прицепы с мощнейшей военной техникой. Как увязать эту мощь с царящей кругом убогостью?

Задумавшийся Алтайский машинально подал мыло, когда его попросил об этом какой-то незнакомый человек, и не заметил, как получил его обратно, зажатым в кусочек бересты. Взгляд Алтайского скользнул по улочке, и он замер — прямо на него, поглядывая по сторонам, вдоль обочины канавы шел бывший однокашник Виктор Листов — дирижер студенческого хора, после окончания института сделавший карьеру в оперетте. Необыкновенно выразительный, приятного тембра мощный голос, отличные сценические данные — все это способствовало тому, что менее чем за год Виктор стал премьером в Харбинской оперетте.

Алтайский сделал шаг из очереди, загородил дорогу Листову. Тот остановился, поднял склоненную к земле голову, взглянул на Алтайского — на его лице изобразилось удивление.

— Юрий? — протянул Листов нерешительно. — Не может быть! Ведь ты же мертв? Нам сказали, что ты, Быстрицкий и Борейко — все умерли. Мы, брат, тебя уже похоронили. Как ты жив остался?

— Я чудом выжил, Виктор, — ответил Алтайский и вдруг спохватился, только сейчас до него дошел смысл слов Листова. — Быстрицкий — это верно, он умер. Но ты сказал, что умер и Борейко?

— Это точно, Юрий, — развеял его сомнение Листов. — Он был очень подавлен, жить ему не хотелось, когда его повезли в больницу. Он очень быстро скончался.

— Нас с Борейко везли из Китая в одном вагоне, — рассказал Алтайский. — Мы расстались, когда меня отправили в госпиталь. Значит, и он вслед за мной попал туда же? Жаль, не довелось нам больше встретиться... Помню, еще совсем недавно, вспоминая свою жену, Борейко говорил, что ей без него и ему без нее жить незачем... Добрая, чуткая душа!

— Да, Юрий. Мир его праху, пусть земля будет ему пухом.

Помолчали. Подходила очередь Алтайского умыться. Листова тоже ждали свои заботы.

А через три дня Алтайский вновь слег, его отнесли в санизолятор: трофейный гаолян и соленая горбуша оказались слишком тяжелыми для неокрепшего организма — подскочила температура, пропал аппетит, вновь на-

лились тяжестью мускулы, охватила апатия ко всему окружающему, в том числе и к собственной судьбе. Чуть вспыхнувшая было жизнь вновь грозила угаснуть.

Когда через несколько дней Алтайскому удалось преодолеть самого страшного в его положении врага — безразличие и дело пошло на поправку, а жизнь опять показалась ему улыбающейся, он вспомнил фразу, сказанную ему Листовым: «Считай себя воскресшим. Значит, будешь ты жить, в то время как другие будут здесь умирать...»

## Глава 6. КАК ДЕЛАЮТСЯ АГЕНТЫ

— Моя фамилия Тяпцев. Капитан Тяпцев. Я следователь военного трибунала. Разговор пойдет о вас. Давайте начнем с вашей биографии...

Неожиданно дверь кабинета открылась, впусив тучную высокую фигуру подполковника с портфелем.

— Это военный прокурор. Он будет присутствовать при нашем разговоре, — пояснил следователь, вставая навстречу вошедшему.

Только что расположившийся на стуле напротив следователя Алтайский тоже встал, машинально поправил сползавшие очки — толкнул их пальцем к переносице.

Прокурор пересек кабинет, махнул рукой, разрешив следователю сесть, сел рядом сам. Опустился на свой стул и Алтайский.

— Ну, что там у нас? — устало спросил прокурор и как-то по-особому, одобрительно, что ли, — или это только показалось Алтайскому? — взглянул на подследственного.

Капитан подвинул к себе довольно толстую подшивку бумаг в корках из серого картона, на одной из которых было крупно напечатано типографским способом «дело», и начал ее читать.

У Алтайского екнуло сердце: неужели он уже испил свою чашу? Не случилось ли так, что две величайшие в истории страны победы растопили лед где-то там, наверху, что кому-то из сильных мира сего стало ясно: подозрительность к людям, оказавшимся по воле обстоятельств оторванными от Родины, — это не только ненужная, ничем не оправданная жестокость по отношению к ним, но еще и сеяние розни там, где давно могли бы быть единомыслие и общий труд на общее благо?

Следователь между тем нашел то, что искал. Взглянув



на подполковника, он показал заголовок листа, потом переместил палец вниз и дважды провел им под несколькими подчеркнутыми словами в тексте. Подполковник, наклонившись, прочитал эти слова, посмотрел на Алтайского взглядом, в котором уже не было теплоты, сказал безразличным голосом: «Ах, вот оно что... Продолжайте следствие», — и, поднявшись, вышел.

Следователь сидел молча, не поднимая глаз. Когда он вставал, приветствуя подполковника, Алтайский успел обратить внимание на его высокий рост, худощавость, стройность и умный взгляд серых глаз. Теперь, сидя, следователь не казался высоким — сутулилась спина. Русые пряди волос падали на чистый высокий лоб. Длинные пальцы крутили карандаш. Со всем обликом следвателя как-то очень не вязались небольшие, как у девушки, ямочки на щеках его сухого, бесстрастно-официального, немного длинноватого лица.

— Ну, что ж, начнем? — повторил капитан Тяпцев. — Расскажите, пожалуйста, свою биографию. И, если можно, подробней.

Алтайский стал рассказывать, начав с того, как вместе с семьей, выехавшей в 1927 году из Владивостока в Харбин, десятилетним подростком оказался в Китае. Рассказывал Алтайский о своей жизни с частыми и довольно большими отступлениями. Отвлекаясь, он то и дело начинал говорить о времени, в котором жил, и о событиях, очевидцем которых ему довелось стать, давал им оценку. Следователь рассуждения Алтайского не прерывал, выражая тем молчаливое согласие с этими долгими, иногда сумбурными отступлениями, — в них, по мнению Тяпцева, очевидно, могло быть больше смысла, чем в точных ответах на точные вопросы. Постепенно у следвателя складывалось впечатление об Алтайском как о человеке запутавшемся, заблудившемся в собственной жизни.

Алтайского между тем, как принято говорить, понесло... Размышляя вслух, он утверждал, что не считает себя виновным ни перед одним советским гражданином, ни перед страной, то есть перед тем пролетариатом, в чьих руках в Советском Союзе и находится власть, если верить утверждениям официальных лиц. Но ему непонятны причины репрессий в отношении к советским гражданам — бывшим работникам КВЖД, которые возвратились на Родину после того, как Советское правительство отказалось от своих прав на эту дорогу. А ведь среди них были

самые настоящие пролетарии, коммунисты и комсомольцы. Может, это произошло потому, что подлинной власти у пролетариата нет? Нет, как вы говорите, диктатуры пролетариата, а есть диктатура над пролетариатом?

Задав этот вопрос, Алтайский немигающим взглядом уставился на следователя — что он ответит? А Тяпцев настолько был ошеломлен подобным высказыванием подследственного, что и не нашелся сразу что сказать. Что это, попытка разрешить сомнения, которые давно мучают Алтайского? Или результат долгого воздействия на него империалистической пропаганды? К тому же вступать в дискуссию капитану не хотелось — он не считал себя обязанным давать уроки политграмоты человеку, который то ли бравировал своими убеждениями, то ли сам не понимал полностью смысла своих слов, то ли просто хотел показать, что ему нечего терять...

Тяпцев взглянул на подследственного, и по лицу Алтайского прочитал его настроение — тот ждал или подтверждения своим мыслям, или окрика.

«Почему бы не дать ему высказаться? Может быть, сущность Алтайского станет яснее?» — подумал капитан и сказал вслух:

— Настроение ваше я понимаю. Вы долго жили за границей, поэтому путаете многие понятия, смотрите на вещи по долготелней подсказке империалистической пропаганды.

Ямочки на щеках следователя угрожающе сгладились.

— Возможно! — согласился Алтайский, ткнув к переносице очки. — Но почему советская власть считает своих граждан скотом?

— Что за чушь? — возмущенно приподнялся капитан.

— А разве это не так? — спросил Алтайский. — Вы утверждаете, что строите новое общество, и при этом караете за малейший проступок, даже ошибку! Хотя некоторые — например, вот вы, — делаете это, может быть, против своей воли, в силу какой-то драконовской инструкции... Как вы думаете, неужели народ — такое быдло, такой интеллектуальный скот, который не понимает ничего, кроме палки?

— В своем заблуждении вы очень вредный человек, Алтайский, — сдержанно сказал следователь, и уголки рта у него опустились, придав лицу пренебрежительно-официальное выражение.

— А мне кажется, — не уступал Алтайский, — что вы даже самому себе не можете или не решаетесь сказать

правду. А может, просто по инструкции не желаете ее знать?

— Откуда вам знать наши инструкции? — по-прежнему сдержанно, но уже зло спросил следователь.

— Инструкций не знаю, но интуитивно их чувствую... — Алтайский помолчал секунду, другую и затем продолжил. — Мне все-таки почему-то кажется, что будь вы вершителем моей судьбы, вы бы, наверное, поверили, что я люблю Родину, народ, что я не причинял и не причиню им вреда, что у меня есть свои принципы, в значительной степени схожие с вашими...

Алтайский замолчал. На худом лице его пробился румянец возбуждения. Ненадежно починенные очки опять сползли с переносицы, показав близорукие невыразительные глаза. Алтайский догадывался, каким глупым выглядит его лицо, когда сползают очки, поэтому часто толкал их к переносице, а они снова сползали.

Капитан достал пачку папирос, закурил сам, после чего подвинул пачку к подследственному.

Алтайский увидел, что интерес на лице капитана постепенно сменился выражением служебной сухости и озабоченности. Затянувшись, капитан сказал:

— Знаете, Алтайский, есть основания для обвинения вас в шпионаже.

— ?!

— Вы поступили работать сторожем на вокзал, когда были на третьем курсе университета, то есть в тридцать седьмом году? — Алтайский утвердительно кивнул головой. Капитан продолжал. — В тридцать девятом году вы уволились, сдали зачеты, академическую задолженность и снова устроились на работу по конкурсу конторщиком в городскую билетную кассу, или, как вы сами написали в анкете, в туристбюро?

Алтайский слушал и не понимал, почему капитан начал столь издали. Ему показалось, что следователь сделал акцент на словах «по конкурсу». «Надо объяснить», — мелькнула мысль в голове Алтайского.

— Да, по конкурсу, — ответил он. — Требовались знания английского языка, было сорок претендентов на одно место. Все претенденты — такие же, как я, молодые люди, но только окончившие английские и американские колледжи. У меня, по сравнению с ними, знание английского языка было неважным, особенно подводил мой «нижегородский» акцент в произношении...

— За какие же заслуги вас приняли на работу, если, как вы говорите, конкуренты оказались сильнее? — подозрительно спросил капитан.

— Заслуг не было, — ответил Алтайский. — Я вам рассказывал, что вначале учился на восточно-юридическом факультете, где среди прочих дисциплин изучал и китайский язык. Вот он мне и пригодился. На конкурсе спросили: как вы будете давать справки о расписании поездов и стоимости билетов по странам Восточной Азии, если справочники на китайском или японском языках. Я ответил, что по этим справочникам и буду давать, так как с иероглифической письменностью знаком. Вот и все. Меня проверили, я читал довольно быстро, члены комиссии только улыбались, когда я произносил по-китайски названия японских городов. Я оказался единственным из всех сорока претендентов, не погнушавшимся китайской грамотой.

Следователь улыбнулся — вопрос был ясен.

— И все же, Алтайский, — сказал он после небольшой паузы, — шпионаж вы вели, работая именно в билетной кассе.

Слово «шпионаж», произнесенное во второй раз, теперь уже не произвело на Алтайского такого ошарашивающего впечатления.

— Шпионаж я понимаю как тайные и, значит, наказуемые действия для получения секретных сведений о враждебном государстве на его территории или как тайное проникновение на чужую территорию для сбора разведывательных данных. Правильно? — спросил Алтайский. — При чем здесь билетная касса, и какие действия в ней могут быть названы шпионскими?

— Вы продавали билеты служащим советского консульства?

— Конечно, продавал! Мало того, сотрудники консульства Ситенков и Солдатов только ко мне и обращались.

— Вы записывали фамилии отъезжающих?

— Записывал. Для всех европейцев, в том числе для советских граждан и эмигрантов, было обязательным предъявлять при покупке билета разрешение на поездку.

— А что вы записывали при продаже билетов сотрудникам советского консульства?

— То же, что и при продаже всем европейцам: номера паспортов, фамилии, когда и куда едет...

— Ну вот и достаточно.

Алтайский изумленно заморгал глазами, ткнул очки к

переносице и уставился на капитана. Он смотрел на следователя как бы впервые, хотел и не мог понять: с одной стороны, безусловно высокоразвитый интеллект, с другой — совершенно невообразимый крючоктор, ищущий преступление там, где его нет.

— Может быть, вы думаете, что я записывал отъезжающих по собственной инициативе? Но это не так! Это одна из служебных обязанностей кассира. Я записывал данные о клиенте в присутствии самого клиента по его документам в специальной служебной книге с графами вопросов. Эта книга — оправдательный документ для билетной кассы. Продавать билеты европейцам без предъявления ими специального разрешения билетная касса не имела права...

— А вы подумайте, — перебил капитан, — нужны ли были эти записи билетной кассе?

— Конечно, нужны! — живо подхватил Алтайский. — Представьте себе: кто-то звонит по телефону или приходит и спрашивает: «когда уезжает итальянский консул Маффей», или «нет ли у вас данных, с каким поездом уезжает Шаляпин», или, в конце концов, «когда уезжает госпожа Вожель-Гест, господин Борькин»... Понимаете, улучшался сервис, то есть уровень обслуживания, а это главное в работе туристических контор. Каждый обращавшийся был для нас потенциальным клиентом, чем быстрее и точнее мы давали справку, тем больше могла быть уверенность, что при поездке этот человек обратится именно к нам за билетами уже для себя и, следовательно, билетная касса заработает свои пять процентов от стоимости проданных билетов...

— Не хитрите, Алтайский! — снова перебил капитан. — По-моему, вы хотите спрятать концы в воду, потому что умалчиваете о главном! Кому вы эти сведения передавали? Полиции, жандармерии, разведке?

— Ну, знаете! — вспыхнул Алтайский. — Спрашивать: кто звонит, откуда звонят — это было бы верхом бестактности! Так бы и сказали, что в туристбюро сидят жандармы, а это значило бы потерять клиентуру и заработок.

— Значит, вы не отрицаете, — неумолимо продолжал капитан, — что сведения о служащих советского консульства и дипломатических курьерах вы могли сообщить и в полицию, и в жандармерию, и представителю разведки?

— Повторяю, я обязан был отвечать любому, — зло и безнадежно сказал Алтайский, уже не рассчитывая, что ему удастся что-то объяснить толком. — Я обязан был да-

вать справки независимо от того, было ли у спрашивающего полицейское или жандармское удостоверение или не было! К тому же вам, наверное, известно, что машину советского консульства всегда сопровождала другая, набитая японцами. За каждым советским служащим ходили по пятам два-три шпика... Чтобы отъехать от Харбина на 20 километров, русским требовалось разрешение из полицейского управления... Все это я говорю к тому, чтобы вы себе представили ненужность справки об отъезде работников консульства из билетной кассы.

— А не было ли у вас случаев, когда какие-либо неофициальные лица просили вас специально сообщить об отъезде сотрудника консульства? — Тяпцев сделал ударение на слове «специально».

— Такой случай был! — не раздумывая, сразу ответил Алтайский. — Я его очень хорошо помню, потому что он связан с эпизодом, заставившим меня поставить жирный крест на всех «авторитетах» старой чиновной России...

Капитан молча поднял на подследственного глаза.

— В Харбине, — начал Алтайский издали, чтобы следователь его наверняка понял, — было много всяких «бывших людей» — царских губернаторов, генералов, чиновников, аристократов. Многие из них опустились, потеряли человеческое достоинство, не только сановитость. И тем не менее среди эмигрантов было принято уважать чины, если, конечно, их обладатели не валялись под забором...

— Это мне известно, — улыбнулся капитан.

— Смешно вспоминать глупости, которые приходилось порой слышать, — тоже улыбнулся Алтайский. — Сидят где-нибудь на уличных скамеечках такие голодранцы, что диву даешься — откуда они взялись, «стреляют» у прохожих папиросы и рассуждают: кому из них и какой государственный пост можно доверить в освобожденной от большевиков России... Конечно, были среди них и те, кто сумел сохранить деньги или получить хорошо оплачиваемую работу. Такому бывший высокий чин продолжал служить, помогал создавать ему ореол «непререкаемого авторитета», о котором можно было говорить только уважительным шепотом. Конечно, фальшь таких «авторитетов» я понял не сразу, был молодой и дурной... Но пора перейти к сути дела. Однажды в нашей билетной кассе зазвонил телефон. Снял трубку китаец, знавший десяток русских слов, ответил по-русски «ваша подождать» и передал трубку мне.

Мужской голос спросил: «Когда уезжает сотрудник советского консульства Свечников?»

Алтайский невольно остановился, потому что капитан, услышав фамилию, вдруг резко откинулся на спинку стула, немного смутился этого движения, и, наклонив голову, постарался изобразить прежнее безразличие к словам подследственного. Но при этом он на мгновение еще раз поднял глаза, встретился взглядом с глазами Алтайского, и тот понял: нет, не равнодушие было в глазах капитана!

Восстанавливая нить прерванной мысли, Алтайский продолжил:

— Мужской голос спросил, когда уезжает Свечников? Я посмотрел в книгу записей, этой фамилии там не было, я так и ответил. Часа через два тот же голос повторил вопрос. Я, уже не заглядывая в книгу записей, ответил, что билетов для Свечникова не брали. На следующий день звонок повторился еще раз. На сей раз после моего отрицательного ответа голос обратился с дополнительной просьбой: когда билет будет продан, сообщить об этом по такому-то номеру Михайлову... Затем появился и сам Михайлов, которого представил директор билетной кассы: «Это Михайлов-сын, ему нужно давать любые справки по телефону». Я ответил, что это входит в сервис, поэтому особого предупреждения делать не надо.

Капитан, не пропуская ни слова из рассказа Алтайского, выводил карандашом какие-то фигурки на лежавшем перед ним листе бумаги.

— Фамилия Михайлова мне ничего не сказала. Заинтересовавшись, я решил спросить об этом человеке Верейского. Тот пояснил, что Михайлов очень уважаемый человек, бывший министр финансов, а сейчас советник акционерного общества электрических предприятий города Харбина. Слова «министр финансов» прозвучали для меня настолько внушительно, что при следующем телефонном разговоре я, бедный студент, постарался придать голосу почтительность. И когда билет для Свечникова был куплен, я позвонил Михайлову, чтобы сообщить об этом, но услышал в ответ короткое: «Спасибо, уже знаю».

Капитан посмотрел на Алтайского:

— И это все?

— Нет. Потом я хорошо узнал, что это за авантюрист... Меж собой эмигранты звали Михайлова «Ванька-Каин». Позже мне пришлось самому убедиться в точности этого

прозвища. Это случилось, когда я имел неосторожность обратиться к нему...

— Зачем? — заинтересованно спросил капитан.

— История длинная, но если для вас она представляет интерес, я расскажу.

— Только покороче, — взглянул капитан на часы.

Рассказывать коротко Алтайский не умел: мыслей было много и они одновременно приходили в голову. Развивая одну, Алтайский забывал другую, а когда вспоминал эту другую мысль и вставлял ее в рассказ, она оказывалась уже не к стати. Тем более, что в это время рождались новые мысли и вспоминались факты, которые, без сомнения, представляли интерес для капитана.

Короче говоря, рассказ получился хаотичный, однако суть и смысл его не могли измениться, как бы сбивчиво он ни был построен. Алтайский рассказывал искренне, с жаром и увлечением непосредственной натуры, возмущенно рисуя второстепенные и вовсе ненужные детали.

Вот что было. В начале 43-го года к одному врачу-корейцу по фамилии Хван, хорошему знакомому Алтайского, зашел русский студент Шевелев. Врач закончил русскую школу, прекрасно владел русским языком, был женат на русской и потому старался поддерживать русские знакомства. Без проволочки Шевелев приступил к делу.

— Хочешь заработать? — обратился он к Хвану.

— Что за вопрос? Конечно.

— Дай две тысячи на три дня и получишь три, — предложил Шевелев.

Хван поколебался, но деньги дал и ровно через три дня действительно получил три тысячи.

Через месяц Шевелев пришел снова:

— Дай пять тысяч, через неделю получишь семь.

Хван дал и через неделю заработал еще две тысячи. А еще через месяц Шевелеву потребовалось 10 тысяч на две недели. Хван опять дал деньги, заняв недостающие две тысячи у соседа, но на этот раз не через две недели, а только через три месяца получил от Шевелева чек, который банк не оплатил: денег на счете не было.

Перезаняв, Хван расплатился с соседом и дал зарок на будущее не ввязываться в сомнительные дела. Через некоторое время он поведал историю своего «обогащения» Алтайскому, с которым был в дружеских отношениях.

Алтайский возмутился, предложил набить Шевелеву морду. Но Хван отнесся к этой затее с опаской, сказав, что



Шевелев — близкий родственник новой молодой жены Михайлова. Михайлов же, во-первых, бывший министр финансов, во-вторых, человек, у которого сохранились связи и черт знает какие, а шум вокруг Шевелева равносителен шуму вокруг Михайлова... К тому же расписки или других документов, подтверждающих, что Хван давал деньги Шевелеву, нет — значит, нет и никаких юридических оснований...

— Не может быть, чтобы Михайлов заступился за жулика! — перебил Хвана Алтайский. — Чем более высокое положение занимал человек в прошлом, тем он должен быть более нравственным! Посуди сам: какое доверие имел и, значит, должен был заслужить человек, если ему вручили государственные финансы!

— А знаешь, Юрий, что Михайлова зовут Ванька-Каин?

— Как? — подскочил Алтайский.

— Ванька-Каин, — спокойно повторил Хван. — И министр он дутый — колчаковский. И еще: знаешь ли, что не без его участия атаман Семенов украл для японцев часть русского золота?

— Нет, не может быть, — искренне засомневался Алтайский.

Заручившись согласием Хвана, он все-таки отправился к Михайлову. Бывший министр открыл дверь сам. Седоватый, невысокого роста, несколько сухой, опрятно одетый, на фоне хорошо обставленной квартиры и ковров, он производил приятное впечатление. Алтайский без предисловий выложил цель визита. Рассказав об афере Шевелева, он простодушно сказал:

— Верейский мне говорил, что мой долг уберечь ваше имя, имя уважаемого человека, от какой-либо грязи. С этим я полностью согласен, иначе бы не пришел к вам... Надеюсь, что вы покажете тем, кто хотел запятнать ваше имя, что такое нравственность в самом высоком понимании...

Михайлов утвердительно наклонил голову, было похоже, что он растроган. Откуда мог знать Алтайский, что подобные искренние слова, так высоко оценивающие его нравственный облик, Михайлов слышал, может быть, впервые в жизни?

— Я сам займусь этим! — веско сказал он. — Если вас не затруднит, давайте вместе сходим в банк. Мы начнем с проверки чека. Я узнаю, кто его выписал, каким образом

он попал к Шевелеву. Этот мальчик, если хоть чуточку виноват, будет соответствующим образом наказан!

Михайлов и Алтайский вместе проследовали в торгово-промышленный банк, на бланке которого был выписан чек.

В большом зале, перегороженном высоким резным барьером, слышалось мягкое шуршание арифмометров. Перед барьером в кажущемся беспорядке стояли низкие полированные столики с блестящими пепельницами, окруженные мягкими креслами. Усадив Алтайского в одно из этих кресел, Михайлов сказал, что сам сходит к директору банка, попросил его немного подождать и скрылся за массивной, обитой кожей дверью, ведущей в служебные помещения. Через минуту вернулся с озабоченным видом, попросил у Алтайского чек. Дверь за ним снова закрылась...

Часа через три, уже на исходе рабочего дня, так и не дождавшись Михайлова, Алтайский тоже прошел за обитую кожей дверь. После недолгого хождения по коридорам он нашел второй, черный выход во двор. Стало ясно: комедия была нужна Михайлову, чтобы заполучить единственную улику — чек...

Пока Алтайский рассказывал, капитан внимательно наблюдал за ним, изредка делая кое-какие пометки на листах бумаги. А когда рассказчик замолк, пододвинул к нему подшитую папку:

— Прочитайте заголовок и что подчеркнуто!

Вверху Алтайский прочел: «Протокол допроса обвиняемого Михайлова И. А.», а ниже: «... об отъезде советского вице-консула Свечникова я узнал через своего агента Алтайского...»

Выражение «своего агента» было подчеркнуто дважды.

«Вот они, те два слова, — причина отчужденного взгляда прокурора!» — пронеслось в голове Алтайского. Потрясенный, он вернул папку капитану.

— Это свидетельские показания живого Михайлова, — сказал капитан. — Мы успели схватить его. Могу вам еще сообщить, что Михайлов — резидент японской разведки.

Алтайский сидел, не шелохнувшись, — слова капитана были для него громом среди ясного неба. Мысль беспомощно билась: какая еще подлость скрывается в показаниях Михайлова, делающего «своего агента» из человека, презиравшего его всеми фибрами души? Какой в этом смысл? Может быть, это месть за то, что, зная аферу с Хваном, Алтайский не только убедился в его подлости, но и прого-

ворился Верейскому, будучи не в состоянии скрыть чувства. Нет, не то! Нельзя отомстить всем, кто знает, что Михайлов подлец...

— Знаете, Алтайский, по-моему, вы ищете себе оправдание, когда и так все ясно, — сказал капитан, успевший прочесть на лице Алтайского сначала смутнение, затем беспокойный бег мыслей и мечущееся раздумье.

— И вы верите правдивости показаний Михайлова обо мне?

— Это документ, и я обязан ему верить. Но должен и проверить! Сейчас я как раз и проверяю. Вы сами подтвердили факт выдачи вами Михайлову сведений о работнике советского консульства.

— Подтвердил, — согласился Алтайский. — Но надо, наверное, учитывать и все обстоятельства того или иного действия? Я полагаю, только с учетом всей совокупности фактов следует устанавливать степень виновности или невинности... Или вы просто не хотите мне верить?

— Вы в своем повествовании не жалели ни себя, ни Михайлова, поэтому я хочу вам верить. Но я могу признать за доказательство только документы либо показания, подтвержденные свидетелями, а вы ими не располагаете.

— Спросите Хвана, Шевелева, наконец, Верейского.

— Их показания существенного значения не имеют — они не присутствовали при ваших разговорах с Михайловым. Чем вы докажете, что не были его агентом и что весь наш разговор — не хорошая игра с вашей стороны.

— К сожалению, ничем! Как я могу доказать, если для вас подписанное слово дороже живого человека?! — резко сказал Алтайский. После короткой передышки он продолжил, чуть усмехаясь. — Я слышал, что в Советском Союзе каждый, имеющий несчастье быть заподозренным в чем-либо, связанном с политикой, перестает быть человеком с момента, когда он садится на стул против следователя. Теперь я убеждаюсь в этом на собственном опыте. Думаю, что вы и записываете только то, что против меня, остальное вас не интересует — оно, чего доброго, раскроет истину, собранные вами факты окажутся мыльными пузырями, сами дела дутыми... Главное, вы не верите людям, не верите, что они могут быть честными, поэтому и видите одну сторону...

— Это не так, — спокойно возразил капитан. — А все, что я записываю, вы прочтете и подпишете. Если с какой-то моей записью будете не согласны, мы занесем в дело и

этот факт. Итак, вы согласны с обвинением вас в шпионаже?

Алтайский дернулся на стуле:

— Нет, нет и еще раз нет!

— Вы нелогичны, Алтайский! — угрюмо сказал капитан.

— В чем? — изумился Алтайский. — Неужели мне объяснять все сначала, чтобы вы поняли неопровержимость логического вывода о том, что выполнение служебных обязанностей, запись в книгу среди бела дня — не шпионаж?

— Согласен, что запись в книгу — не шпионаж, а вот передача сведений дальше... А впрочем, мы с вами засиделись! Вы еще не очень здоровы — пойдете по домам? Но прежде прочтите и, если согласны с моими записями, подпишите протокол.

Тяпцев подал исписанные с обратной стороны куски топографических карт Алтайскому, который быстро пробежал текст глазами. Все, о чем он рассказывал, следовательно записал кратко, но верно. Алтайский подписал, как положено, каждый лист в отдельности и встал. От долгого сидения ноги отекли, он чувствовал в них тяжесть.

Поднялся и капитан. Он предложил Алтайскому папиросу и чуть улыбнулся. Пряча папиросу в карман — откровенно, про запас, — Алтайский улыбнулся тоже: он не мог и не хотел верить, что капитан всерьез намерен сделать из него шпиона. По натуре вспыльчивый, но и быстро отходчивый, Алтайский простодушно сказал, сам не чувствуя колкости своих слов:

— Кто по домам, а кто по грязным полам.

Капитан кивнул головой — потому что так оно и было, и едва ли он мог что-нибудь изменить...

## Глава 7. СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

По вечерам в бараках затапливали печи. Электроэнергии не хватало, поэтому ложились спать рано, приготовливая себе лежбище, засветло.

Старший барака делил еду, его помощники-дневальные таскали ее в баках из кухни, чем честно зарабатывали себе право на добавки из остатков. В бараках появились тряпки, березовые метлы, а посуды так и не было — по-прежнему ее заменяли банки из-под американских консервов. Радостным фактом было получение деревянных лакирован-

ных ложек, которые, наконец, заменили щепочки.

Укладывались по-прежнему на полу и так тесно, что на спинах лежать не разрешалось. Пройти ночью по малой нужде, не наступив кому-то на ноги или на руки, можно было только вдоль стен, однако все равно среди ночи то и дело слышались перебранки и ругань... Тот, кто укладывался ближе к печке, имел удовольствие посмотреть на живой огонь, бросавший багровые блики на лица, заставлявший плясать на стенах тени голов и плеч. Здесь, около печки, шли неторопливые разговоры, передавались новости дня. До тех пор, пока в печке горел огонь, мало кто спал.

Димка Стягин, известный всему Харбину сыщик особого отдела полиции, взяточник и негодяй, допускаявший много зверств при допросах своих же русских, был уже осужден советским военным трибуналом на 15 лет. В бараке этот приговор встретили с удовлетворением. Негодование вызвало сообщение о том, что Стягин приносил от следователя пачки папирос, белый хлеб, даже масло и колбасу — продажная шкура приспособлялась к таким же продажным шкурам, как он сам, — для таких, как он, лишь бы нашелся хозяин, учить их ходить на задних лапах не надо...

«Хозяин... — думал Алтайский. — Гнусно было бы сказать так про капитана Тяпцева. Ни продажной шкурой, ни хозяином-самодуром, покупающим чьи-то показания, капитан Тяпцев, похоже, не сможет быть. Он — исполнитель, орудие инструкции, повелевающей не судить, а осудить, но он честен в исполнении долга, как бы ни противна была ему самому эта инструкция, омертвляющая людей и его самого...»

Мысль о существовании этой инструкции Алтайский внушил себе после последнего разговора с капитаном. Знал, конечно, Алтайский и о советской Конституции, за которую, по его мнению, мог бы проголосовать каждый здравомыслящий человек. Но соблюдается ли Конституция, например, в части судопроизводства? Ведь существуют же «тройки», «особые совещания», для которых Конституция...

«Впрочем, надо будет в разговоре с капитаном упомянуть о конституционных правах. Интересно, что он скажет?» — решил Алтайский.

Потом в бараках стали известны два других приговора: 20 лет Позвонкову, служившему в японской жандарме-

рии, — полному, надменному и зверски жестокому к тем русским, которые попадали к нему, заподозренные в не-  
лояльности к «великому Ниппон»; 10 лет Кешке Сысоре-  
реву — надзирателю в харбинской тюрьме, который тоже  
вволю поизмывался над соотечественниками, обвиненными  
в спекуляции или непочтительности к японцам.

Приговор Позвонкову приветствовал весь барак, приго-  
вор Сысореву многие осудили — слишком мягко!

— Расстрелять надо было! — кипятился незнакомый  
Алтайскому невзрачный мужичонко. — Знаете, что он сде-  
лал одной женщине? Когда в сорок первом году японцы  
запретили торговать золотом, он все нюхал — не пахнет ли  
где золотишком. Надо же было одной бабе похвастать зо-  
лотыми зубами — вмиг оказалась в полицейском участке,  
где работал Кешкин приятель. Друзья погрели бабенку  
бамбуками по мягким местам, припугнули — она и скажи,  
у кого купила царскую пятерку... А пятерку ту продала ей  
другая женщина, беременная. Продала, потому что жрать  
было нечего, мужа ее на лесозаготовках убило. Пятерку  
эту покойный муж будущему младенцу «на зубок» купил,  
когда еще жениться собирался. Может, мужик-то убитый  
годами думал счастье свое увидеть в ребеночке... Кешка с  
приятелем и ее в кутузку да измываться по-всякому: гово-  
ри, где золото закопано! А женщина все свое твердит: одна  
у меня пятерка была, осталось еще только кольцо золотое,  
мужнее. Тут разозленный Кешка на живот ей и сел... Ни  
ребеночка, ни кольца — всего Кешка лишил и еще подпи-  
ску отобрал о неразглашении... Да женщина та скоро с го-  
ря зачахла, а перед смертью обо всем рассказала...

Барак гудел долго:

— Ничего! Попадет он, гад, к нам, уж не помилуем!

\* \* \*

Между тем встречи Алтайского с капитаном Тяпцевым  
стали регулярными. Серый «воронок» чуть ли не каждый  
день доставлял Юрия Федоровича к знакомому двухэтаж-  
ному зданию.

— В общем, Алтайский, как ни крутите, но у меня есть  
еще одно доказательство не в вашу пользу. С обвинением в  
шпионаже вам придется согласиться! — сказал Тяпцев при  
одной из таких встреч. — Михайлов показал, что однажды  
он дал вам 50 иен и вообще помог вашей семье, устроив  
вашего отца на работу в железнодорожную библиотеку.

Что вы на это скажете? Полсотни иен — ведь это же плата за оказанные вами услуги...

Благодушное настроение Алтайского мигом испарилось, мысль заработала четко, когда он почувствовал решимость капитана довести до победного конца порученное ему дело.

— Нет, никаких денег Михайлов мне не давал, — уверенно ответил Алтайский. — И в библиотеке мой отец никогда не работал, что очень легко проверить — ведь СМЕРШ сейчас есть и в Харбине... Правда, в то время зарплаты мне не хватало, у меня родился сын, а цены росли, деньги обесценивались...

Вдруг поток его мыслей оборвался. Алтайский снял очки, закрыл ладонью глаза, потер пальцами лоб...

— Пойдите! Деньги... — медленно сказал он и вдруг ахнул. — Капитан, я понял, за что мне мстит Михайлов!

— Это к делу не относится, — безразлично сказал капитан.

— Да как же не относится? — перебил Алтайский. — Вы понимаете, в то время я действительно нуждался. Верейский давал мне займы небольшие суммы, которые потом я отдал ему с лихвой. Может, это и были деньги Михайлова? Но честно говорю вам, я этого не знал. Михайлов может мстить мне вот за что... Однажды, когда я работал в туристбюро, ко мне обратился комендант советского консульства Шишаков. Обычно он подходил к левому углу прилавка билетной кассы, стараясь выбрать момент, когда никого не было поблизости, — тогда он мог говорить спокойно, не боясь быть подслушанным. Так было и в тот раз. Шишаков попросил меня достать билеты в одном купе для двоих дипкурьеров. «Если дипкурьер едет вниз — шпик над ним, если вверх — шпик под ним. Помогите избежать этого», — попросил Шишаков. Я посмотрел записи билетной кассы о проданных местах и увидел, что действительно в трех купе первого класса, выделенных нашей кассе, верхнее или нижнее места уже заняты — Танака, Хасимото, Хасегава.

Алтайский замолк на какое-то мгновение, собираясь с мыслями, потом продолжил:

— Тогда я позвонил на вокзал, где еще со времени работы сторожем у меня оставались друзья-китайцы, старые кавежедеки, хорошо говорившие по-русски. Я попросил их прямо в вокзале купить для меня две плацкарты в одном купе. Вот и все... Я взял деньги у Шишакова, в обеденный

перерыв съездил на вокзал и под вечер вручил ему билеты с местами в одном купе. В своем журнале я сделал запись, что выданы только билеты без плацкартов, то есть в общий вагон первого класса. Представьте себе недоумение и злость шпиков, когда, следуя по пятам за дипкурьерами, они вынуждены были остаться перед закрытой у их носа дверью парного купе! Так я делал несколько раз. Кстати, это тоже легко проверить — Шишаков, несомненно, подтвердит все рассказанное мною...

Алтайский замолчал и с горечью добавил:

— Но к этому оказались примешаны деньги... Дело в том, что Шишаков оставлял мне деньги для покупки билетов с небольшим запасом — оплачивал такси для поездки на вокзал и потом не брал сдачи. Я пытался подсовывать ему эту сдачу с просьбой передать в фонд Красной Армии, но неизменно встречал вежливую улыбку: спасибо, то, что вы делаете для нас, стоит дороже. Действительно, возможность оказаться в случае разоблачения с переломанным хребтом была для меня весьма реальной, я хорошо понимал рискованность своих действий... Вскоре я уволился и, как мне кажется, своевременно. Стал варить мыло, занялся парфюмерией. Зарабатывал хорошо, расплатился со всеми, кому обязан был хоть на грош...

— При чем же здесь месть Михайлова? — перебил капитан.

— Вы думаете, Михайлов так и не сообразил, кто рисовал ему дулю на дверях купе советских дипкурьеров? Просто он не успел уничтожить меня физически... Но ведь он Ванька-Каин, ему и вашей силы достаточно, чтобы уничтожить меня духовно — ему нужно, чтобы вы меня наказали, озлобили несправедливостью и сделали из меня потенциального врага своей Родины...

Капитан наблюдал за Алтайским: когда он волновался и случайно встряхивал наголо остриженной после болезни головой, очки сползали, Алтайский то и дело тыкал их пальцем, поправляя. Жест получался какой-то мальчишеский, а очки давно пора было списать в утиль...

При последних словах Алтайского капитан встрепенулся:

— Ну и язык же у вас! Только и мы это можем понять. Никто не собирается уничтожать вас ни физически, ни морально!

— Не знаю, — недоверчиво сказал Алтайский. — Разве вы не хотите сделать из меня преступника? Вот вы и сей-



час говорите одно, а я думаю другое: пожалел волк кобылу...

— Нет! — перебил капитан, чуть улыбнувшись. — Вы не кобыла, да и мы не волки! Могу вам сообщить, что мы посоветовались и решили не предавать вас суду военного трибунала, ввиду отсутствия достаточных оснований.

Алтайский широко раскрыл глаза, голова его дернулась, очки опять съехали на нос, но он и не думал их поправлять...

Капитан продолжил:

— Но дело в том, что вы человек все-таки по-своему опасный и у нас быстро заработаете пункт десятый — за пропаганду и агитацию уже среди коренных советских граждан, поэтому...

— Отпустите меня к семье? — с придыханием спросил Алтайский.

— Нет. Этого сделать мы тоже не можем. Вы будете плохим агитационным материалом о том, как здесь вас встретили...

— Значит, вы меня направите на работу? — с надеждой спросил Алтайский.

— На работу — да, но без общения с советскими людьми... Ведь и в этом случае вы будете плохим агитационным материалом о жизни за границей, а мы этого допустить не можем.

— Так как же? — беспомощно проговорил Алтайский. — К семье нельзя, на свободу — нельзя, куда же можно? Тут, мне кажется, никакой царь Соломон не в состоянии принять правильное решение.

— Вам придется поехать вглубь России, поработать там годика три — и тогда вы станете полноправным советским гражданином.

— Что же это? Тюрьма?

— Нет. Очевидно, это будет просто поселение только для таких, как вы, — для живших за границей.

— Но три года — это слишком много! Неужели вы допускаете, что я буду пропагандировать, агитировать вопреки здравому смыслу, после того, как мне скажут, что можно делать и что нельзя?

— Вы — может быть! Но, кроме вас, есть еще другие, кто не сразу это поймет. К тому же многое у нас вам может не понравиться, вам надо приглядеться, пообтесаться...

«Действительно соломоново решение... — усмехнулся про себя Алтайский, расставаясь с Тяпцевым. — А, впро-

чем, может быть, он прав? Значит, три года мужского монастыря и, наверное, собачьей жизни. Не слишком ли велика цена возвращения на Родину? Хотя вправе ли он в данном случае говорить о какой-то цене? Может ли быть цена, к примеру, у воздуха, без которого просто нельзя обойтись? Можно ли оценить кровное родство, родителей, которые могут быть хуже или лучше, но которые единственны и которых не выбирают?»

## Глава 8. ПРИБЫЛИ НА МЕСТО

Седой Урал...

Но его не видно — лес стоит стеной.

А снег-то какой — по такому не побегаешь! Сразу утнешь по пояс, если не глубже...

Воздух после дымного, пыльного, холодного и вонючего телячьего вагона — просто чудо! Но вот кобели, что взахлеб лают, хрипят от злости и удушья на поводках у конвоиров, норовят вцепиться кому-нибудь в зад, стоит лишь замешкаться, — совсем не нравятся...

Вот тебе и поселенцы! Если и поселенцы, то не вольные, не свободные — конвоируемые!

Алтайский, толкнув пальцем к переносице очки, с живым интересом оглядывался по сторонам. Вагон, в котором он ехал, был разгружен одним из первых. Куча народа на обочине железнодорожного полотна, в которой он теперь стоял, все возрастала. Она как бы набухала, впитывая в себя новые и новые порции людей, выходящих на волю под аккомпанемент специфического грохота откатываемых вагонных дверей, звонкий мат конвоя и глухую, как бы сдавленную, полузадушенную ругань самих поселенцев, неистовый лай и хрипы рвущихся с поводков служебных собак...

Алтайский вглядывался в лица людей, с которыми ему теперь предстояло жить, и никак не мог отличить одно от другого... Перед ним колыхалась сплошная серая масса. Хотя, если поправить очки и приглядеться попристальней, можно понять, что собрались в этой толпе представители самых разных народов — русские, китайцы, украинцы, японцы, татары, корейцы, узбеки, грузины, прибалтийцы... Только вот чудеса: нации разные, а цвет у всех един — серый.

«Не зримое ли это воплощение понятия «серая мас-

са»? — невольно подумал Алтайский. — В самом деле, что издревле видел народ российский? Дороги с толпами бредущих каторжан в серых одеяниях; ход гужом переселенцев-пионеров, тоже посеревших от пыли и жгучих солнечных лучей; бесконечные ленты тянувшихся на защиту отечества воинов в серых шинелях; наконец, эта вот этапно-вагонная серая масса — разве все это не подтверждает овеществления абстрактного понятия? Да что это я?.. К черту умствования!»

Алтайский хотел наклониться, чтобы подвязать болтающийся шнурок на меховых ботинках, которыми его снабдил на прощание сержант Алеша. Помешало присланное из дома длиннополое драповое пальто с воротником из шкуры кенгуру — пальто, которое спасло его от холода в этапе. Алтайский снял варежки, засунул их в карманы, расстегнул пальто; лишь после этого ему удалось подвязать шнурок. У ног Алтайского стоял брезентовый мешок с костюмом, плащ-палаткой, еще одними, запасными, ботинками и с другими вещами, о возможностях применения которых он еще и не задумывался.

Впрочем, в этапе содержимое мешка однажды уже пригодилось, послужило оно и поводом для выяснения отношений. А было это так.

На одной из остановок к вагону подошел парнишка с мешком самосада, после коротких переговоров с Алтайским он подбросил ему стакан своего товара, жить без которого дальше было уже нельзя, в обмен на теплые кожаные перчатки на меху. Следом за Алтайским парнишке начали протягивать шарфы, носки, даже ботинки — у кого что было лишнее — другие этапники.

Знакомый Алтайского Туфман, в прошлом владелец типографии и коммерсант, невозмутимо сидел на двух своих мешках, набитых разным добром.

— Теперь покурим! — радостно сказал он, потирая руки, когда Алтайский развернул тряпочку с табаком. — У меня и бумажка есть!

У Алтайского бумаги не было вообще. Давно ушли на раскурки адрес сержанта Алеши, записка из дома, обнаруженная в складках присланных вещей, и даже бумажная подкладка японской шапки, полученной перед этапом. А у Туфмана оказалась настоящая папиросная бумага, в которую он заворачивал легкий табак до тех пор, пока он у него был.

Закурили.

— Евгений Самойлович! — спросил Алтайский. — А почему бы вам тоже не обменять на табак какую-нибудь вещьцу?

— Что вы! — повел плечами Туфман. — Разве можно менять на такой дрянной табак хорошие добротные вещи?

— Вы полагаете, что замшевые перчатки на меху, которые я обменял на стакан махорки, были плохой вещью? — вспыхивая, спросил Алтайский.

— Вы хотите этим сказать, — медленно выговорил Туфман, — что жалете для меня щепотку махорки?

— Может быть, — ответил Алтайский, успокаиваясь.

— Ну, знаете, вы меня удивили, — сказал Туфман. — Вы, очевидно, забыли о советском коллективизме. Здесь полагается так: достал что-то — поделись с товарищем. Пропавший вы человек, если не поймете этого...

— В коллективе полагается делиться с товарищами, а не с куркулями! — снова вспыхнул Алтайский.

Наладившееся было знакомство расстроилось. Туфман не был этим удручен — до конца этапа он просидел на своих мешках, потихоньку доставая из-за пазухи и меняя на табак папиросные бумажки. То и дело не без умысла громко Туфман начинал разглагольствовать о благородных чувствах товарищества и о некоторых совсем пропавших людях, которые их не понимают... Однако сам он следовал другом принципу: я тебе бумажку — ты мне табачку.

Дождаясь, пока закончится разгрузка эшелона, Алтайский вспоминал товарищей, с которыми пришлось расстаться по дороге. Где сейчас, например, Лаппо-Старженецкий, которого сняли с поезда из-за болезни? Высокий, представительный, строгий, он стоял рядом с Алтайским возле узкого оконца закрытого телячьего вагона, когда поезд громыхал по мосту через Амур. Стоял и пересчитывал все двадцать восемь его пролетов — чудо дорожной техники дореволюционной России.

Разговор при этом прервался. Алтайский знал, что Лаппо-Старженецкий — старый инженер-мостостроитель и, кажется, большой авторитет в своем деле.

Поезд резко стучал на стыках рельс, гулкое эхо усиливало грохот вагонов. По строгому, изборожденному морщинами лицу Лаппо-Старженецкого вдруг скользнула неожиданная слеза. Алтайский смутился, отвел глаза.

— Знаете, — услышал он сдавленный шепот над самым ухом, — если бы я знал, что на старости лет мне придется

ехать по этому любимому детищу, в котором известна каждая заклепка, в таком положении, как сейчас, — я бы взорвал его в зародыше!

Лаппо-Старженецкий пошел к нарам и лег, уткнувшись лицом в покрытую инеем стенку. Где-то около Биробиджана его сняли с поезда — он был совсем больной...

Где сейчас другие отставшие товарищи? Увидят ли они эту задумчивую красоту северного зимнего леса?

Солнце только что скрылось, небо еще радостно играло непередаваемо нежными мягкими красками. На востоке небосвод начал слегка синеть, в вышине над головой висела тончайшая голубизна, переходящая в лазурь и зелень. Ближе к западу к зелени подмешивалась желтизна, она разливалась, отсвечивала золотом, накалялась оранжевыми отблесками огня, которые становились сильнее и ярче по мере продвижения к западу, — туда, где за четкими зубцами вершин близкого леса угадывалось под багровыми всполохами уходящее на отдых дневное светило.

На душе Алтайского было и грустно и радостно. Грустно от осознания своего невеселого положения, радостно от общения с родной северной природой, по которой много лет тосковало сердце...

## Глава 9. НА ЛЕСОПОВАЛЕ

— Береги-и-сь!

— ...ись! ...ись! — гулко вторило эхо человеческим голосам.

Лес стонал. Тут и там валились лесные великаны, с треском ломая сучья соседних деревьев, разрывая белые одежды земли, вздымая тучи снежной пыли.

С шумным гудом горели костры, словно кто-то большой и могучий раздувал пламя; багровые языки вздымались чуть ли не до самых вершин; жар костров лизал снег — он таял, вода тоненькими струйками бежала к бушующему огню, но, не в силах совладать с ним, замедляла бег и испарялась. Под кострами быстро поддавалась толща снега, палящий огонь выжигал кратеры до самой земли, на дне их появлялись густые космы зеленой травы, сразу же черневшие, как сама земля. От стелющегося дыма синели недвижные морозные дали...

Алтайский напряженно работал. Он любил лес, ему было жалко вонзять острое жало лучка в чистые стволы бе-

рез, елей, сосен и лиственниц, но требовалось успеть до обеда свалить, обрубить, сжечь сучья, раскряжевать и раскатать два фестметра «спичек» — значит, около двадцатью этих красивых деревьев, а готовы были пока лишь четырнадцать.

К тому же Алтайский плохо видел — очки раздавили, когда он, замешкавшись еще при входе в барак, попытался протереть заиндевевшие стекла и уронил их, подтолкнутый чьим-то неловким плечом.

Невеселые, злые мысли витали в голове Алтайского:

«Проклятый лес! Особенно эти сучкастые елки — фестметров нет, работы не видно, а сучьев горы. Только обрубить и перетаскать их к костру — сколько надо времени и сил! И этот пушистый снег: хорошо на него смотреть и умиляться первозданной белизне, а вот попробуй-ка утоптать его, когда он глубиной по грудь, сделать дорожки к костру, обкопать и отбросить его от каждого корня, чтобы затем свалить дерево, обрубить сучья, раскряжевать и вытащить сваленную лесину, когда она ухнет в этот снег, как в пух...»

Тряпичные варежки рвутся, как их ни береги. А новые чертов каптер даст еще не скоро, ведь никакими нормами невозможно учесть миллионы колючих сучков, которые нужно хватать без разбора и тащить рысью, чтобы успеть дать норму...

А искры от костра... Красиво смотрится, когда они взмывают вверх, к самым вершинам столетних деревьев. Но вот они начинают медленно опускаться обратно на землю — и уж тут следы в оба: не успеешь оглянуться, как завоняешь паленым! Ватные телогрейка и штаны и так двадцать пятого срока, а когда они во многих местах прострелены этими искрами — будьте уверены, подранный собаками лучше выглядит...

В конце концов, черт с ней, с этой одеждой, — шкура продубится, будет выносливей да и заменит когда-нибудь одежду. Хуже другое — ты чувствуешь, как безразличие ко всему окружающему все полнее охватывает душу, как душа твоя покидает измученное тело... Ты сам съел ее наполовину, брюхо твое съело... Да, да, съело и продолжает есть, но все равно — сил уже нет и не в чем держаться душе — кожа и кости. И продавать или менять — нечего, вещей тоже уже нет, давно кончились...

Можно ли жить и работать только на то, что дает этот начальник — окаянный лейтенант Борисов? По утрам

можно: четыреста граммов хлеба и баланда-брюхогрейка — горячая, чуть мутная вода с плавающими в ней следами ржавых соленых окуньков и карасиков, с двумя-тремя неочищенными морожеными картофелинами, с невесть откуда попавшей гороховой шелухой. Днем — производственный обед: ячневая каша без следов жира и без хлеба, но ее заработать надо, дашь два фестметра до обеда — получай, не дашь — погляди, как обедают те, кто дал... Вечером: если дал четыре фестметра за день, можно получить еще четыреста пятьдесят граммов хлеба, ячневую кашу да все ту же баланду с окуньками и карасиками. Не сумел дать норму — получи только 50 граммов хлеба с теми же причиндалами. А разве что-нибудь останется в брюхе, если не съешь хлеба? Воду можно пить от пуза, не ограничивают, но хорошего в этом мало — может случиться так, как случилось с Димкой Устьяновым. Каждое утро он раскрашивал пайку в котелок воды, съедал и хвастался, что сыт, потом вдруг в одночасье опух как бревно, глаз не стало видно, и вскоре загнулся. А говорят еще, что ведро воды заменяет сто граммов сливочного масла!

Начальничек и сахар выдает: раз в месяц зайдет комендант из заключенных-бытовиков, проорет, чтобы таскали ведро кипятку, бухнет туда две кружки сахару, размешает, скажет, что это месячный паек на бригаду в сорок человек, и уйдет — вот и пей по глотку сладковатой водички раз в месяц, поправляйся и вкус сахара не забывай...

Вообще-то хлеб можно купить — и на деньги и на шмутки, но первых и раньше не было, а вторых уже нет. Суконный китель Алтайский продал удачно — две недели лесной мастер Перевалкин отдавал по вечерам в столовой свой паек: чуть не по котелку баланды и по полкотелка ячневой каши, два раза даже с растительным маслом. А вот пальто из польского драпа с воротником из меха кенгуру, наверное, продешевил — отдал всего за 12 стаканов махорки... Впрочем, черт с ним! Как почувствуешь, что уже дошел, что вот-вот начнешь погибаться, так и за стакан последнюю одежду отдашь. А ведь тут удалось совершить двойной обмен: сначала получить за пальто 12 стаканов махры, потом 8 стаканов отдать за такое же количество паек хлеба — был почти сыт, почитай, больше недели...

Одни отдают последнюю рубаху, чтобы поддержать хоть немного истощенный постоянным недоеданием и непосильной работой организм, другие хотят разжиться на этой «коммерции». Вот дневального Клестова бы потрясти!

Спрашивается, на кой черт ему столько шмуток? А он все меняет и меняет их на свой пайковый хлеб, продает потом шмутки каким-то бродячим спекулянтам и складывает деньги под пояс... Неужели у дневальных такой блат с поварами на кухне, что они сыты и без хлебной пайки? Нет, не похоже — Клестов такой доходной, такой дохлый, что двух ведер с водой не может донести до барака, носит их по одному, да и глаз у него не видно — провалились в ямы... А зачем тогда хлеб отдает? Неужто до такой степени жадность его обуяла?..

— Падло! Что ж ты делаешь? — вдруг раздался голос над самым ухом Алтайского, прервав его размышления.

По голосу узнав бригадира Валеева, Алтайский взглянул на рез, оставленный лучком на стволе дерева: рез шел, не опускаясь к подрубу, как полагалось, чтобы лесина упала в заданном направлении, а не горизонтально. И лесина была почти перерезана — исправлять поздно.

Раздался треск — недопиленные волокна лопнули, ствол закрутился на пне, словно раздумывая, куда упасть, вздрогнул, качнулся и пошел к земле в направлении, обратном подрубу...

— Берегись! — заорал Алтайский, как того требовала инструкция, затем быстро выдернул лучок и отскочил от комля.

Лесина ухнула в снег, закрылась им будто саваном, комель подпрыгнул и закачался над вырытой в снегу ямой возле пня.

— Ты знаешь, гадюка, что людей мог бы побить? — прошипел Валеев, намекая на себя.

— А ты разве человек? — чуть не спросил Алтайский, но вовремя спохватился. В общем-то он не желал бригадиру ничего плохого, хотя бригадир, как он чувствовал, относился к нему иначе.

Что бригадир тупоумен и жесток, Алтайский давно убедился на собственной шкуре. У него всегда есть сахар и хлеб — значит, замешан в махинациях. Но одно дело — предполагать, чувствовать, другое — точно знать. Известно, что он недоучка и пьяница в прошлом, что в свое время мотался на лесозаготовках вдоль восточной линии КВЖД. По каким-то причинам люто ненавидит людей с образованием. Алтайский убеждался в этом чуть ли не каждый день: бригадир находил предлоги для занаряживания его вне всякой очереди на разные работы вечером, когда всем полагался отдых; гонял его по лесосеке за лошадь-



ми в обеденный перерыв, не снижая нормы; часто лишал обеда.

— Не думаешь, гад? — опять зашипел Валеев, втягивая голову в плечи и широко расставляя ноги в новых валенках. — Хоть бы ты скорей подох, что ли, анжинер!

Алтайский стоял молча, почти повернувшись к Валееву спиной.

Валеев засуетился, схватил здоровый сухой сук и, шуря свинячьими, острыми, как ножи, глазами, двинулся на Алтайского...

Юрий вовремя оглянулся. Он увидел приближающегося с суком Валеева — перенесенные обиды подсказали решение. В следующее мгновение Алтайский отскочил к пню, схватил топор и, пригнувшись, с ненавистью уставился на Валеева. Скорее прорычал, захлебываясь, как пес на цепи, чем сказал:

— Уйди по-хорошему, бригадир!

Валеев остановился. Отпора от «доходяги» он не ожидал; на побледневшем, как мел, лице Алтайского было написано столько обреченности и решимости, что еще один шаг вперед мог оказаться для бригадира роковым...

Валеев попятился, бросил сук, прошипел злобно: «У-у-у...»

Кошачьими движениями он сделал еще несколько шагов назад, в отдалении от Алтайского остановился, снял шапку, отряхнул от снега валенки и пошел по тропинке, как ни в чем не бывало, на соседнюю делянку, где работало звено Крюкова, тоже инженера.

Алтайский без сил сел на снег, его трясла дрожь...

Но сидеть было некогда, работа не ждала. Может, он еще успеет до обеда заготовить шесть лесин, чтобы получить свою порцию каши? В конце концов, наплевать, что все меньше и меньше сил остается в грешном теле, что пайка явно не возмещает расходов организма. Если есть хоть малейший шанс на какие-нибудь крохи — пользуйся этим шансом, ни с чем не считаясь, иначе придется оставить последнюю надежду на то, что когда-нибудь будет лучше...

Он бросился в снег, разгребая руками и валенками поваленную лесину, начал обрубать сучья — чистота обрубки тоже имела значение... Ему стало жарко. Алтайский сбросил гревшие только тыльную сторону кистей рук варежки и вдруг услышал шум на соседней делянке.

Взглянув туда, он увидел сквозь заросли молодого ель-

ника, как Валеев принялся со всего маху пинать Крюкова, а тот, попытавшись увернуться, шагнул с расчищенной площадки в глубокий снег, но оступился и упал. Барахтаясь в снегу, Крюков пытался подняться, а Валеев все пинал и пинал его, не давая встать на ноги, пока Крюков не скатился в какую-то яму, засыпанную снегом так, что ее не было видно.

— Ха, ха, ха, — довольно ржал Валеев, — научу я тебя родину любить!..

Что промямлил в ответ Крюков, не было слышно.

Неожиданно Валеев оставил Крюкова, повернулся к нему спиной:

— Эй ты! Там!..

Алтайский, щурясь и моргая, пытался и не мог разглядеть, к кому обращается Валеев, как вдруг около него упала палка, брошенная бригадиром.

— Эй, ты!.. — услышал он снова голос Валеева, кипевший злобой. — Так-то ты работаешь?.. Не вздумай идти на обед, сучками пообедай, силы больно много...

Сомнений быть не могло — слова относились к нему. «Ну и черт с ним, с обедом! — зло подумал Алтайский. — Хотя еще не все потеряно, надо заработать хлеб к вечеру...»

В обеденный перерыв, к концу раздачи, он подошел к кухне — котлу, висевшему на треноге над потухшим костром, надеясь у кого-нибудь «стрельнуть» покурить. Но обед кончился, Юрий Федорович увидел лишь спины рабочих, бредущих к делянкам.

Около котла, растопырив ноги, сидел на охапке еловых веток бесконвойный мастер Перевалкин, заключенный-бытовик. Это ему Алтайский «продал» китель с брюками за двухнедельную кормежку. Рядом устроился Валеев. Около них суетился повар, выгребая остатки каши из котла. Алтайский заметил, что каши было много, повар обильно сбобрал ее растительным маслом, потом вытащил еще какую-то большую рыбу — вот почему «ряжка» у Валеева не была доходной!

Алтайский вернулся на делянку, с остервенением начал откапывать от снега и безжалостно валить лесины. Работа начала спориться: попавшаяся кучка высоких, чистых от сучьев почти до самых вершин сосенок быстро нагнала кубатуру до трех фестметров, вершины их точно ложились к костру — обрубать немногочисленные сучья и жечь их было легко.

По подсчетам Алтайского, до нормы оставалось свалить пять-шесть штук, но неожиданно «кубатурные» сосенки кончились, делянка начала опускаться вниз. Как он ни приглядывался, ничего, кроме стройных, но сучковатых елей, так и не увидел.

Какие же в этих деревьях фестметры, сколько их надо свалить? Впрочем, раздумывать некогда, надо скорей оккупывать снег — солнце явно клонится к западу!

Как из-под земли, на тропинке опять появился Валеев. Хотя после обеда прошло уже часа два, он громко и удовлетворенно рыгнул несколько раз. Рыгнул не без умысла: дескать, смотрите и слушайте, как едят те, кто хорошо работает.

Алтайский продолжал работать, не поворачиваясь к бригадиру. Топор был под рукой...

Валеев постоял, посмотрел, однако придраться было не к чему — делянка была уже обжитой, тропинки — широкими и утоптанными, завалов сучьев не видно, костер горит весело... Валеев повернулся, еще раз рыгнул, а через минуту-другую уже разносил звено Крюкова выражениями, которые, наверное, и он сам не смог бы переварить. Смысл был ясен: нормы не дадут, а обед, падлы, съели!

Под лучком Алтайского дрогнула третья высокая пушистая елка. Без треска ломаемых сучьев, не задев соседей, она мягко упала рядом с костром и осталась лежать, чуть дрожа. Ветви обрубались легко — их было хорошо видно, и голый ствол позади Алтайского постепенно погрузился в снег. Он дошел до конца, обрубил вершину и остановился, пораженный...

Алтайский видел много елок в зимнем нетронутым уборе с отдельными смолевыми остренькими шишками, но эта вершинка была так густо обвешана ими, что казалась празднично украшенной. В глубине ветвей серебрился натуральный естественный снег...

Алтайский поднял вершинку; он вспомнил, что в этом году не видел праздничную елку, поэтому воткнул вершинку в снег недалеко от костра. Отблески огня заиграли в ветвях, таинственно замерцали в их глубине, отражаясь от подтаивающих в жаре костра кристалликов льда. Мысль Алтайского унеслась далеко-далеко: «Была ли у тебя в этом году новогодняя елка, сынок?»

Вершина елки чуть трепетала, расправляя ветви от тепла близкого, но не опасного огня... Вот с поверхности льдистого снега сорвалась первая капелька — точь-в-точь как

дома, когда елка оттаивала после мороза в ожидании украшений. А эта уже украшена — в самом деле, что может быть красивее этих естественных смолевых шишечек — щедрого дара родной северной природы? Пусть эта елочка, русская елочка, выросшая на русской земле, будет мысленным даром тому, кто далеко в чужих краях, — получай ее, сынок!

\* \* \*

Когда через час пришел приемщик леса, он принял 3.96 фестметра — всего четыре сотки не хватило до нормы. А елка плакала: капли растаявшего снега висели на каждой веточке, обращенной к огню, тяжело и грустно падали вниз...

Раздался удар в рельсу, возвестивший сбор рабочих с делянок. Алтайский еще раз взглянул на елку и снова вспомнил о доме... Да, о доме! Ведь он не бродяга, не босяк, у него есть семья и дом. Он рабочий, а не заключенный, он участвует своим трудом в пятилетке восстановления и развития народного хозяйства вместе со всем народом.

Но почему так мало радости от его труда ему самому, почему его изнурительный, нечеловеческий труд так низко ценится — он не может заработать даже себе на прокорм, несмотря на все старания?

Что толку, что над ним нет конвоя, когда заключенный Перевалкин живет много лучше и распоряжается ими, свободными людьми? Вот и сегодня утром, когда шли на лесосеку, он скомандовал идти вместо тропинки по целине снега, выпавшего за ночь на четверть, и люди пошли... Пошли, чтобы не устали лошади с трелевочными санками, которые плелись сзади, — лошадям возить лес, а до лесосеки семь километров, и люди прокладывали для них дорогу. Перевалкин решал так каждый раз — он считал, что работа лошадей тяжелей и от них больше проку, чем от людей: дерево само упадет, только подруби...

Алтайский подумал, что мысли тоже отнимают силы, постарался перестать думать. Но разве можно заставить себя остановить бег мыслей?

В наступивших сумерках снег был серым. Острые вершины елей с отяжелевшими от снега нижними ветвями казались черными крестами над белыми могилами. Четко выделяясь на закатном фоне или прячась в сумеречную

чащу, эти кресты властно манили под свою сень. Выбившись из сил, люди тащили на самодельных носилках товарищей, которые уже не могли идти сами. Иногда люди со-скакивали с носилок, чтобы тут же упасть...

Но никто не поднимал головы, все смотрели под ноги, и никому не было дела до ярких закатных красок, которые напрасно рассыпала по небосводу природа.

## Глава 10. ЖАЖДА ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Тигень — так названо поселение по имени петляющей по тайге речки. Его зовут еще хозяйством лейтенанта Борисова. Но какое бы наименование ни употреблялось в обиходе, это не меняет сути дела: живут они не в поселке, а в самой настоящей тюремной зоне.

Зона, обнесенная забором и рядами колючей проволоки с вышками по углам для часовых, — прибежище тех, кто вернулся на Родину и теперь проходил «филтрацию». На десятки километров вокруг — ни души. Тайга, тайга, тайга...

За зоной инструменталка, два-три домика обслуги, склад. К самой зоне подходит узкоколейка, по которой вывозят лес к станции железной дороги. Усы узкоколейки прощупывают лесосеки: словно щупальцы осьминога, они высасывают древесину.

Лесу много, людей и лошадей меньше. Техника совсем слаба: лучок, ручная пила или «баян», топоры подрубочный и плотничий, трелевочные сани.

Лес зажал зону со всех сторон. Темный и мрачный, он повис над высоким освещенным забором и ярами колючки, как бы высматривая добычу в темноте наступившей ночи: вот тянутся из бараков тени к столовой, за окнами которой видны мерцающие коптилки; слышен рев коменданта, выгоняющего очередную усталую бригаду на санобработку горячей водой без мыла; кряхтят дневальные под ношей мокрых валенок по дороге к утопленной в земле сушилке; нагруженные грязным потным бельем, бредут к «прожарке» банщики; плотным молчаливым кольцом людей окружена санчасть, каждый надеется, а вдруг его признают больным, можно будет отдохнуть хоть день...

В бараках тишина и темь, горят лучины, керосиновые коптилки. Лишь из барака, где живут десятники и мастера из заключенных-уголовников, пробивается электрический

свет, кажущийся ярко-белым рядом с мерцающими красным пламенем лучинами и коптилками. Люди, лежа в чем пришли, с нетерпением ждут вывода в столовую. Вот скрипнула входная дверь, слышатся шаги в сенцах... Нет, это дневальный из чужого барака пришел навестить соседа.

Переговариваются они шепотом, но последние слова четко слышны:

— Три часа, как отдал концы... — шепчет пришедший.

— Кто отдал концы? — резко рвет тишину чей-то грубый голос, владелец которого, очевидно, решил отвлечься от мыслей об ужине.

Дневальный барака прокашливается — он знает, что будут слушать все, и громко говорит:

— Клестов отдал концы, дневальный барака двенадцатой бригады.

— А с чего? — равнодушно спрашивает тот же грубый голос.

— Не знаю, — уклончиво отвечает дневальный, — говорят, он пайки продавал, на вещи менял...

— Чего там — не знаю! Кто из нас у него пайки не покупал да на шмутки не менял?!

— Все меняли! — раздается снова грубый голос. — Ты толком скажи, как он отдал концы?

О, это уже интересно для всех! Ведь то, что произошло сегодня с Клестовым, завтра может случиться с любым другим.

Дневальный, снова прокашлявшись, в настороженной тишине начинает рассказ:

— Повар ему, конечно, баланды да каши подбрасывал, иначе как можно пайку отдавать? Да, видно, перестарался Клестов... Хлеба он ел совсем мало, все больше с водой. Так вот, три дня назад его понесло, а вчерась закупорило... Сегодня утром, как бригада ушла, Клестов опять лег — еще темно было. Когда засветлело, комендант дрыном поднял его с нар. Уж на что комендант собака, а как поглядел на Клестова — испугался: тот опух весь, как бревно, едва ворочается... Глаза как щелки. Он их руками открывает, плачет, а подняться сам не может... Ну, мы его в санчасть отнесли...

Алтайский лежал, слушал рассказ дневального и думал о том, что и он частично виноват в смерти Клестова. Не отдай он ему вещи в обмен за пайку — может, и сейчас жил бы Клестов. Но, с другой стороны, если бы он, Алтайский, не взял эту пайку — ее взял бы кто-то другой. Ведь

Клестов сам очень хотел с ней расстаться, чтобы нажиться на голоде и несчастье других. Вот и нажился... Клестов был богатым человеком — он знал силу и могущество денег там, за границей, потому и цеплялся за каждый рубль: с привычкой, вошедшей в плоть и кровь чуть ли не с молоком матери, трудно расстаться!

Так кто же виноват больше всех?

Алтайский настолько ушел в свои думы, что перестал слышать, что говорил дневальный. Он очнулся, когда тот уже заканчивал рассказ:

— Когда, значит, его раздели, комендант обыскал вещи: в поясе было тысяча триста семьдесят рублей, в шапке — еще триста, в узлах — шесть костюмов на разный рост, три шубы, а белья, ботинок — и не перечесть!

Скрипнула дверь, чей-то голос пропел в темноту барака:

— Седьмая-а-а! На у-у-ужин!

Барак зашевелился, затопали десятки ног, вскочил и Алтайский.

Кусочек хлеба, который ему выдали, весил пятьдесят граммов. Как же жить завтра — потянут ли ноги? Впрочем, думать — значит попусту терять силы, лучше лечь спать, отдохнуть, а завтра будет видно.

Алтайский не видел лиц сидящих. Не только потому, что без очков подводило зрение, — керосиновые коптилки тускло чадили лишь у входа в столовую и около раздаточного окна. Толкаясь в полумраке со встречными, он пробирался к выходной двери.

В нее только что вошел Валеев. Остановившись под светом коптилки, он прищуривал маленькие глазки. Валеев тотчас заметил Алтайского, и по лицу его растеклось презрение.

— Нажрался? — издевательски спросил он, хватая за полу рваную телогрейку Алтайского.

Алтайский вздрогнул и поднял глаза: половина лица Валеева, освещенная красным пламенем коптилки, казалась застывшей маской с презрительным оскалом и черной ямой вместо глаза, другая сторона лица сливалась с окружающим мраком.

— Опять, гад, думаешь? — зашипел Валеев. — Осел думал, думал, да и сдох... Иди в барак к Перевалкину!

Алтайский молчал.

— Иди, падло, тебе говорят! — снова зашипела маска Валеева, дергая Алтайского за рукав и толкая в дверь.

Алтайский побрел к бараку бесконвойников. Интересно, зачем он нужен Перевалкину. Кителю больше нет, менять на баланду нечего. Неужели Перевалкин хочет поставить его учетчиком? Или его ждет какой-нибудь подвох, подстроенный Валеевым?

В бараке мастеров пусто, чуть подмигивает электрическая лампа, светло, свободно — нет и намека на тесноту, закрыты постелями только нижние этажи нар, видны хорошие одеяла, даже простыни.

— Сюда, сюда! — услышал Алтайский окрик из дальнего угла, пошел на голос и увидел сидящего на нарах Перевалкина.

— Очки тебе надо, парень! — снисходительно сказал Перевалкин — черный юркий человечек среднего роста с колючими глазами. — Садись! Закуривай!

Он пододвинул к Алтайскому лежавший на тумбочке между нар кисет, из которого торчала нарезанная аккуратными лоскутами газетная бумага.

Алтайский, не теряя времени, скрутил толстую завертушку и пошел к печке прикуривать. Возвращаясь обратно, он увидел стоявшее на тумбочке зеркало, подошел к нему и взглянул на свое изображение: ободранный, неумытый, с грязными потеками костровой сажи на лице, с провалившимися щеками и глазами...

— Доходишь? — неторопливо спросил Перевалкин. — Ну и дурак.

У Алтайского закружилась голова, и он присел на нары — табак был слишком крепок и ядрен.

— Ну вот, что ты теперь? — продолжил Перевалкин. — Доходяга и дурак того больше! А ведь можно жить если не припеваючи, то хотя бы сносно, — и доверительно добавил: — Подумай сам. Шмуток у вашего народа до фига, и монета есть. Ты шопни, я тебе скажу, кому подкинуть, монету мне принесешь, а я тебе все, что надо, добуду!

Алтайский похолодел — он начал понимать: Перевалкин хочет использовать его в своих темных целях перед тем, как он отдаст концы, чтобы потом свалить всю вину на мертвеца. А может, действительно хочет помочь «воскреснуть», но опять не безвозмездно: поможет — значит, сделает его своим человеком, вором.

— Шопни? Значит, укради у товарищей? — догадываясь о значении нового слова, переспросил Алтайский.

— Да какие они тебе товарищи? — наклоняясь, убедительно зашептал Перевалкин. — Серый волк им товарищ!



Подохни они сегодня, а ты завтра! Чуешь? И пусть дохнут — ты о себе думай!

— Нет! Так дело не пойдет! — собрав все мужество, сказал Алтайский, сощипывая огонек у закрутки и пряча толстый «бычок» в еще целый наружный карман штанов. — Не могу я и не умею!

Перевалкин выпрямился, зло сверкая колючими глазами, достал из голенища валенка хищной формы нож с трипичной рукояткой.

— Ну, так слушай, мужик! — веско сказал он, играя ножом. — Гробануть тебя мне запросто, что дать закурить. Мой счет будет на одного больше и только! Ни один следователь не подкопается: ты полез на Валеева с топором, а я тебя тюкнул. Да никто и разбираться не станет, лейтенант Борисов тебя без долгих разговоров спишет — ему Валеев нужен, а не ты! Понял, падло? — Перевалкин привстал. — А теперь пойдешь и принесешь японские ботинки дневальному четвертого барака, скажешь: от Перевалкина. Он тебе покажет, кому их продать, получишь сто десять рублей и принесешь мне через час. Поймешь — расчет сегодня, не поймешь — завтра на лесосеке. Иди!

Перевалкин резко рванулся к Алтайскому, неуловимо быстрым движением поднял куцую полу рваной телогрейки — и в то же мгновение Алтайский почувствовал большой укол в бок...

Еще секунду назад он думал о том, как отвесить Перевалкину снизу фауль — запрещенный правилами бокса удар в живот. Молниеносный ход ножа заставил почувствовать, насколько он слаб, вял, медлителен и бессилён, насколько реальна угроза.

Удар ножом сломил волю Алтайского. Он поднялся с нар, держась рукой за бок.

— Ну, коли совсем... — выговорил он медленно, храбрясь и теряясь, не зная, что сказать, поднимая рубашку и рассматривая ранку, из которой показалась скупая капля крови.

— Иди! Пока по-хорошему тебе говорят! — бешено зашипел Перевалкин, окончательно зверея при виде чужой крови.

Алтайский метнулся к выходу, в страхе забыв на нарах шапку. Что он делал дальше, почти не сознавал. «Подохни они сегодня, а ты завтра... Серый волк им товарищ...» — бессмысленно крутились в голове фразы Перевалкина. Он зашел в пустой барак (люди из столовой еще

не вернулись). Выбрал ботинки, спрятал их под полы телогрейки, вышел, никого не встретив, нашел четвертый барак, спросил дневального, и тот позвал покупателя — Колю Астафьева...

Коля Астафьев — знакомый с детства, милый и добрый Коля, который два дня назад продал костюм, чтобы купить себе дополнительный паек и ботинки.

Алтайский со страхом ожидал вопросов.

Астафьев примерил ботинки. Они оказались чуть велики, но это даже к лучшему — можно носить с портянками. Коля молча заплатил деньги и, на секунду отвернувшись, удивленно взглянул на то место, где только что стоял Алтайский — его как ветром сдуло!

Через минуту-другую, будучи словно в тумане, Алтайский поспешно отдал деньги Перевалкину.

— Лады! — удовлетворенно сказал Перевалкин, пряча сотню куда-то под пояс.

— На, покури! — достал он горсть табаку из бездонного кармана штанов, пересыпал его в карман отодвигавшегося Алтайского, который глядел на Перевалкина с мистическим ужасом. А Перевалкин, не обращая на Алтайского внимания, поглядел куда-то в сторону и нехотя снова полез под пояс. Достал красную тридцатку, добавил ее к десятке, оставшейся от принесенных денег.

— На, возьми, поешь! — деловито сказал он. — Жратвы у меня сейчас нет... Учти, тебя будут бить. Если скажешь про меня, тебя гробанут «перышком», которое видел... Утром приходи в столовую — подхарчишься, на обед тоже ходи, а теперь вытряхайся! — добавил он, нахлобучивая забытую шапку на голову Алтайского.

Юрий безвольно доплелся до барака, нащупал в темноте нары и лег. Ему бы сейчас забыться, заснуть, чтобы ни о чем больше не думать; но сон не шел, тяжелые мысли понеслись мрачной чередой, обременяя и без того угнетенный случившимся мозг.

Какими глазами он будет теперь смотреть на Колю Астафьева? Сможет ли после всего случившегося считать себя человеком? Пусть он голоден, нищ духом и телом, но... лучше бы завтра отдать концы, все-таки оставаясь человеком! Впрочем, не лучший ли это выход — насильственная смерть, так похожая на заведомое самоубийство?

Алтайский подумал о смерти и вдруг с удивлением отметил, что нисколько не боится близкого конца. Тогда почему он так испугался, увидев нож в руках Перевалкина?

Неужели сработал обычный животный инстинкт? Выходит, он уже не человек, а животное с инстинктом самосохранения вместо разума? А Перевалкин, вся жизненная философия которого уместается в одну фразу: подохни они сегодня, а я завтра... Он не просто прошел грань, отделяющую человека от животного. Перевалкин и живет давным-давно по законам животного мира — он сыт, силен, готов перегрызть горло каждому, кто будет ему мешать или хотя бы перестанет давать возможность быть сытым и сильным...

Но почему здесь, на Родине, уголовников Перевалкинских лейтенанты Борисовы называют социально близким элементом? И доверяют им, делая властителями многих других людей, единственная вина которых в том, что они, не задумываясь, вернулись на Родину, когда она позвала их...

Тут что-то не так! Много ли Борисовых? Много ли Перевалкинских и Валеевых? Неужели эти паразиты не боятся смерти? Почему они так нахальны, бессовестны, безжалостны ко всем, кроме самих себя?

Да нет, все как раз наоборот — они нахальны и бессовестны, потому что боятся! Боятся больше всех и, боясь, откупаются от смерти чужими жизнями, испытывают перед смертью животный страх, приносят ей жертвы, платят дань в предчувствии конца. Их страшат проклятия на устах тех, кровью и потом которых они питались!

А он, Алтайский, смог бы быть паразитом? Смог бы жить за счет себе подобного, которого, возможно, пришлось бы обречь на смерть, чтобы выжить самому? Возможно, он способен убить человека на войне в силу долга или присяги, убить в состоянии самозащиты или при вспышке слепого гнева и свойственной ему вспыльчивости, как было сегодня с Валеевым, — и то карал бы себя потом, но убить по эгоистическому расчету? Это дико и страшно!

Алтайский вспомнил, как в детстве бросил камень в сидевшую на дереве стаю воробьев и один воробышек упал... Неожиданно почувствовав страх, мальчик подбежал, взял воробышка в руку. Маленькое тельце поникло, головка безвольно болталась, под крылышком была ранка, но рукой он почувствовал, что сердце птички еще билось... Жалость к воробью, презрение, ненависть к себе за необдуманый поступок заставили Юрия отказаться от обеда, ужина, игр... Мальчик поил, кормил, ухаживал за воробьем до тех пор, пока он однажды не вспорхнул на крышу с

веранды и весело и, как показалось Юрию, благодарно чиркнул.

Пережитое тогда чувство радости, освобождения от тяжести на сердце вспомнилось теперь Алтайскому так живо, будто все это произошло вчера. Вспомнилась и данная тогда самому себе клятва: жалеть любое живое существо, хоть малое, хоть большое, а значит, и человека, хотя именно человек подчас жалости и не заслуживает. Детская эта клятва пока не нарушена... И сможет ли так ожесточиться душа, чтобы суметь ее забыть, выбросить из памяти и сердца? Нет, нечего и думать, что он когда-нибудь научится жить за счет других!

Однако сейчас он уже вор... Нет, еще не вор! Пока он не истратил ни копейки чужих денег, не выкурил крошки чужого табаку. Алтайский метнулся с нар, вспомнил, что его валенки сданы в сушилку, надел лапти, вылетел на улицу и тут только заметил, что давно уже наступила глубокая ночь.

Звездный шатер был неизмеримо глубок, северная звезда мерцала почти над головой, дали заволакивало туманом, мороз крепчал. Скрип лаптей рвал застывшую невозмутимую тишину.

Алтайский вернулся в барак, лег. Он едва успел задремать, как зазвучал от ударов кувалды подвешенный к дереву рельс — подъем. Юрий проснулся сразу, вспомнил Колю Астафьева и того неизвестного, чьи ботинки он украл. От холода или другой причины его затряс озноб, махорка в карманах штанов показалась раскаленной. Не дожидаясь дневального с валенками, Алтайский обул лапти и побрел, сотрясаемый мелкой дрожью, к утопленной в земле сушилке — сушильщик Азарий был ему знаком.

Он спустился по лесенке, остановился под коптилкой, скудно освещавшей подземелье. Дверь в самую пышашую жаром камеру была закрыта, за ней раздавались голоса. Но и здесь, перед камерой, было тепло, даже жарко.

Алтайский снял шапку и облокотился на косяк двери, обрамленный толстой, забитой глубоко в землю рельсой. Сознание, что перед людьми он все-таки вор, что он не может честно смотреть им в глаза, а еще мысль о том, что скоро нужно будет опять идти, голодному, в ледяной лес по мертвящему холоду, разогреваться от движения, когда чуть прикрытые драными варежками руки сами лезут за пазуху и приковываются к еще теплому телу — все это промелькнуло в его затуманенной голове, показалось на

какое-то мгновение дурным сном, небылицей. Но тотчас же пришла и другая мысль, что это не сон, который можно стряхнуть, а самая настоящая явь... Эта мысль пришла и окончательно раздавила волю Алтайского.

Дверь из камеры отворилась, вышли двое дневальных, нагруженные сухими валенками, остро пахнущими жаром и нагретой нечистой шерстью. Дневальные подозрительно покосились на Алтайского, но ничего не сказали. Их полные недоверия взгляды проплыли мимо...

Когда дневальные поднялись по лесенке и закрыли за собой дохнувшую холодом дверь, Алтайский неожиданно для себя, не сознавая в полной мере, что он делает, попятился от двери, а затем, сделав два неловких скачка, изо всей силы прыгнул головой вперед на торчащий из земли рельс...

Алтайского поднял, затащил в камеру и положил на свою лежанку сушильщик Азарий, кривой на один глаз.

— Эх ты, беда какая! — ворчал он. — Дошел человек до того, что уж и ноги не несет. Куда ж тебе в лес, мил-человек?

Азарий захлопотал, налил в глиняную миску кипятку, вытащил маленький кусочек хлеба.

Последние слова Азария, обращенные к нему, Алтайский уже слышал. Голова нестерпимо болела, но он сразу понял, как слаб: голова его осталась цела, не треснула, как пустой орех, — значит, сил в его внутреннем теле не осталось совсем.

Он хотел лишиться себя жизни, в общем-то, из-за гордости — чтобы не сказали, что он вор! Нет, голубчик! Ты сам виноват и должен пожать плоды того, что посеял: ты пойдешь и сам скажешь все, как было, людям, за счет которых ты хотел прожить хоть день. Умирать можно честной смертью. Люди кругом! Они поймут и простят!

Алтайский поднялся с теплой лежанки, нашел свои валенки, взволнованно пожал руку Азария и бодро вышел из сушилки, забыв лапти. Азарий растерянно смотрел ему вслед: не съел, отказался от хлеба — это было невероятно!

Алтайский старался идти твердо, но его пошатывало по дороге к бараку Коли Астафьева. Ему уже не было холодно, хотя мороз крепчал — занималась зря, наставлял новый день.

Коля Астафьев взял деньги — он понял все.

Ботинки вернулись к старому хозяину с небольшой, вытрясенной из кармана до крошечки, горсть махорки...

В этот день Алтайскому работалось легко, норму он выполнил и вечером уснул еще до ужина.

Когда через несколько дней Алтайский встретился нос к носу с Перевалкиным — тот, уступив натиску его взгляда, отвернулся.



...Только через два месяца, уже весной, врачебная комиссия направила в сангородок поредевшее «хозяйство лейтенанта Борисова».

Самого лейтенанта Борисова судили, дали пять лет. На суде выяснилось, что он виноват в хищении продуктов вместе с заключенными-бесконвойниками; в применении самовольной завышенной нормы выработки и продаже неучтенного леса на сторону. Однако Борисов не унывал: после суда он был расконвоирован и почти сразу же уехал с техноруком в лес... на охоту.

«Большие серые волки не забывают своих подручных, маленьких волчат», — подумал, узнав об этом, Алтайский.

## Глава 11. В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Через год Алтайский снова был под следствием. Он пытался понять, что с ним происходит, и не мог, не находил ответа на свои многочисленные вопросы. Было ясно лишь одно: дело его темно и просветлеет не скоро.

Алтайский уже шестьдесят два дня сидел без вызова в следственном изоляторе. Опять стоял декабрь, в небольшое оконце с давно не мытыми стеклами постоянно дули холодные уральские ветры. Когда заключенные сбрасывали заплетенную в решетку телогрейку, во мрак камеры то брызгал свет, то хохотала мгла вьюжной ночи.

Похоже, что его забыли, предоставили самому себе, своим мыслям и вновь начинающему поднимать голову голоду. Алтайский был окружен людьми, они тесно жались друг к другу, пытаясь согреться. Но никогда еще он не был так одинок, как в этой тесноте. Здесь каждый думал лишь о самом себе, каждому хотелось поскорее оторваться от соседа — любой ценой выскочить из изолятора.

Некоторым это удавалось. А вот Алтайскому, как всег-

да, не везло. У него не получалось даже то, что другими достигалось без особого труда. Алтайский давно пришел к выводу, что он удивительно невезучий человек. Например, достать махорки, если есть рубль, пустое дело, но только не для него: то карман оказывался рваным и махорка просыпалась, то купленный табак оказывался ворованным и его отбирал настоящий хозяин. Ботинки у Алтайского рвались непременно в грязь; перескакивая лужу, он попадал на предательскую доску, обдававшую его водой до воротника; даже среди сравнительно легких сосновых шпал находилась одна более тяжелая лиственничная, когда он представлял плечо.

А как поначалу казалось просто и как в конечном счете оказалось трудно попасть в сангородок! Началось с того, что указание врачебной комиссии об отправке «доходяг» из леса в сангородок не было выполнено в полном объеме — туда попали лишь те, кого уже совсем не держали ноги. Алтайского, конечно, оставили на месте. Но организм его, ослабленный после брюшного тифа, начал окончательно сдавать в лесу — ничтожная царапина на руке вызвала флегмону. Только после этого Юрия Федоровича освободили от работ, он стал дожидаться очередной отправки в сангородок.

Прошло около двух недель, пока сформировали этап. И опять Алтайскому не повезло. Транспорт доставил больных, изможденных людей лишь до другого лагерного пункта ОЛП-5, расположенного неподалеку от сангородка. Там остро не хватало рабочей силы, и начальство приняло решение перебросить в ОЛП-5 из хозяйства Борисова всех самостоятельно передвигающихся на ногах. «Больных в сангородок можно будет доставить потом из ОЛП-5 с оказией», — очевидно, рассудило начальство. А потом надолго забыло об этом.

А эта история с «помощью», вспомнив о которой, Алтайский вновь сморщился, как от ложки мороженой клюквы, раздавленной во рту...

Пожилой, в свое время уважаемый «потомственный дворянин и обладатель фамильного герба» Круглов, между прочим, воспитанник Оксфордского университета, был очень набожен. Бог, очевидно, помогал ему, во всяком случае, у Круглова водились деньжата. Однажды он попросил Алтайского сделать ему нательный крестик. Алтайский согласился — свободного времени в ОЛП-5 было достаточно, почему бы и не попробовать? Когда заказ был готов, Круг-

лов умилился при виде аккуратно вырезанного из березового наплыва византийского крестика. Он прослезился, узнав, что инструментом служил всего лишь маленький кусочек лучка. Щедрой рукой Круглов отвалил Алтайскому пять рублей и сделал новый заказ — «для близкого, сердечного друга Димы Апостолова». Когда и этот заказ был исполнен, Круглов попросил сделать еще один крестик для «отца Серафима». Одновременно он предложил Алтайскому заняться подысканием покупателя на шевровые полуботинки — «замечательные туфли, которые любой с руками оторвет».

— Только преклоняясь перед вашим, ну, не талантом... даром, что ли... Так выразительно изваять символ, самый высокий для христианина... — Круглов заморгал глазами, отвернулся и, справившись с чувствами, продолжил. — Не имея возможности воздать вам по заслугам, как вы того достойны, я доверяю вам продать эти туфли с тем, чтобы вы могли заработать, сколько сможете. Я, конечно, не могу сказать, что дарю вам эти туфли, — вы мне заплатите гроши, только гроши...

Однако когда Круглов принес туфли к Алтайскому в барак, то на прощанье сказал уже по-деловому:

— Будет покупатель — продавайте за полсотни, гарантирую десять рублей заработка!

Продать их Алтайский не успел. Неожиданно комендант произвел обыск в бараке, унес полуботинки в комендатуру, а через полчаса вызвал Алтайского — полуботинки оказались украденными из-под изголовья «близкого, сердечного друга Димы Апостолова», с которым, оказывается, Круглов спал рядом.

Алтайскому с трудом удалось уговорить коменданта «не вытряхивать из Круглова душу», как тот в сердцах пообещал, узнав, откуда появилась у Алтайского ворованная обувь.

Благородное негодование переплескивалось через край, когда, уставившись стеклянными глазами в плебейскую рожу Алтайского и оскалив нечищенные зубы, Круглов потребовал объяснений:

— Как вы могли назвать мою фамилию? — со страдальческой grimасой шипел он в ухо Алтайского. — Я же вам от души помогал, а вместо признательности получил черную неблагодарность! Ну, что бы стоило сказать, что ботинки ваши, и тем не предавать позору мою древнюю фамилию? Вы показали бы себя благородным, воспитан-



ным человеком, истинным христианином, и я не остался бы перед вами в долгу... Понимаете?!

— Сволочь! Гад! — от возмущения Алтайский не находит нужных слов. Он вытащил их прожженного кармана две «дворянские» пятерки, разорвал их на мелкие кусочки, смял в один комок, плюнул на него и с остережением бросил в «благородную» оскаленную маску, на которой началось неподдельное изумление.

Позднее Алтайский испытывал острый, жгучий стыд за свой нечаянный срыв, а тогда долго не мог успокоиться. И это один из «отцов эмиграции»! «Прогнивший строй», «преступная верхушка», «разложившаяся аристократия» — как тут было не вспомнить эти удивительно точные определения, почерпнутые из советских источников!

Именно в тот день, когда, опустошенный живучей людской подлостью, Алтайский пришел в столовую на обед, он встретил художника Руфа Аникеева, без сомнения, человека талантливого и одаренного. Его рисунки и карикатуры поражали Алтайского тонкостью наблюдений, богатством фантазии, выразительностью, подкупали своей искренностью. Алтайский тайно преклонялся перед его дарованием, боясь заикнуться, что сам делает попытки писать акварелью, искал нечаянной встречи с ним, чтобы хоть глазком взглянуть, как он пишет, как нежные акварельные тона, накладываясь один на другой, творят на мертвой бумаге живую ветку или задумчивую прозрачную воду...

И вот этот коренастый, неприветливый, немногословный и, как показалось Алтайскому, даже замкнувшийся в себе человек поставил вдруг перед Юрием свою миску с едой, только что полученную в раздаточном окне. Алтайский опешил, попробовал вернуть миску, но Руф ушел, неприветливо бросив на ходу: «Заходи в мастерскую!» Алтайский знал, что Руф работает художником в зоне. Он пошел туда к нему, потом стал ходить все чаще, и вскоре эти хождения стали для Алтайского потребностью.

Сначала он только не мешал Руфу работать, затем начал помогать ему грунтовать рамки для лозунгов, растирать краски, пока, наконец, подбадриваемый неприветливыми репликами Руфа, не написал лозунг и не поверил, что учиться можно и в тех нечеловеческих условиях, в каких он вынужден существовать. Руф незаметно уводил мысли Алтайского в сторону от еды, от безрадостной окружающей действительности, стараясь занять его внимание полезной деятельностью, объяснял, как вырезать трафарет,

как протянуть короткой кистью ровную филенку на стене, как сделать кисть из хвоста кобылы, что возит хлеб в хлебозерку, как закруглить букву в тексте лозунга, подобрать шрифт, соответствующий идее, мысли, заложенной в тексте.

Алтайский сразу заметил, что он не один был подопечным Руфа — к нему тянулось много людей. Руф постоянно был готов поделиться с ними всем, чем владел сам, причем без всяких условий: и мудростью, и табаком, и хлебом, и картошкой, и честностью, и порядочностью... А главное, Руф верил людям: если был у него табак — он лежал на виду, высыпанный на какую-нибудь бумажку; если была картошка — то в миске на столе; если только что был получен сахар — пили чай все, кто присутствовал.

Когда рука Алтайского поджила и его вновь стали отправлять на работу в лес, он не забывал заглянуть «на огонек» к Руфу вечером...

Приступив к работе, Алтайский скоро почувствовал, что вновь начинает «доходить». Видимо, организм его так и не смог полностью восстановить утраченные за зиму силы — работа с каждым днем становилась все более тяжелой и невыполнимой. Теперь Алтайский убирал продукцию визжащей шпалорезки: дровяной горбыль — в одну сторону, деловой — в другую, авиалафет — в третью, шпальную вырезку — в четвертую. Приходилось бегать рысью, но, как он ни старался вместе с напарником, машина была быстрее — она выматывала последние силы, изнуряла до изнеможения и количеством, и качеством продукции, особенно тяжелыми влажными плахами закомелистого дровяного горбыля... Даже когда машина отдыхала в обеденный перерыв, Алтайский с напарником продолжали бегать, ликвидируя завал.

И хлебная пайка в девятьсот пятьдесят граммов не восстанавливала силы — раз сорвавшись, перейдя какой-то неведомый рубеж, силы продолжали убывать. Не помогало и вечернее подбадривание Руфа — впереди, совсем уже близко, Алтайский это чувствовал, неумолимо замаячил конец...

Но однажды после ночной смены Алтайскому приказали собираться в этап. Ноги его уже плохо слушались, мучила неизвестность — куда на этот раз его забросит судьба. Все-таки Алтайский забежал проститься к Руфу. К его удивлению, Руф довольно рассмеялся:

— Просто тебя видел начальник КВЧ\*, когда ты писал лужунг. Он берет тебя в сангородок работать и лечиться.

Алтайский сразу все понял.

— Не знаю, как благодарить тебя, — начал он, но почувствовал в этих словах какую-то фальшь — действительно, как он может благодарить за человеческое бескорыстное участие?

— Никогда не криви душой, — сказал Руф серьезно, — всегда делай для человека, знаешь его или нет, что можешь. Совсем не важно, вспомнит ли он тебя потом, а тебе будет легче и радостней жить с людьми...

Алтайский восстановил в памяти последнюю встречу с Руфом, и мысли его снова потекли по колдобинам, неясностям и неопределенностям завтрашнего дня, до которого надо еще дожить, а об этом лучше было не думать, ведь так можно дойти до веры в судьбу, неумолимый рок — в эти сверхъестественные силы, якобы предопределяющие все события в жизни человека. Так можно начать гадать на кофейной гуще... Но Алтайский тотчас оборвал неожиданную мысль: откуда, к черту, здесь кофейная гуща?!

Он попытался отвлечься, для чего попробовал проанализировать новое толкование давно знакомого слова — контингент. Контингент заключенных, контингент вольнонаемных, контингент бесконвойных... А к какому же контингенту принадлежит он сам и еще куча такого же, как он, народа? Контингент маньчжурцев — этот термин вошел в широкое употребление после того, как в лагерь прибыла большая группа офицеров. Поползли слухи, что они являются представителями родов войск, куда требуется пополнение, что для этого будет произведен отбор среди заключенных, как это нередко делалось во время войны.

Но прибывшие офицеры стали общаться с контингентом маньчжурцев (они-то и родили этот термин), поэтому версия о пополнении трудовых армейских батальонов из числа уголовных заключенных отпала. Следовательно, отбор будет произведен среди маньчжурцев? В сердцах их затеплилась надежда: трудовые армейские батальоны — это гораздо лучше, чем бесправное существование в положении ни тех, ни сех — ни вольных, ни зэков.

Два события похоронили эту надежду. Вскоре прибыл этап заключенных — бывших фронтовиков, которых разме-

---

\* КВЧ — культурно-воспитательная часть.

стили в зоне «контингента маньчжурцев». Фронтвики — в основном это были люди, заверившие войну в столицах европейских государств, — по статьям уголовного кодекса квалифицировались как изменники Родины. Факт приравнивания еще несудимых «маньчжурцев» и уже осужденных фронтвиков прозвучал для первых похоронным звоном.

Фронтвики смотрели на дело проще. Они, смеясь, повторяли привезенное с собою выражение: «Сейчас, — они подчеркивали это «сейчас», — в нашем бесклассовом обществе имеются три класса: кто сидел, кто сидит и кто сидеть будет. И если вы, товарищи, еще не сидите, хотя фактически уже отсидели по году, — значит, сидеть будете!»

Второе событие явилось уже достаточно веским подтверждением прогноза фронтвиков — вместо ожидаемого зачисления в трудбаты, большую группу «маньчжурцев» взяли под следствие.

Прибывшие офицеры оказались следователями НКВД. Разномастность форм обмундирования, цветов кантов и званий следователей, их маскировка под представителей различных родов войск казалась странной и необъяснимой: моряк, танкист, сапер, пехотинец, артиллерист, летчик — только не следователь НКВД! Как ни пытался объяснить или просто понять эту метаморфозу Алтайский, он не мог найти логического ответа на вопрос: зачем нужно маскироваться в своем Отечестве людям, которые выполняют служебный долг? Чем объяснить, что следователи страшатся показать свою форму? Может быть, НКВД таким образом маскирует количество своих людей, если их развелось слишком много?

Фронтвики лишь потешались над наивностью «маньчжурцев»: как можно не знать, что под любой военной и гражданской формой может скрываться работник НКВД?

Попавшие под следствие были надежно изолированы — никаких вестей от них не доходило. За первой группой последовала вторая, третья. Помещение для подследственных начало уплотняться, однако сведения об условиях их содержания, а также о самом следствии так и не просачивались.

Фронтвики по-прежнему только посмеивались — им и так было все ясно: дадут не меньше «катушки»\*, а жранье

---

\* «К а т у ш к а» — максимальный срок наказания: 10 лет — до 1947 года, 25 лет — после 1947 года.

известно — 450 граммов хлеба, десять сахару и кипяток — утром, горячая баланда — вечером.

«Катушка» воспринималась «маньчжурцами» абсолютно равнодушно — для них это было понятие абстрактное, оно не имело отношения к сегодняшнему дню. А вот жранье и срок следствия были делом серьезным — можно ли за этот срок дойти окончательно и если да, то что надо сделать, чтобы сократить его?

Подследственные находились в изоляторе уже около месяца, когда первую весточку от них принес надзиратель. Смысл весточки был такой: пришлите какого ни на есть, пусть самого поганого, самосада или зеленухи, хоть с навозом — помираем! О самом следствии, его результатах — ни слова. Надзиратель только добавил: «Народ, конечно, дошедший, голодноват, жрать просит».

Так прошло лето. В один из октябрьских дней, солнечных и теплых, и Алтайского вызвали под следствие из сангородка, где он успел неплохо устроиться — как художник, столяр, резчик по дереву и бухгалтер по совместительству.

Алтайский был еще далек от прежнего своего физического состояния — не хватало килограммов десять, хотя совместительно давало ему существенный довесок к больничному пайку. Старший бухгалтер из бесконвойников держал кухню в руках надежно и твердо, он изредка угощал после работы Алтайского картошкой с хлопковым маслом. За роспись стен, изготовление плакатов комендант подкармливал его из резервов внутреннего огорода. Начальница санчасти, будучи в восторге от вырезанных Алтайским цветов на спинках стульев, предназначенных для ее квартиры, сделала намек на желательность продолжения работы и преподнесла две пачки папирос «Ракета» и три «пилы» спичек. Были еще доходы от «мамок» и «нянек».

«Мамки» — это самые настоящие матери из заключенных, прижившие детей от тех, с кем их свела судьба в лагере — с заключенными же, с солдатами конвоя, мастерами, десятниками, техноруками, прорабами, бригадирами. Рожали они за кокетливым крашеным заборчиком, которым было условно отгорожено от общей зоны деревянное сооружение с оборудованными внутри родильным домом и детскими яслями. За заборчиком были беседки, горки, качели, там постоянно раздавался ребячий щебет. Многие выздоравливающие заключенные и «маньчжурцы» подолгу простаивали около заборчика, глядя на игры ребятшек и вспоминая свои детей; они смущенно смывались, когда кто-

нибудь из «взрослых» малышей трех-пяти лет просил у них конфетку или пряник.

Матери через некоторое время после родов попадали под «активровку» — досрочное освобождение для воспитания детей. Лагерь за счет государства снабжал их детским бельем, продуктами, деньгами, проездным билетом и при желании матери направлял ее на работу. Для многих женщин ребенок был средством досрочного освобождения. Но находились и такие, которые отказывались и от детей и от свободы. Одни не хотели расставаться с «мужем» или «мужьями», оставшимися в заключении, другие не надеялись долго прогулять на свободе, третьи специально рожали ребенка лишь для того, чтобы получить «мамочный паек», включавший тушонку и яичный порошок, по-настоящему поправиться за время декретного отпуска.

«Взрослые» малыши — четырех—пяти лет, большей частью сироты — ходили гулять в лес, на речку, встречались с детьми расположенного возле зоны поселка и понимали лишь одно: они лучше одеты и их лучше кормят, чем тех — за зоной. В шесть лет их ожидал детдом.

Некоторые «мамки» жили подолгу в родильном доме, они становились «няньками». Большой частью это были женщины, дети которых умирали вскоре после рождения, не оправдав надежд своих матерей на свободу.

Под благовидными предлогами, с благосклонного неведения начальства, приезжали на лечение в сангородок «мужья» из числа отличников производства. Бывало изредка, что приезжали и отцы к детям с немудреными подарками, чтобы вместе поплакать и погадать — сколько еще остается до выхода на свободу.

«Мамки» скучали без «мужей». Наличная мужская обслуга была поголовно «занята», поэтому многие «мамки» сами подготавливали себе «мужа» из числа присланных на лечение «доходяг». Иногда одного «доходягу» подкармливали две—три «мамки», но не всегда их расчеты оправдывались. «Доходяги» из заключенных знали, что при уличении в сожительстве их ожидал отдаленный лагпункт, и потому на постоянную связь отваживались не все.

Алтайский имел доход от «мамок» как гробовых дел мастер. О том, что он непригоден как «жених», Юрий честно сказал сразу нескольким «невестам», которые, как он видел, положили на него глаз. Для женщин это было совсем понятно: по обязанностям художника зоны ему полагалось «жениться» — как-никак, обслуга, а не больной.

Гробовых дел мастером Алтайский стал совершенно неожиданно для себя. Это случилось, когда он вырезал по просьбе одной из «мамочек» на березовой дощечке надпись для установки на могиле.

Блестящая, покрытая канифольным лаком дощечка с грамотной надписью, сделанной красивым шрифтом, который не смоеет ни дождь, ни снег, — все это очень понравилось и самой заказчице и другим «мамкам». Младенцы умирали часто, поэтому на недостаток работы жаловаться не приходилось. А есть работа — значит, есть и еда. Правда, тушонки и яичного порошка Алтайский так и не попробовал, но ржаной хлеб, баланда и каша из соевого жома доставались ему нередко.

Наконец, наступил день, когда и его вызвали на следствие. Направляясь в следственный изолятор, Амазонку, как его называли заключенные, Алтайский испытывал чисто животный страх, не поддававшийся контролю разума, — это был страх перед голодом, который может настичь его вновь.

Пока дежурный надзиратель в изоляторе принимал Алтайского, он огляделся. Сени и коридор, делят изолятор поровну, в коридоре четыре глухие двери с тяжелыми засовами, за ними — камеры, в конце коридора печь. Удушливый и специфический тюремный запах-меланж: грязных одежд, пыли, клопов, нечистых параш и людей.

Был слышен смутный говор. Из одной камеры его окликнули:

— Юра, давай к нам!

Надзиратель больше для вида обыскал Алтайского.

— Туда, что ли? — спросил он, указывая на камеру, из которой окликнули Алтайского.

Тот согласно кивнул головой. Когда тяжелая дверь лягнула за ним засовом, Алтайский утонул во мраке и море обостренных тюремных запахов. Перед носом он мутно различил верхний ярус сплошных нар, выше которых из маленького обрешеченного оконца пробивался свет.

Оглядываясь и привыкая к темноте, Алтайский сначала ткнулся ногой во что-то твердое, по неблаговонию определил — параша. Затем различил головы, нижний ярус нар, деревянную бочку с расширяющимся низом.

По-настоящему знакомых в камере не было. Окликнувший Алтайского Иосиф Бессехес был ему знаком тоже весьма поверхностно — не владея ни китайским, ни япон-

ским языком, он однажды обратился к Алтайскому, когда тот еще работал в Харбине, в билетной кассе, с просьбой помочь ему разыскать багаж, потерявшийся где-то на долгом пути из Германии, откуда Бессехес уехал после прихода к власти национал-социалистов.

— Если не боишься сквозняков, ложись рядом со мной к окну, — предложил усатый чернявый человек лет тридцати с острыми темными глазами. — Спать будем на моей телогрейке, она толще и теплей, а твоя позуже, будем ею на ночь закрывать окно.

Алтайский взгромоздился на верхние нары, достал кисет, за которым тотчас протянулось множество рук, и кусок газеты.

— Стой! — сказал усатый. — Одну закуривает хозяин, другая — одна на всех!

— Нет! Ну, две... Петя! — взмолились сразу несколько голосов.

Петя прикинул кисет на руке и сказал:

— Ладно.

Алтайский начал заворачивать тугую цыгарку, при этом просыпал несколько крошек.

— Так дело не пойдет, — строго сказал Петя. — Хоть табак и твой, просыпать его — все равно не дело. Давай снасть, — буркнул он куда-то вниз, и в его руке появилась конусовидная палочка. Он обернул ее бумажкой, помусолил, подвернул нижний конец и снял готовый, открытый с одного конца цилиндр. Насыпал табак над кисетом, подвернул другой конец и показал готовую цыгарку. — Вот так.

На нижних нарах уже «катали» огонь — ватный, хитро уложенный между нарой и доской тампон. После нескольких движений туда и обратно запахло паленым. Тампон передали Пете, он разорвал его, подул — середина тлела. Прикурили. Только после этого Алтайский поинтересовался новостями.

Хороших новостей было мало: следователи обращались вежливо, лишь в виде исключения прибегали к мату, но настойчиво «клеили» своим подследственным различные статьи.

У некоторых следствие уже закончили — их только что выпустили в зону ОЛП-5. Все они подписали 206-ю статью об окончании следствия и подтвердили согласие с обвинением их по статье 58, главным образом, по пункту четвертому — в содействии международной буржуазии. Кое-кому



прибавили пункт шесть, часть первая — шпионаж в мирное время.

Предъявленные обвинения всерьез не принимали, торопились подписать: во-первых, хотелось жрать, а для этого требовалось выбраться в зону: во-вторых, жить надо было сейчас. Будущее дело, как выразился Иосиф Бессе, «темнее темного леса». В-третьих, следователи и прокурор оформляли дела как бы шутя, говорили, что все это проформа, что если и дадут, то два—три года, из которых год с хвостиком уже отсидены.

Лишь одному была обещана «десятка» за строптивость и то после того, как, подписывая 206-ю статью, он в присутствии прокурора простодушно сказал: «Это, конечно, чушь, но я подписываю, чтобы вам со мной не иметь мороки». Дело было возвращено прокурором на доследование, и вот тогда-то, после ухода прокурора, следователь в сердцах пообещал ему «десятку». Этим неудачником был чернявый, как цыган, и усатый Петр Милевский, сосед Алтайского. Милевский отведдал тюрьмы еще в Харбине за «мокрое дело» — он работал шофером и от души «погладил» по башке гаечным ключом пьяного японца, когда тот отказался платить деньги «русской собаке».

В ту же ночь Алтайского вызвал молодой и симпатичный следователь. Он молча выслушал биографию, задал несколько вопросов, угостил папироской и, ничего не записав, отпустил.

На следующую ночь вызвал новый следователь, история повторилась.

На третью ночь снова был новый следователь. Алтайскому уже надоело рассказывать свою биографию, отвечать на одни и те же вопросы, но он так и не выразил недоумения — следователь был столь любезен и предупредителен, что у Алтайского как-то язык не повернулся говорить о своих претензиях.

А потом о нем словно забыли. Прошло 62 дня. Алтайский все сидел в изоляторе, никому не нужный, медленно доходил, и никому не было до него дела... Сменялись надзиратели, но все они на требования и просьбы Алтайского отвечали одинаково:

— Докладал. Говорят: значит, время не пришло, пушай сидит!

За окном уже вновь лютовал декабрь.

## Глава 12. СХВАТКА СО СЛЕДОВАТЕЛЕМ

И вот наконец-то вызов... Была уже глубокая ночь, когда Алтайский услышал свою фамилию.

В камерах мало кто спал, ночи проходили в ожидании вызовов, в томительном напряжении, как при раздаче еды — попадут ли в миску с баландой картофелины и сколько. Чтобы как-то скоротать время, Милевский потешал сокамерников рассказами о харбинских уголовниках. Когда он выдохся, стали назначать дежурных рассказчиков. Рассказы были разные, только конец у них почему-то всегда получался одинаковый: как и что готовили жена или сам рассказчик, приготовлением каких блюд славились тетка, бабка, сестра или мать рассказчика. А то вспоминали о том, какие кушанья особенно удавались повару у Коли-грека, хозяина одной из популярных в эмигрантской среде закусочных на окраине Харбина. На этом обычно все и заканчивалось. Под крики «Хватит, довольно!» — ложились спать.

Так было и в тот день. «Хватит, довольно» уже прозвучало, но люди еще ворочались на нарах, настороженно вслушиваясь в шумы за дверями камер.

Стоило солдату-вертухаю произнести фамилию, как закричали разные голоса из всех камер:

— Алтайский! Тебя, Алтайский! Будите Алтайского!

— Здесь я, не сплю! — громко ответил Юрий, когда надзиратель, громыхнув засовом, открыл дверь.

Через несколько секунд Алтайский шагнул в морозную темь с живительно-чистым воздухом, на ходу протирая очки тряпочкой. Он сразу же понял, что холод в изоляторе, от которого люди сбивались в кучи, еще не был холодом. Настоящий холод был здесь, на улице; сделав несколько шагов по скрипучему утоптанному снегу, Алтайский почувствовал его коленками через тонкие штаны.

Баран со следователями сиял электрическими огнями — рядом с ним освещение зоны казалось желтым, тусклым. «Вертухай», — сопровождавший Алтайского, подтолкнул его в одну из дверей.

В новом кителе с погонями пехотинца, в начищенных сапогах, всунутых в галоши, еще молодой, но с заметным брюшком, капитан ходил по комнате. При появлении Алтайского он изменил направление хода, подошел к столу и, опершись на него тремя пальцами, принял позу, которая, по его мнению, очевидно, должна была показать напря-

женную работу мысли, а также тяжелое бремя государственных забот, лежащих на капитане, его перегруженность делами. Мельком взглянув на телогрейку Алтайского, капитан глубокомысленно уставился в окно, позволив рассмотреть себя.

По комнате плыл густой, тяжелый запах тройного одеколona. После удушливого конгломерата изолятора, к которому за два месяца Алтайский привык настолько, что перестал его замечать, запах одеколona показался ему таким резким и неприятным, что захотелось зажать нос.

Капитан не торопился менять позу, видно было, что она нравится ему. Алтайский еще раз внимательно взглянул на следователя: набитые чем-то нагрудные карманы, блестящие спереди и тусклые сзади сапоги в галошах, поза — все свидетельствовало о напыщенности, неопрятности, какой-то блестящей неумытости. Вялое лицо с большим чуть закругленным носом и глаза — темные, сверлящие, агрессивные — выражали застывшую непоколебимость. Одна рука капитана была молодецки уперта в бок, другая опиралась о стол; брюхо при этом было уже подтянутым с явной претензией на показ своей военности.

— Вы что же это, Алтайский, — веско выговорил капитан, еще раз взглянув на телогрейку и чуть прикрывая глаза, — наделали делов, а теперь прикидываетесь пайнкой?

Алтайский опешил, а капитан добавил уже со злостью:

— Почему это все следователи от вас отказываются?

«Так вот в чем причина измора в изоляторе!» — обрадованно понял Алтайский. Но сразу же он понял и другое: капитан считает, что достаточно проморил его в изоляторе и теперь думает брать голыми руками.

Неуемное озорство, дух противоречия, протеста — бунтарские русские качества, нелюбимые иностранцами как несовместимые с джентльменской сдержанностью «настоящего европейца», вдруг заполнили все его существо. Но Алтайский сдержался, зная, что потом будет жалеть о ненужной вспышке. Сдержался, хотя подумал, что на еще один укус он уже непременно ответит укусом, а... разум скажет свое слово, когда будет поздно.

Капитан понял молчание телогрейки по-своему: ему, очевидно, предстали корчи жука на булавочке...

— Я старший следователь оперативно-следственной группы капитан Кузьмин! — внушительно произнес он, гордо откидывая голову.

Алтайский удивленно отметил про себя несоответствие фамилии и национальности — ему было ясно, что Кузьмин еврей, Юрий дружил со многими евреями, но ни один из них не помышлял изменить фамилию. Алтайский был уверен, что ни один еврей, если это настоящий человек, не в состоянии отвергнуть свою кровь и национальность, какая бы опасность ни угрожала, — это было бы неуважением к предкам, к их заветам, таким же древним, как мир. Почему и зачем Кузьмин стал Кузьминым? Алтайский сообразил одно — перед ним представитель новой формации, может быть, новой психологии и ему его сразу не понять.

Кузьмин сел за стол, указал Алтайскому на табуретку около двери.

— Ну, теперь, когда вам ясно, с кем имеете дело, — сказал капитан, доставая из стола папиросу и прикуривая, — расскажите о вашей шпионской работе. Предупреждаю: отвергнуться вам не удастся!

Алтайский внутренне взорвался, в груди вновь загорелось только что утихомиренное бунтарство.

— Вам сразу рассказывать или по частям? — глухо спросил он.

Кузьмин подозрительно покосился:

— Как это?

— Ну, скажем, могу признаться, что я шпион прямо со дня рождения, — деловито начал Алтайский. — Или, может быть, вы предпочитаете услышать, как шпион формировался из меня постепенно: сначала в Интеллидженс сервис, потом в Сюрте... Или, лучше, в Федеральном бюро расследований? А уж под конец, так сказать, на десерт, расскажу о моей работе на токумукикан...

Глупая эта фраза произвела на капитана совсем не то впечатление, которого не без удовольствия ждал Алтайский.

— Давайте начнем с обучения в телиженс бюро, — согласился Кузьмин.

— Интеллидженс сервис, — поправил Алтайский.

— Да, да, — кивнул головой Кузьмин.

— Так вот, — снова начал Алтайский, подхваченный волной бунтарства, которая понесла его неудержимо, — когда в тридцатом году в возрасте... впрочем, это не важно... Я приехал в Лондон, меня встретил черный Лимузин...

— Вы и в Лондоне были? — удивленно перебил Кузьмин.

— Отродясь никогда не был, — невинно ответил Алтайский.

Глаза Кузьмина округлились, в них сверкнуло удивление, затем проявилась некоторая работа мысли, быстро сменившаяся злобой. Он угрожающе-медленно оторвался от стула и иступленно заорал:

— В тридцатом году, когда тебе было 13 лет? Ух, ты, гад...

— А что мне было делать? — скороговоркой ответил Алтайский, тоже вставая. — Вы хотите, чтобы я был шпионом, так я буду шпионом.

— Он еще смеется! — Кузьмин сел, дернул на себя ящик стола, сунул в него руку и, не спуская ненавидящих глаз с Алтайского, тотчас снова начал медленно подниматься.

Худое и грязное лицо Алтайского стало белым, он не ожидал мордобоя сразу. Не ожидал он и реакции, которую вызовет в нем самом эта угроза. Алтайский сделал шаг назад, встал перед табуреткой, упершись в косяк двери, чуть наклонился и, глядя сквозь очки прямо в глаза приближающегося Кузьмина с правой рукой, спрятанной за спину, чуть торопясь, сказал:

— Если вы тронете меня хоть пальцем, то я соберу остатки сил и, как бы вы ни были сильны и откормлены, зубами перегрызу вам горло — мне нечего терять.

Кузьмин, почувствовав решимость отчаяния в словах Алтайского, остановился, повернулся к нему боком, спрятал руку в карман и, сделал шаг назад, присел на угол стола.

— Нет, я не собирался вас бить! — не пытаюсь скрыть злобу, сказал он. — Это у нас не положено... Но уж кому-кому, а вам «десятку» гарантирую! Вижу, вам отдыхать у нас нравится — что же, отдохайте еще! — добавил Кузьмин издевательски и крикнул: — Разводящий!

Через несколько минут, хватанув по дороге легкими несколько порций чистого, обжигающе-морозного воздуха, Алтайский вновь растворился в гуще тюремных запахов.

Алтайский ругал себя последними словами: зачем и кому, кроме себя самого, он доказал, что он упрямый, негибкий, чудом небитый, норовистый дурак?

Чего он добился, кроме озлобления Кузьмина, — ведь все равно ему придется подписать все, что захочет следователь, если, конечно, он не хочет подохнуть сейчас от необратимой дистрофии в результате долгого сидения на

штрафном пайке... В конце концов, какое значение имеет какой-то срок в будущем, когда сейчас можно не дожить до его начала?

В изоляторе Алтайский просидел еще десять дней.

### Глава 13. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ УСКОРИТЬ СЛЕДСТВИЕ

Когда Алтайский наконец-то вновь увидел Кузьмина, тот явно был чем-то доволен:

— Ну, сегодня разговор у нас будет короткий, — он отворил дверь в коридор. — Давайте!

Знакомое лицо, одутловатое, обрюзгшее, только уже не от водки и наркотиков, а от недоедания, — Ульянов. Глаза, которые Алтайский помнил то бессмысленно-тупыми, пьяными, а то колючими, изучающими, теперь скользнули по нему без всякого интереса. Но они услужливо загорелись, уставившись на Кузьмина.

Тот кивнул на Алтайского:

— Знаете его?

— Конечно. Это наш человек — убежденный антикоммунист, инженер...

Ульянов с прищуром уставился на Алтайского:

— Может, скажешь, что не был в нашей компании? Не знаешь Демешко, Верейского, Абламского, Зиберта? Может, и меня не знаешь?

— Всех знаю и тебя в особенности!.. Но что у нас с тобой могло быть общего?

— Может, ты еще скажешь, что не убежденный антисоветчик?

— Сейчас скажу, а тогда не мог. В самом деле, мог ли я сказать тебе и твоему фудзяянскому\* жандарму, дружбой с которым ты не раз похвалялся, как я ненавижу хозяев и их холуев, шкурников, не способных жить своим трудом. Вас я хорошо понял! Интересно, кому бы ты меня продал, если бы тогда я сказал, что о тебе думаю?

— Ишь ты... — рот Ульянова с тонкими усиками искривился. — А еще говорил — потомственным дворянин.

— Не я, а Зиберт это говорил.

---

\* Фудзяян — пригород Харбина, где Ульянов подвизался, владея китайским разговорным языком.

— У-у-у, сволочь, — прошипел Ульянов. — Оборонец несчастный! Только ты не открутишься, если был с нами. Верно, гражданин следователь?

После очной ставки с Ульяновым следствие потекло довольно быстро. Алтайский подписывал листы протоколов, не читая; он лишь утвердительно кивал головой, когда слышал новую трактовку своей биографии. Он потерял всякий интерес к следствию, к следователю и к своему будущему — будущего, судя по настоящему, не могло быть... Вот сейчас Кузьмин пишет чушь, и ему надо поддакивать, иначе сколько еще придется сидеть на штрафном пайке. По версии следователя оказывается, что он, Алтайский, в Харбине руководил антикоммунистическими шествиями. В это надо поверить и к черту отбросить логику: совершенно неважно, что он не только не руководил, но даже не участвовал в таких шествиях, да их на самом деле и не было. Были вылазки фашиствующих молодчиков «Бородуля Первого» — Родзаевского\*, но подобные потуги вызывали смех даже у семеновских генералов, еще не отмывших след красноармейского сапога на своих штанах. Однако объяснить Кузьмину, что все это несуразность и глупость, невозможно — он не хочет принимать никаких доводов.

— Меня интересуют факты, которые против вас, а оправдания оставьте своей бабушке — лирика это... — отмахнулся Кузьмин, когда Алтайский начал было говорить об условиях жизни в Китае.

При второй подобной попытке следователь лишь поднял брови:

— Опять?

Алтайский почувствовал бесполезность потуг перед каменной стеной, которую лбом не прошибешь. Он решил, что подписание протокола допроса без проволоочки ускорит следствие, что благодаря этому он сможет раньше вернуться в зону и... жестоко ошибся.

---

\* Оборонец — так в Харбине называли людей, которые придерживались принципа: мы — русские, и кто бы ни напал на нашу землю, тот и наш враг. Со времени нападения гитлеровцев на Советский Союз оборонцами стало большинство русского населения Харбина.

\* Родзаевский К. В. — вождь «русских фашистов» в Китае. Он отпустил бороду чтобы быть похожим на Николая II. Масса эмигрантов, за глаза и в глаза смеясь над «вождем», заслуженного окрестила новоявленного претендента на русский трон Бородулем Первым.

— Почему подписываете, не читая? — строго спросил Кузьмин.

— Зачем мне читать? Я вам верю, — дипломатично ответил Алтайский.

— А если я напишу на «вышака»? — ядовито спросил Кузьмин.

Алтайский твердо ответил:

— Что же, это будет, пожалуй, самое лучшее!

— Нет! Так не годится, — заявил Кузьмин, пораженный безразличием к угрозе. — Я сам буду вам читать.

Кузьмин начал читать, Алтайский внимательно слушал, но если бы кто-нибудь его спросил потом, в чем состоит смысл обвинения, он бы, наверное, не смог ответить. Сознание его туманилось, мысли начали путаться — силы были на исходе. Кое-где под кожей на ногах обозначились твердые цинготные узелки. Но он хорошо запомнил, как однажды во время чтения за спиной Кузьмина на запорошенный снегом подоконник вдруг плюхнулся воробей. Потряс крылышками, похорохорился перед кем-то и неожиданно был атакован другим воробьем — оба они свалились с подоконника куда-то вниз.

Алтайский подумал, что воробьев он не видел уже три месяца.

Кузьмин, который в это время читал вслух очередную страницу протокола, неожиданно поднял глаза и успел поймать взгляд Алтайского. Он быстро повернулся к окну и увидел, как один воробей тузил другого... Кузьмин закурил и, к ужасу Алтайского, начал рвать протокол на мелкие кусочки.

Следствие началось снова. Алтайский опять с готовностью подписывал листы протокола, но явно недовольный ходом следствия Кузьмин рвал их снова и снова.

Алтайский соглашался с любыми доводами Кузьмина, старался убедить и самого себя, что он действительно пособник международной буржуазии и шпион, что комплекс пунктов «вклеиваемой» ему 58-й статьи соответствует деяниям, — ничего не помогало, Кузьмин продолжал рвать листы протокола.

Алтайский получил возможность еще раз убедиться, насколько он невезуч: другие запросто выпархивали в зону кандидатами в заключенные, а он никак не мог добиться признания своей вины и права на наказание.

В конце концов Алтайского осенила простая мысль: не может ли Кузьмин предполагать подвох, памятуя их пер-



вый разговор, чуть не закончившийся дракой? Ведь он может опротестовать ведение следствия перед прокурором и тем посадить Кузьмина в лужу в самый кульминационный момент — во время подписания 206-й статьи! Не этого ли боится Кузьмин? Значит, надо убедить капитана, что ему, Алтайскому, действительно безразлично, чем кончится следствие, — лишь бы скорее попасть в зону. Но как? Пожариться на талмуде или евангелии — это, наверное, для Кузьмина пустой звук...

Напрасно переживал Алтайский: стоило ему самому заговорить на эту тему с Кузьминым, как сразу перестали лететь в мусорную корзину клочья бумаги и все дело уложилось в шесть страниц. Однако Кузьмину своя собственная торопливость не понравилась — слишком неубедителен шпион с делом в шесть страниц. Дальше следователь и подследственный думали уже вместе — папка начала пухнуть от перечисления знакомых Алтайского: рост средний, блондин, глаза, кажется, серые, нос обыкновенный, особых примет не имеется, знакомство — шапочное, сотрудничал ли с японцами — неизвестно.

Алтайский изнемогал. Волокита, пустая формальность, требующая создания пухлого дела, изматывала в конце. Держать себя в руках, все глубже сознавая трагическую комедийность главной роли в клееном фарсе, уже не хватало сил. Страшно хотелось есть, но еще больше — лечь; добираться до верхних нар становилось все труднее — полуогнутые отекавшие ноги, которые сделались чуть ли не вдвое толще коленок, дрожали и не выпрямлялись, когда это было нужно.

По ночам долго не наступал благодатный сон, немилосердно жрали клопы. Пресытившись постытиной, они металась, как угорелые, лезли даже в уши в поисках места помягче и посытнее. Они лазили в штанах, под рубахой и даже в портянках. Пойманные под тканью, клопы казались надутыми шарами; когда лопались, они обгарили ткань густой, уже по-клопиному вонючей кровью. Но кровь было жалко, это все-таки своя кровь...

И было жалко есть пайку, зная, что половина ее, превращенная в кровь, все равно будет сожрана паразитами — такими же по натуре, как те неизвестные Алтайскому большие серые волки и уже известные маленькие волчята. Это им нужно, чтобы он, Алтайский, подох сегодня. Подох ради того, чтобы они, сытые, были раздавлены завтра.

Смешно, но даже в те мгновения, когда он давил шарики паразитов и проливал свою собственную кровь, которой ему так доставало, он верил, что так и будет, и в нем не было ни гнева, ни злости — он знал, что завтра это будет и неважно... И все же он хотел жить или, может быть, за него действовал инстинкт самосохранения, но он пытался хоть что-то сделать для того, чтобы не подохнуть сегодня.

И все же что-то человеческое в нем, очевидно, еще теплилось. Из-за этого однажды он едва не погубил все, чуть не заставив Кузьмина вновь разорвать с таким трудом склеенное дело.

Равнодушно подписывая материал Кузьмина и, как всегда, не желая напрасно расходовать силы на его чтение, Алтайский случайно увидел слово «понять» с переносом «ть» на нижнюю строку.

— Знаете, — сказал он Кузьмину, — может быть, и можно сделать из двухсложного слова двух с половиной сложное, но вам будет неудобно, если кто-нибудь прочитает этот текст внимательно...

— Сомневаюсь, что будут читать внимательно, — глубокомысленно ответил Кузьмин, но вдруг спохватился. — Вы хотите сказать, что грамотнее меня? Топор да пила — вот ваша грамота!

Это была уже грубость — нарочитая, плохо разыгранная, пытающаяся вызвать ответные грубые эмоции, чтобы на фоне их затушеввалась оплошность.

Слова Алтайского опередили его мысль:

— У вас малограмотность, непростительная юристу! — вспыхнул он остатками сил, сразу начиная проклинать свою вспыльчивость и уже не надеясь на скорое окончание дела.

Полное лицо Кузьмина вдруг расплылось и опять посерьезнело:

— Да, вы правы, непростительно юристу, — мечтательно проговорил он и задумался.

Алтайский начал догадываться: вот в чем дело — заговорило честолюбие, значит, он, не желая того, польстил Кузьмину, назвав его юристом.

Кузьмин продолжал мечтать, даже начал улыбаться. А когда мечтательность на его лице сменилась деловитостью, примирительно сказал:

— Неважно, как написано; важно, чтобы поняли...

Конфликт затух, но перенос «ть» так и остался.

До конца дела — подписания 206-й статьи — Алтайский держал себя в руках.

И вот все позади...

## Глава 14. ФИНАЛ КЛЕЕНОГО ФАРСА

Через три месяца Алтайский, наконец, обрел «права» на содержание в общей зоне.

Следствие по делу «маньчжурцев» между тем продолжалось. Следователи расхаживали по зоне, встречались с бывшими подследственными как старые знакомые, изредка угощали их папиросами или махрой. Отношение к ним «маньчжурцев» нисколько не изменилось даже после оглашения первых приговоров — приговоры, как и следствие, не принимались всерьез: сроков два—три года, как предсказывали следователи, не было; даже самим следователям было в диковину — «катушка» уже равнялась не десяти, а двадцати пяти годам.

Алтайского позвали в учетно-распределительную часть — УРЧ, как было сокращенно обозначено на дверях одного из барачков. Узкая и длинная комната за этими дверями, полутемная, с обшарпанными грязными стенами, даже отдаленно не походила на зал суда.

Три стола с крестообразными ногами, в углах два шкафа. На табуретках сидят девчонки лет по двадцати с небольшим.

— Фамилия? — лениво спросила сидевшая около входа некрасивая девчонка с прыщавым лицом.

— Алтайский.

— Вон, к Кате, — показала она, зевая, на блондинку за следующим столом.

— Как фамилия? — опять спросила Катя и начала ртыться в кипе полулистов с размазанными в спешке печатями.

Алтайский смотрел удивленно: неужели это и есть суд? В КВЧ он уже прочитал Конституцию, в которой ясно сказано, что суд должен быть гласным. Неужели здесь, за колючей проволокой, уже другое государство, где, как говорят сами заключенные, «закон — тайга, прокурор — медведь»? Кто установил эту границу государства в государстве и где границы этого государства, офицеры которого не носят присвоенную им форму, а маскируются зачем-то знаками различия рода войск настоящего государства?

— Вот, — сказала блондинка, — читайте!

«Особое совещание, рассмотрев дело... на основании статьи 58, пунктов 4, 6, часть первая и статьи 11 УК РСФСР приговорило... к 20 годам ИТЛ».

Вот, оказывается, какой суд! И он уже состоялся — келейное решение под маркой социалистического государства в обход обнародованной Конституции. Как в монастырских вотчинах: «наказать инока Пуплия битьем плетью...»

Алтайскому стало весело до горечи, до оскомины.

— Почему же не двадцать пять? — спросил он блондинку.

— Посмотрите на него! — удивленно всплеснула та руками. — Вот это действительно бандит! Другой бы плакал, а он смеется!

— Да как же... — начал было Алтайский и растерялся, не найдя простой фразы, которой бы можно было объяснить все сразу. — Если бы знать, за что...

— Значит, не будете подписывать? — отрезала блондинка. — И не надо, а сидеть все равно придется!

«Сидеть все равно придется» — для Алтайского это не было новостью или чем-то неожиданным, это подразумевалось с самого начала следствия. К этому он был давно готов; он просто не предполагал, что переход от относительной свободы к откровенной неволе произойдет столь буднично. Но была в этом и хорошая сторона — вместе с приговором особого совещания Алтайский обрел права на дальнейшую жизнь.

Он получил направление в столярный цех зоны. Теперь его окружали другие люди, большей частью те, кто никогда не покидал пределы Родины. Алтайский жадно наблюдал за ними, пытаясь получить подтверждение своим выводам о волчьей основе нового общества.

Бригадир Короткевич. Классный столяр, отличный организатор, но в то же время сластолюбец — говорят, меняет «жен» чаще, чем телогрейку. Но также говорят, что он предельно справедлив. Сидит за мошенничество, но не любит обмана, вранья, не наказывает новичков за ошибки, зато дерет три шкуры с опытных мастеров. Человек как человек — со слабостями, как все люди, но ничего нет в нем волчьего...

Окружающие люди грубоваты и злы, это связано, очевидно, с их неудавшейся судьбой. Они горячи в работе и несколько небрежны, иногда необязательны в отношениях друг с другом. Иными словами, им присущи многие недо-

статки, но это обычные недостатки многих обычных людей. В общем, люди как люди — ни в коем случае не волки.

Были в зоне и люди особенные, не совсем понятные Алтайскому. Вот, например, технорук Николай Михайлович. Бывший полковник, сидит с тридцать седьмого года по делу Уборевича, Тухачевского, Гамарника. По тому, как он удивительно четко и правильно говорил на собрании рабочих цеха, как убежденно звучали его слова об участии в строительстве коммунизма, можно заключить, что он коммунист, чувствует себя коммунистом даже здесь, в зоне. Одержимый, бесноватый или подхалим? Ничего подобного! Сила его убеждения была столь велика, мысль так ясна и доказательна, что Алтайский опешил тогда.

Значит, есть что-то такое в этом новом советском обществе, к восприятию чего Алтайский просто не готов. Может быть, все дело в том, что знакомство с новым обществом он начинает с мира виноватых, отверженных, где души более обнажены? Но виноваты ли они? Может быть, просто неудачники, как он сам? Или, наоборот, сугубо принципиальные, беспощадно идейные, как Николай Михайлович, в силу своей убежденности не терпящие компромиссов и потому не ужившиеся в обществе, вышвырнутые им в мир отверженных? Но ведь это люди безоговорочно честные, ставящие интересы общества выше личных! Как же так?

Разобраться во всем Алтайскому было пока не под силу. Он решил, что для этого мало иметь свежие мозги и быть немного сытым. А еще надо время, и оно, пожалуй, у него есть... Двадцать лет — это ведь целая жизнь. Значит, и сына своего он сможет увидеть уже взрослым. Если, конечно, сможет.

...Когда уральская весна свесила первые сосульки с крыш, ярче сделались тихие вечерние зори, заметнее стали теплые струи в вечернем холодке.

Алтайский метался по зоне — ему опять не повезло. Резная шкатулка, которую он сделал, понравилась многим: затейливый, придуманный им самим белый орнамент на темно-вишневом фоне. И сегодня ее удалось продать. Это значило: будет табак, можно будет купить дополнительную пайку хлеба, кусок соевого жмыха или, если повезет, картошки.

Наскоро проглотив ужин, Алтайский вышел из столовой. И вот счастье: в скверике напротив только что при-

бывшие этапники-бытовики продают картошку, крупную, чистую и без ростков.

— Почем? — нащупывая в кармане красную тридцатку, спросил Алтайский.

— Тридцать рублей котелок.

— А килограмм? — еще раз спросил Алтайский, прикидывая про себя, что надо бы также достать махорки и хлеба.

— Кто тебе вешать будет? — буркнул продавец с хитрой рожей. — Хочешь — бери, не хочешь — мотай! Смотри, какая картошка!

И Алтайский решился, подал деньги.

Продавец расплылся в улыбке:

— Ну, вот и порядок!

Алтайский начал снимать телогрейку, чтобы высыпать туда картошку, но продавец остановил его:

— Зачем? Бери с котелком! Видно, что порядочный мужик, котелок принесешь.

— Конечно, принесу! — радостно ответил Алтайский, по-новому взглянув на рожу продавца, как показалось, уже совсем не хитрую. Продавец доверчиво и простецки протянул ему полный котелок с верхом. «Как обманчиво первое впечатление», — в назидание себе подумал Алтайский.

Дружески улыбнувшись, Алтайский направился к бару.

— Я сейчас, — бросил он на ходу.

— Дыбай, дыбай, — снисходительно разрешил продавец.

Показалось Алтайскому или так и было, но в разрешении продавца да и в самом тоне реплики послышалось некоторое пренебрежение.

Алтайский подумал: «Конечно, бытовик одет лучше, курит папиросы, рядом с картошкой у него лежит подсохший хлеб, а я, доходной и оборванный, в его глазах...»

— Эй ты, мужик! — раздался голос над самым ухом, и одновременно сильная рука повернула его на месте.

Перед Алтайским стоял детина на голову его выше и легонько поматывал перед носом объемистым кулаком.

— Куда прешь котелок?

— Да вот я купил... Вон у парня...

Рука Алтайского, показавшая место в скверике, беспомощно опустилась — там, где несколько секунд назад лежали торбы, было пусто.

— Я, честное слово, купил, — беспомощно сказал Алтайский. — Вот тут парень был, я ему котелок обещал принести сейчас же...

— Что ты, гад, финтишь! — вырывая покупку, рывкнул детина. — Нет такой падлы, которая может продать мой котелок! Скажи спасибо, что не хочется мараться о твои сопли!

Детина повернулся и пошел, не оборачиваясь.

По дороге в свой барак Алтайский встретил бригадира:

— Иди в бухгалтерию премию получать, — на ходу сказал тот.

Алтайский опять ожил: везет — если не одним, так другим образом он будет сегодня сыт и с табаком!

Когда подошла его очередь, он расписался в ведомости в получении 35 рублей и вопросительно взглянул на кассира, который почему-то и не думал отсчитывать деньги.

— У тебя промот, — сказал кассир. — Иди. Следующий!

— Какой промот? — взмолился Алтайский.

— Рубашку промотал, — невозмутимо ответил кассир, — цена 22 рубля, плюс начет за промот — как раз 35 рублей.

— Да не промотал же я! — сказал Алтайский и, почувствовав, что убеждения не помогут, неуверенно добавил. — Я сразу же заявил в бухгалтерию, когда рубашку у меня украли в бане...

— Правильно сделал, — спокойно ответил кассир, — теперь рассчитался и проваливай! Много вас тут таких!

Алтайский повернулся к выходу, но успел услышать, как кассир добавил ему вслед:

— За стакан махры сменял и сразу же заявил... Хитер!

«Докажи, что ты не верблюд!» — безнадежно подумал Алтайский и бесцельно побрел к скверику. Повернув за угол барака, он чуть не ткнулся головой в знакомое брюхо Кузьмина.

— Здравствуйте, гражданин капитан.

— Алтайский? Как дела? — бодро спросил Кузьмин, оттаиваясь.

— Вашими молитвами, — ответил Алтайский, у которого от неудач дня вдруг родилось смешливое настроение.

— Я же не архиерей — чужие грехи замаливать, — снисходительно улыбнулся Кузьмин. — Нового-то что?

— Да вот я и говорю — от ваших молитв сподобился!

— Как это?

— Срок, выходит, получил соответственно молитв...

— Но! И сколько? — Кузьмин вытянул шею, а услышав ответ, удивился. — Много... Я ж писал на десять...

— Значит, вы пишете по заказу?

— Что вы кривляетесь, Алтайский? — невозмутимо возразил Кузьмин. — Вот и доигрались! Зайдем ко мне!

Алтайский поплелся сзади. Начищенные сапоги и галоши, которые мелькали у него перед глазами, уже не казались ему вызывающими и надменными, какими они сохранились в памяти, — видно было, что человек спешил на работу, спешил начать трудиться. Хороша или плоха, полезна или бессмысленна эта работа — в конце концов не ему судить об этом, нервы в этой работе затрачиваются еще какие. Вон Кузьмин даже огорчился при известии о чужой судьбе. Очевидно, искренне верит в серьезность своего труда и его ценность...

Алтайский продолжал смотреть на шлепавшие впереди сапоги и неожиданно сам себе улыбнулся — так нелепо было думать, что ему придется сидеть 20 лет по милости этих сапог. Нет, не сапог! Сапоги трудятся, стираются, изнашиваются — их выбрасывают. И как сапог ни старается, ему не сравниться с волчонком и никогда не дорасти до волка... Где они? Кто?

Буркнув что-то дневальному, Кузьмин провел Алтайского в знакомую комнату.

— Значит, двадцать? Ну, ладно... Отдохнуть хотите?

— Старые лагерники говорят, что день кантовки — это лишний год жизни, — ответил Алтайский. — А я теперь лагерник в законе...

Кузьмин сел за стол и быстро что-то написал на обратной стороне клочка типографской карты.

— Курите?

— Конечно! — сказал Алтайский, и глаза его зажглись надеждой — неужели удастся покурить?

Кузьмин открыл ящик стола.

— Знаете что, Алтайский, — сказал он, роясь в ящике, — зайдите еще завтра. Мало у меня сейчас курева. Вот возьмите, а записку передайте нарядчику.

Алтайский остолбенел: на столе лежали четыре пачки махорки — это была невиданная удача.

— Спасибо, — смущенно сказал он, засовывая драгоценность в карманы, и искренне добавил: — знаете что, ка-



питан, дайте мне сто пачек махорки и сто лет сроку. Честное слово, соглашусь...

Алтайский замолк, взглянув случайно на Кузьмина. Лицо того окаменело, он встал и дико заорал:

— Пошел вон!

Алтайский подхватил записку со стола и выскочил на улицу.

Вот так история! И кой черт дернул его за язык! Но ведь действительно, скажи подследственным в изоляторе, что за каждый год срока они получают по пачке махорки, все будут довольны — и следователи, и подследственные!

Значит, Кузьмин искренне верит в свою работу, и он, Алтайский, своей дурацкой откровенностью грубо вторгся, может быть, в святая святых этого человека, который, пусть непонятно, но по-своему, очевидно прав.

Вечером, уже засыпая, Алтайский вспомнил про записку Кузьмина, достал ее и прочел: «Нарядчику. Оставить в распоряжении ОЧО Алтайского сроком на 7 суток».

Это же отпуск — вот замечательно! И завтра и еще шесть дней можно будет не ходить на работу — отдыхать, починять одежду, спать, курить досыта и, может быть, сделать еще одну шкатулку.

## Часть вторая. НЕВИДАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.

### Глава 1. ШТРАФНИК

После встречи с Кузьминым и «отпуска» Алтайского неожиданно перевели в штрафную бригаду. Была ли это «милость» Кузьмина или начал действовать неумолимый лагерный закон, по которому через систему «стукачей» начальству становилось известно каждое неосторожно сказанное слово, но факт был фактом. Не помогли даже ходатайства начальника цеха ширпотреба, где работал Алтайский.

Бригада штрафников-строителей при численности, близкой к полсотне, имела в своем составе лишь десять настоящих плотников. Поскольку бригада состояла только из людей, в чем-то провинившихся, то ходила она под отдельным усиленным конвоем. Бригадир Сашка Макаров, земляк Алтайского, покачал головой и развел руками:

— Скажу тебе откровенно, Юрий, на кой черт ты мне нужен? Но никак не мог от тебя отвертеться. Говорят, что бежать хочешь и точка. — Сашка зло улыбнулся, но костистое лицо его в этот момент стало добрым. — Говорю им: чушь, куда такой доходной убежать может? А мне толкуют про Алешу Светлова и про то, что есть точные данные... И продал тебя Иоська Бессехес, который сидел с тобой в одной камере в Амазонке. Что ты там такое брякнул?.. Да ты садись!

Алтайский сел на голый, без постели, нижний ярус «вагонки», ему захотелось покурить. Он потрогал уже пустой кисет в кармане и опять почувствовал с собой что-то неладное. За последнее время голова стала необычно тяжелой, в местах укусов вшей оставались красные пятнышки, которые так и не проходили. От затяжки махоркой голова начинала кружиться, но при этом как-то светлела и обязательно вспоминалось что-нибудь хорошее: дом, родители, жена, сын... Так что же такое он брякнул тогда в изоляторе? Но без затяжки думалось туго, в голову не приходило ни одной путной мысли.

— Слушай, — прервал его молчание Макаров, — ведь тогда все мы, коротая дни и вечера, рассказывали какие-нибудь истории. Ты ничего не рассказывал?

— Рассказывал... — с трудом припомнил Алтай-

ский. — Про оборону Порт-Артура говорил... Про расстрел царской семьи здесь, в Екатеринбурге... Про Солоневичей...\*

— Ну, я понял, — сказал Макаров. — Я ведь тоже за это загремел в штрафники. Рассказал книгу Бориса Солоневича «За монастырской стеной», это о том, как два бывших комсомольца бежали с Соловков... Плохи наши дела — нельзя никому ничего говорить. Советую тебе запомнить: здесь не понимают, что человек может что-то сказать просто так, без цели. Неосторожное или случайное слово не только передадут кому надо, но еще и обязательно первернут. Не откровенничай, а еще лучше — молчи... Завтра переезжай ко мне в бригаду.

Алтайский доплелся до своего барака, когда все уже спали и только дневальный клевал носом, вырисовываясь на фоне красного прямоугольника раскрытой печи с раскаленными углями. Стараясь не шуметь, он дошел до нар, где лежал его раскатанный бушлат-подстилка. Между нарами пробежала большая крыса, и Алтайский, ложась, на всякий случай прощупал рукав бушлата, где хранился кусочек мыла, завернутый в тряпочку. Утром надо было не прозевать завтрак с бригадой Макарова, которую кормили раньше, чем бригады из цеха ширпотреба. Это была последняя мысль перед спасительным сном...

Утро выдалось сырым, холодным. Плохо спасала накинутая сверху дырявая телогрейка — нельзя было закрыть ею все, что мерзло, особенно ступни ног, обмотанные обрывками разномастных портянок. Алтайский вскочил, быстро направился к выходу, но заметил на полу что-то знакомое. «Утащила-таки, проклятая», — подумал он, наверное, вслух, так как сразу замолк чей-то храп. Юрий наклонился и подобрал с полу развернутую тряпку, в которой остался совсем маленький кусочек мыла со следами крысиных зубов: «Вот тебе и постирал наволочку думки!» А думка была единственной вещью из дома, которую он еще не продал, не променял, не проел...

Алтайский сунул огрызок мыла в карман, выскочил на улицу и поспешил в столовку, где бригада Макарова уже усаживалась за столы. Капустное варево, как всегда, было постным — без следов жира, но горячим. Вместе с хле-

---

\* Братья Солоневичи, Борис и Иван с сыном Юрием, бежали из Свирьлага. Позднее И. Солоневич издал в Болгарии книгу „Россия в концлагере“.

бом — черным, сыроватым — оно все-таки дало почувствовать животу приятную теплоту.

Перед большими воротами, внутри зоны, скоро стал собираться народ на развод по местам работы. Шли сделки: кто менял украденный у лошадей жмых на хлеб, кто — хлеб на табак, на овсяный кофе, который хорошо было есть ложкой, размешав с пайкой сахара. Дымились закрутки и козьи ножки, дым щекотал ноздри, но было ясно, что никто не даст даром даже «бычок» на одну затыжку.

Бригада строила бревенчатый дом для охраны. Шкурить и обтесывать нетолстые бревна было нехитрой наукой. Алтайский освоил ее за два-три дня, а на четвертый, напрягаясь из последних сил, дал норму. Однако когда пришла очередь получить за это дополнительный паек в виде порции каши, Макаров сказал:

— Пойми сам, разве я могу дать доппаек тебе, подсобнику? Мне надо кормить плотников, ведь больше лимита бригада все равно не получит.

Логика была железной, Алтайскому не оставалось ничего иного, как признать решение бригадира справедливым. И скоро наступил день, когда на очередной медкомиссии-комиссовке у Алтайского установили дистрофию II степени, а также пеллагру и цингу. Макаров вынужден был перевести Алтайского на работу в зону — дневальным в бараке бригады.

Работа была нетрудной: с утра мыть грязные некрашенные полы, таскать воду в бачки и умывальник, а потом до прихода бригады отдыхать. Вечером вода лилась рекой — по ведру на брата: кто-то смог достать картошку или картофельные очистки, кто-то приносил соленые рыбы головы, кто-то ухитрялся забраться в огороженную зону столовки и там набрать в отвале отходов картофелекиски со следами крахмала. Все это мылось, процеживалось, варилось, парилось, жарилось и съедалось вместо доппайка.

Алтайский изобрел свой способ подкармливаться, он пользовался им, пока другие не переняли опыта. В столовке начали выдавать вяленых окуней. Шкура у них была толстой, легко отдиралась, она оставалась на столах и была его добычей. Алтайский очищал шкуру от чешуи, а потом размачивал в воде — получалось варево с клейким белковым наваром и глазками жира. Но это была трудоемкая работа, которая отнимала все свободное время. Случайно

Алтайский открыл способ ее облегчить. Оказывается, шкуру можно было сделать съедобной, если равномерно подрумянить на раскаленной плите чешуей вниз. Шкура похрустывала на зубах, а съедаемая вместе с хлебом напоминала по вкусу давно забытый бутерброд с икрой. Несмотря на возникшую вскоре конкуренцию, дела у Алтайского пошли было на поправку, однако недели через две вяленые окуни кончились — вместо них привезли соленую рыбу, а от нее никаких шкур не оставалось...

Свободного времени оказалось много, Алтайский смирился с тем, что, несмотря на все свои старания, не в силах прокормить себя, преодолеть процесс физического угасания. Он гнал мысли о еде, поскольку знал, что, растравливая себя, дойдет до предела — начнет собирать рыбы головы, лазить по помойкам, куда и вороны заглядывать стесняются, и кончит дистрофическим неудержимым поносом, от которого нет спасения. Ради сохранения калорий нужно было больше спать, но сон не шел — мысли невольно уносились к дому. Детали домашнего быта, привычки родных — все это приобрело ощутимые до галлюцинаций формы, которые становились все милее и милее.

Вокруг Алтайского кипела борьба за жизнь, и он тоже должен был в ней участвовать. То ли где-то воровали часть пайкового довольствия, то ли так было кем-то задумано с самого начала, только кормежка не возмещала потерь калорий на работе. Поэтому воровали овес и жмых у лошадей, козеин и политуру в столовке. Если овес и жмых «политики» ели сами, то политуру продавали «бытовикам» в обмен на хлеб, крупу или махорку. «Бытовикам» было легче. Они, во-первых, хорошо знали, где и что можно украсть, не миловали при этом своего же собрата заключенного; во-вторых, умели воровать. Во всяком случае, «бытовики» были сыты, им не хватало только баб и выпивки. Политуру они пили, солью осадив смолы на дно посуды. Селедка, наверное, окаменела бы от такой концентрации соли, но то селедка, а не брюхо уголовника. Уголовники умели найти и женщин, даже «свадьбы» они устраивали в зоне. Алтайский стал свидетелем одной из них.

В бараке, где дневалил Юрий, кроме бригады Макарова размещалась бригада Федорова. Федоров чувствовал себя как рыба в воде, был сыт и здоров как бык, хотя его бригадники «доходили». Они люто ненавидели бригадира. Но и боялись — за малейшую провинность от Федорова можно было получить по загривку, недополучить полпайки или

вообще сесть на штрафную пайку. Федорову не хватало только «жены» — жена, оставшаяся дома, была, конечно, не в счет. Жениться — так жениться, и Федоров вскоре показал свою «невесту» — Тамару Тумбадзе. От некогда красивой и пышной Тамары оставалась только тень, «жених» начал ее подкармливать, но Тамара не поддавалась. И случилось невероятное: Федоров сделал ей предложение — закрепить узы церковным браком. Против этого Тамара не устояла... Одетый в телогрейку протоиерей Серафим Труфанов под нестройное пение хора «доходяг» «Исайя ликуй» обвел молодых за неимением амвона вокруг барочной тумбочки, закрытой для приличия невесть где добытой лошадиной попойкой...

Итак, свадьба состоялась — пира не было, но брачная ночь была... в этом же самом общем мужском барак: двухэтажная «вагонка» в углу, отгороженная одеялом, скрипела всеми своими деревянными клиньями и, наверное, развалилась бы, но помешал отбой ко сну... То ли помогли молитвы и проклятия «доходяг», которые, укладываясь спать, плевались и матерились, глядя на качающуюся «вагонку», то ли кто-то «стукнул», но «молодую», несмотря на протесты «мужа», надзиратель уволок в изолятор.

## Глава 2. ПРОЩАЙ, ТАВДА!

— Юрий, про тебя спрашивал Иоффе, — сказал как-то вечером Макаров. — Говорил, что хочет взять тебя в Туринск завод восстанавливать.

— Куда мне восстанавливать... — едва слышно вытянул из себя Алтайский.

— Ты что, не знаешь? Завод в Туринске дрожжевой, отожрешься там на этих дрожжах!

Алтайский сначала расстроился — какой дурак его подпустит к дрожжам, когда он такой запущенный, что его, как выразился один из уголовников, соплей перешибить можно — просто у Макарова есть другой кандидат в дневальные и ему надо от Алтайского избавиться, вот и сватает... Однако через два дня сам Иоффе нашел его и пригласил в УРЧ\*.

---

\* УРЧ — учетно-распределительная часть.

Иоффе был бесконвойный заключенный-бытовик. Про него говорили, что он сел за миллионную аферу, живет хорошо, так как успел обеспечить всю родню, получает посылки, деньги и, когда выпьет, хвастается, что будет жить безбедно всю жизнь, а отсидит всего один раз. Работал он техноруком, по совместительству состоял неофициальным советником начальника управления лагеря.

Иоффе был в белом полушубке, из-под воротника которого выглядывали красивый шерстяной шарф и чистая рубашка с галстуком. На фоне заморенных блеклых лиц его лицо выглядело холеным, небольшие усики были аккуратно подстрижены.

Обращение Иоффе с начальником УРЧ было снисходительно-покровительственным:

— Иди, не мешай, дай поговорить с человеком.

Начальник, к удивлению Алтайского, послушно вышел из собственного кабинета.

— Значит, так, Юрий... Кажется, Федорович?

— Да нет, просто Юрий, — сконфузился Алтайский.

— Я узнавал, вы инженер-химик. Техническая подготовка у вас есть, а это главное. Все остальное, Юрий Федорович, со временем восстановится. Мы должны наладить производство кормовых дрожжей на нейтрализованном сульфидном щелоке... Вы понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю. Только я...

— Вижу, дорогой, все вижу. Но если человек еще живет — значит, не все потеряно, а вам будут созданы неплохие условия.

Алтайский все-таки попросил время подумать:

— В таком состоянии я боюсь браться за дело, не имея уверенности в успехе, просто не имею права ничего обещать...

— Очень хорошо говорите, — довольно сказал Иоффе. — Вы очень порядочный человек, такой нам и нужен. Пожалуйста, думайте. Вот вам от меня.

Иоффе протянул десятку и пачку папирос «Ракета».

«Деловой человек», — уважительно подумал о нем в свою очередь Алтайский, направляясь после разговора к Руфу Ананьину за советом.

Совет был однозначным и категоричным — ехать без всяких раздумий и не быть дураком.

...Через несколько дней состоялся последний разговор Алтайского с другом детства Димой Крутовым, которого он

нашел в предбаннике в зоне стационара лагпункта — помещать вольных было больше некуда. На Диму страшно было смотреть, хотя Алтайский сам был едва ли лучше. Дима «доходил» инертно, безучастно, не возмущаясь и не протестуя.

Встреча была грустной, Алтайский пытался подбодрить, обещал поговорить о нем по приезду в Туринск как о бывшем студенте-химике и попытаться вызвать по спецнаряду. Дима загорелся на секунду, но тут же ушел в себя, в свою тоску и безнадежность. Оба больше молчали, оба чувствовали, как души их плачут, но сами не плакали, сдерживались — понимали, что плач явный отнимет последние остатки сил.

В июле Алтайского увезли, и в этот же месяц Дима тихо угас от дистрофического поноса. Никому, никогда не найти его косточек и могильный холмик из холодной уральской земли — нет таких кладбищ!

Где хоронили заключенных? И хоронили ли вообще? — на эти вопросы должны ответить те, кто «охранял» Крутовых — товарищи с автоматами и собаками.

В поле или в лесу, среди скал, в шахте, в земле при копке канавы или ямы под столб — везде, в любом месте нашей необъятной страны, от Балтийского моря до Берингова, — можно наткнуться случайно на истлевшие человеческие останки. Знай, добрый человек, если доведется тебе их увидеть, — это может быть твой отец, брат, муж, сын, которого когда-то уволокли от родного очага недобрые люди...

Не удивляйся, если череп будет иметь бесформенным пролом, пробоину молотком — это «пропуск» на покойного, который выдавали вахтеры при вывозе трупа из зоны. А вдруг это и не труп вовсе, а беглый, искусно притворившийся покойником?! Что же, этаким пропуск любого беглого превратит в покойника. Вот так. А самому садиться вместо беглого — кому же это охота?

\* \* \*

Туринск. Тринадцатый особый лагерный пункт, сокращенно ОЛП-13. Большая жилая зона с выгороженной частью для женщин. Бараки, палисадники, много цветов и комаров. К жилой зоне примыкает промышленная: выкатка сплавной древесины из реки Тура, лесозавод, углевыжигательные печи, дрожжевой завод, электростанции при заво-



дах с приводами от машин, которые питаются паром снятых с паровозов котлов.

Чуть брезжил рассвет, когда Алтайского сдал на вахту безоружный надзиратель — так полагалось при сопровождении направляемых по спецнаряду, — сразу и забыли, что Алтайский из штрафной бригады кандидатов в беглецы.

Вахтер показал, как пройти к столовой:

— Там и подождите подъема.

К Алтайскому сразу же стал приюхиваться завстоловой Штеккер — полный, добродушный человек с резко-еврейским выговором русских слов, прилично и чисто одетый.

Алтайский невольно взглянул на себя — его одеяние нельзя было и нарочно придумать: рваные, внутри — меховые, а снаружи — парусиновые японские ботинки (это в июле-то месяце!), некогда белые штаны с синим карманом поверху, нижняя рубашка под распахнутой, без пуговиц, изрешеченной искрами костров, потерявшей цвет телогрейкой... Как он не попросил Иоффе о выдаче приличной одежды, хоть немного попрличнее той, что была на нем сейчас!?

Штеккер сделал вид, что не заметил смущение Алтайского, дал понять, что встречают здесь не по одежде, и даже рассказал какой-то еврейский анекдот. В общем, позаботился о том, чтобы Алтайский преодолел скованность. Затем он сам принес полную миску супа с бобовыми жмыхами, а когда узнал, что Алтайский приехал по наряду Иоффе, то велел еще подать жареную картошку с добрым куском жирной селедки. Алтайский слопал все (жареную картошку он ел в последний раз дома), а после этой обильной еды во время разговора со Штеккером совершенно неучтиво заснул, сидя за столом...

После подъема Штеккер его еще раз покормил, посоветовал подождать в полисаднике перед столовой, сказал: «Я все устрою», — и исчез.

Некоторое время спустя к Алтайскому подошел высокий худой человек в очках и отрекомендовался:

— Рейтер Владимир Владимирович. Мне сказал завстоловой о вашем приезде.

Фамилия показалась знакомой. Алтайский напряг память и вспомнил, что некий Рейтер руководил сахарным заводом на станции Ажихе, что в 30 километрах от Харбина.

— Да, это был я, — подтвердил Владимир Владимирович. — Выходит, мы земляки?

Завязался разговор. Время до развода прошло быстро. Рейтер успел познакомить Алтайского с лаборанткой Галиной Павловой, бригадиром Сашей Завьяловым, механиком Адамом Малышевским — все пятьдесят восьмая. Подошли Коля Астафьев — да, тот самый Коля, которому Алтайский когда-то продал украденные ботинки, потом Саша Шабельник, еще один земляк.

То, что увидел Алтайский при разводе, поразило его, он готов был провалиться сквозь землю от стыда...

Женщины и мужчины были опрятно и чисто одеты в гражданское: пестрые платья с кокетливыми косыночками вместо просмоленных телогреек и бесцветных шапок, ботинки и туфли вместо чуней и бахил,\* перевязанных веревочками. В беседке, около линейки, на которой собирался народ перед разводом, начались танцы под два аккордеона.

Среди собравшихся на линейке попадались на глаза и «доходяги», но большинство из них куда-то прятались. Алтайский все же успел заметить несколько осуждающих, сверлящих, огненных их взглядов, направленных на веселящихся, и еще раз понял, что планета наша действительно для веселья плохо приспособлена. Когда открылись ворота, Алтайский увидел, что «доходяг» все-таки большинство — это были люди, недавно попавшие в лагерь, не имевшие родственников на «воле», такие же, как он сам, как все «маньчжурцы». Старички же, зэки со стажем, если оставались живы, то приспособивались, особенно те из них, кто получал посылки, вещевые и продуктовые, — жизнь брала верх...

В этот же вечер лаборантка Галя Павлова, стройная, красивая и очень милая брюнетка, вдребезги разругалась с каптером, но зато Алтайский получил кожано-брезентовые ботинки, сине-зеленые узковатые снизу брючки из тонкого материала, солдатскую гимнастерку, приличную телогрейку, а также трусы и майку — все первого срока, неношенное.

После бани, когда он, вымытый, выбритый, приодетый и хорошо накормленный Штеккером, появился в компании

---

\* Ч у н и — подобие ботинок, сделанных из остатков автомобильных покрышек; бахилы — чулки до колена, сшитые из списанных в утиль телогреек и бушлатов.

заводчан, впервые за последние месяцы мир показался ему не таким уж и плохим. Алтайский заметил теплый Галин взгляд, когда она пригласила его танцевать, — после ужина до отбоя опять были танцы. Но танцевать Алтайский не смог, даже если бы захотел, поэтому показал пальцем на свои мало приспособленные для танцев ботинки на резиновом ходу и с виноватым выражением на лице развел руками.

Коллектив дрожжевого завода был небольшим. Производство восстанавливалось, была уже пущена электростанция, действовал паровозный котел, монтировались трубы, насосы, прессы, трансмиссия — в общем, работы было невпроворот. Одновременно велись опыты по выращиванию дрожжей на нейтрализованном сульфидном щелоке. Сульфидно-целлюлозный завод был рядом, он с готовностью был бы рад отдать соседям щелок, который пока без очистки сбрасывался в реку Туру. Польза от этого ожидалась двойная: изготовление из отходов дрожжей — дополнительной продукции, очень нужной разоренной войной стране, и очистка стоков от фурфурола — наиболее вредного компонента, выпариваемого при нейтрализации щелока на дрожжевом заводе.

Подготовка дрожжевого производства к пуску вступила в завершающую стадию — Алтайский должен был поспевать всюду, ему некогда стало думать даже о еде. Рейтер больше сидел в лаборатории — пережитая дистрофия и возраст делали его малоподвижным, но как советник и в этом состоянии он был незаменимым. С Рейтером у Алтайского сразу установились теплые дружеские отношения — друг друга они дополняли, понимали с полуслова и многие вопросы решали взглядами или коротенькими репликами.

Через месяц наступил день, когда завод дал первую продукцию — белковые пищевые дрожжи «манилия мурманника».

В крутеже дел Алтайский начал медленно поправляться, но только не больничный рацион и не паек отличника были тому причиной. Алтайский брался за все, что можно было сделать и что находилось в пределах его понимания. Это напряжение оставшихся сил и всех его возможностей — знаний, опыта, изворотливости, ослиного трудолюбия — как-то само собой позволило начать выкарабкиваться из тупика дистрофии. Алтайский понимал, что наступившее благополучие — временно, ненадежно и что оно

нисколько не зависит от него самого: сегодня сыт — и слава богу, а завтра — черт знает, что будет, если вдруг придет в голову какому-нибудь начальничку бессловесного, бесправного раба отправить в лес, где закон — тайга, прокурор — медведь, где место на нарах и деревянный бушлат — близкие соседи...

Алтайский старался, совершенно не думая, что и для людей он что-то делает. Какие-то идеи, высокие материи были не просто недостижимо далеки от него, они были не нужны, даже вредны, так как могли помешать действиям ради целей самосохранения. И не один Алтайский был таким, окружающие мыслили точно так же, жили тем же... Все зависело от той ступени, на которой находился человек, — ступени его физического состояния. Одному для полного благополучия не хватало куска хлеба, другому — куска мяса на хлебе, третьему или третьей — одежки, четвертым — мыла, выписви, мужиков или баб. И вот эта-то последняя ступень — верх животного благополучия — была потолком, пределом, дальше и выше которого не могла подняться мысль заключенного.

В глубине сознания у Алтайского мелькали иногда эти горькие мысли, но он гнал их от себя прочь, старался не думать о будущем, а делать все возможное для себя, для людей, но прежде всего ради себя, улучшения своего физического состояния...

По просьбе лагерного начальства Алтайский сделал мыло из жижицы. Теперь его можно было расходовать в бане по потребности. Того, что выдавал лагерь по норме, хватало лишь для намыливания головы, тело было мыть нечем, поэтому хоть и старалось начальство «пропекать» одежку в «прожарках», вшивость не уменьшалась.

Рейтер по своей физической слабости варить мыло не мог, тем более что от скипидарного чада при этом можно было потерять сознание — варить-то приходилось в открытых чанах. Назначенный директором завода вольнонаемный Иван Иванович Бартель, из ссыльных немцев Повольжья, разрешил Алтайскому самому выполнять заказ. Мало получилось, но его требовалось так много, что пришлось выбирать, что делать: мыло или дрожжи, которые заменяли мясо и были все-таки нужнее...

В один добрый день Алтайскому неожиданно пришла в голову мысль попробовать изготовить мыло иначе — он смешал в ванночке растопленную олеиновую кислоту с раствором каустика и без нагрева, холодным способом по-

лучил натриевую соль олеиновой кислоты — чистейшее мыло.

— Что это такое? — спросил Бартель, подозрительно поглядывая на неказистый коричневый кусок, который Алтайский положил в раковину для умывания в заводской лаборатории.

Алтайский молча открыл кран, начал мылить руки. По мере того, как образовывалась белая пена, глаза у Бартеля приобрели хищное выражение, не очень учтиво он оттолкнул Алтайского от раковины.

— Не могу понять, Юрий, откуда ты взял такой жирный собака? Я сам варил — похоже, но теперь и на воле собак мало, тощий все, а где взял собака в лагерь?

— Иван Иванович, да я бы сначала сделал мыло из того, кто убьет собаку! — сказал Алтайский под смех Павловой и Рейтера.

— Не понимаю! — повторил Бартель, вытирая руки о штаны, хотя Павлова протягивала ему полотенце. — Человечий жир, что ли?

— Да, окорок Штеккера, — подтвердила Галя Павлова.

В это время раздался стук в дверь, и на пороге появился сам Штеккер, тучный, улыбающийся. Он церемонно склонил голову:

— Рад приветствовать начальство!

— Мне сказали, — серьезно произнес Бартель, — видишь, вот мыло сделан из твой окорок. А твой окорок на место?

На смех в лабораторию заглянул дневальный — старичок Шиянкин с округлившейся от дрожжей физиономией. Не зная причины смеха, он тоже начал хохотать. Бартель немедленно выставил его за дверь.

— Что это вы меня, директора, начал разыгрывать? — улыбаясь одними глазами, сердито выдавил Бартель.

— Нет в этом мыле ни собачины, ни человечины, — пояснил Алтайский. — Что такое мыло? Это соль высших жирных кислот с количеством атомов водорода в молекуле не менее шести. Олеиновая кислота, которую мы применяем, чтобы осадить шапку дрожжей над бродильным чаном, тоже высшая жирная кислота. Понятно?

— Черт с тобой! — согласился Бартель. — Пусть мыло будет соль. Дай мне кусок, пойду покажу жена.

Обернув мыло застиранным носовым платком, Бартель ушел.

— Можно попробовать? — спросил Штеккер, а после пробы изрек: — Это мыло я покупаю у вас в любом количестве.

— Заключайте контракт, Юра, — сказал Рейтер, — олеиновой кислоты у нас тонны.

— Я буду всех вас кормить отдельно, — добавил Штеккер, заметив голодный огонек в глазах Рейтера.

Сделка состоялась в скромных масштабах: два куса мыла в неделю на кухню и один лично Штеккеру в обмен на еду, которая оставалась в столовой за счет «посылочников». Галя ушла, не желая смущать мужчин своим присутствием при торге. Рейтер пояснил, что посылки ей из Кироваграда часты и обильны...

### ГЛАВА 3. МОЖНО ЛИ БЫЛО ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ?

Рабочее место Алтайского находилось в лаборатории, штабквартире завода, поэтому некоторые анализы он делал сам. Это не было актом недоверия к лаборантке Галине Павловой, просто Алтайский работал быстрее и точнее, а Галина это хорошо понимала. Им приходилось подолгу сидеть за лабораторным столом друг против друга. Алтайский уже знал, что у Гали есть лагерный «муж» Миша-бытовик, неудавшийся студент, ставший вором-одиночкой, специалистом по ограблению попутчиков в поездах дальнего следования. Галя нехотя познакомила его с Алтайским, при этом очень засмушалась, не зная, как его назвать, сказала: «Это знакомый, Миша...»

Рассказывали, как Мишу поймали однажды надзиратели у Галиной кровати в отдельной кабине — комнате при бараке в женской зоне, где она жила. Поймали и велели обоим собираться в изолятор. Сожительство наказывалось, им грозил штрафной лагпункт в разных местах.

— Меня ведите, а ее оставьте. Она только пришла и застукала меня...

Надзиратели хихикнули.

— Напрасно смеетесь, она действительно ни при чем. Я — вор, вы знаете. Вчера она получила посылку, за этим я и пришел. Но меня пока не за что садить в изолятор, я ничего не успел взять, — и Миша сокрушенно развел руками.

В общем, надзиратели пожалели, что зашли: как-никак Миша социально близкий элемент, а Павлова политиче-

ская — надо было дать Мише успеть перетрясти ее посылку, живет как цаца! Мишу отпустили с миром.

Недели через две после знакомства Алтайский встретил Мишу — симпатичного, даже красивого парня, хорошо сложенного, почти всегда улыбающегося и, безусловно, развитого, судя по разговору и быстроте реакции.

Короткий разговор закончился словами Миши, которые прозвучали для Алтайского, как удар грома с ясного неба:

— Стоишь ты Галины, а мне атанда.\*

Алтайский возмутился:

— Зачем это? Женщины для меня не существует вообще.

Миша был ему симпатичен, а что может означать женщина перед зарождающейся мужской дружбой! Он так и сказал, но Миша с чувством пожал Алтайскому руку и пошел куда-то, понуриив голову.

Сначала предположение Миши показалось Алтайскому смешным: крепкий, здоровый, веселый и находчивый Миша не мог быть даже сравним с ним — полуживым «доходягой», человеком с застывшими чувствами и эмоциями. Неужели Галя не замечает, что на котелок с кашей Алтайский смотрит куда более вожделенно, чем на нее — миниатюрную и красивую, как «Незнакомка» Крамского?..

Чувства застыли. Но так ли это? Может быть, они только заморожены, скованы прошлым и настоящим, но найдутся ли силы, которые их растопят?

Как-то Алтайский пошел с Галей на реку проверить водозабор завода и взять пробу воды. На обратном пути они нашли на склоне овражка землянику, собрали ее и начали выкарабкиваться наверх по крутому склону. Алтайский потянул девушку за руку, и ему вдруг захотелось плакать — мягкая нежная рука, ее пожатие ударило как током — столько времени он ощущал только свои огрубевшие грязные кисти, покрытые коростами смолы. Лучше бы ударила его эта мягкая рука, превратившись в когтистую лапу...

Галя заметила, что Алтайский чем-то смущен, прячет глаза, истолковала это по-своему и неожиданно прикоснулась своим лицом к небритой щеке Алтайского.

— Как это хорошо и как грустно, — тихо сказал Алтайский.

---

\* Атанда — воровской термин (искаженное лат. atende — внимание, опасность), в данном случае „быстрее уходи прочь“.

Помня разговор с Мишей, он никак не мог решиться как-то деликатно объяснить, что не будет он «мужем» ни теперь, ни потом...

И вот опять они с Галей в лаборатории. Она ждет с радостными глазами. А он, и не глядя, видит каждое ее движение, чувствует каждый взгляд, но не чувствует зажигающей теплоты, не может представить живой огонь женского тела.

— Юра, ну что вы такой грустный? — мягко и весело спросила Галя. — А у меня новость... Я поняла, что с Мишей мы слишком разные, наша встреча была ошибкой. Ой, как это глупо!.. Вот если бы вы были на месте человека, которого я впервые искренне и глубоко, по-настоящему полюбила, смогли бы вы простить эту глупость?

Алтайский снял очки и посмотрел на Галю — как искренне и как просто сказано, и как она хороша!

Как грустно... Откуда и зачем это вдруг пробудившееся желание поцеловать вопрошающие глаза, уткнуться лицом в ее волосы, зажать в ладонях ее нежные руки и прошептать что-то ласковое?

— Юрочка, ну как, простите?

— Галя... — голос Алтайского срывался, был чужим, слова выходили не те, которые настойчиво и долго внушал разум. — Галочка, вы хорошая, вы должны быть счастливы, не простить вас может только бревно, истукан, мертвый камень...

Алтайский сказал это и увидел, как у Гали повлажнели глаза. Он обошел стол, взял в ладони обе ее руки, прижался к ним губами. Проснувшийся в этот момент разум заставил Алтайского выскочить из лаборатории.

...Больше недели Галя смотрела на Алтайского счастливыми глазами. Немного побледнели ее щеки, было видно, как ждет она продолжения разговора, которого Алтайский стал бояться. Тем не менее он начал чаще бриться, сходил даже в парикмахерскую — длинные волосы начали курчавиться. Юрий проклинал свою одежду, которой не было смены. Галя одевалась по-прежнему строго, была необыкновенно опрятна и как-то по особому привлекательна. Алтайский боялся встать с нею рядом даже на разводе — как он презирал свои грубые ботинки, волдыри на коленках брючек, уже прожженных кое-где кислотой.

Галя каждый день варила полный котелок гречневой каши с тушенкой, из которого съедала ложек пять, оставляя все Алтайскому. А Алтайский не мог заставить себя



принять эту ее заботу, хотя запах гречневой каши нестерпимо дразнил обоняние и он то и дело переглатывал слюну. Алтайский учтиво съедал несколько ложек и при этом очень боялся, что его выдаст голодный блеск глаз — такой каши он смог бы сожрать, пожалуй, и ведро! Кашу ел Рейтер, иногда с дневальным Шиянкиным. Однажды, оставшись в лаборатории один, Алтайский скребнул стальной ложкой по днищу уже опорожненного котелка, который стоял на раковине. На дне его оказалась пригоревшая прожаренная корочка. Тогда Алтайский закрыл лабораторию на ключ и выскреб все остатки с необыкновенным вдохновением... Галя, наверное, услышала через стенку, как он скреб, — во всяком случае, со следующего дня она перестала варить кашу и начала демонстративно посылать Шиянкина в столовую за обедом, к которому потом не непритрагивалась.

— Галя, так нельзя! — попробовал было урезонить ее Алтайский.

— Чем я лучше других? Чем я лучше вас? — сердито ответила Галя, но глаза ее так и обдали Алтайского теплом и грустью.

Через несколько дней они опять остались одни, и Алтайский решил, наконец, объяснить:

— Галочка, мне не очень хочется говорить, но, по-моему, надо — дальше так нельзя... Сказать, что я не смогу полюбить вас, будет неправда...

Галя сорвалась с места:

— Наконец-то! — она подошла к Алтайскому, сняла с его носа нелепые очки. Сияющие глаза ее были полны доверия, прикоснувшиеся к лицу руки были мягкими и теплыми.

Алтайский застыл и не мог пошевелиться, потом отвел взгляд и машинально начал гладить теплую женскую руку, чувствуя, как гулко бьется в груди ее сердце. Не отпуская руки, он встал, довел Галю до ее места и, снова напялив очки, сел напротив. Не поднимая глаз, не чувствуя за собой права смотреть на нее, Алтайский почти зашептал:

— Галя... Это дико, противоестественно, жестоко, но так нельзя...

— Не думай ни о чем, Юрий! Не говори! Все поправится, все будет хорошо и не может быть иначе!

— Галочка, прости — это не так! Мне очень хорошо с тобой, но еще более грустно, потому что мы никогда не будем вместе, — очень серьезно сказал Алтайский.

— Ерунда! — отрезала Галя. — Ты скоро поправишься, только не упрямличай и ешь, что я готовлю для тебя.

— Я это понимаю, спасибо. Хорошо, я поправлюсь, а что будет дальше?

— Как что? — Галя подняла брови. — Просто счастье!

— Нет, Галя, скорее всего, несчастье. Причем более обидное, чем отказ сейчас от того, чего нет. Пусть лучше останется в памяти воздушный замок, который никто и никогда не сможет осквернить.

— Что ты говоришь? Какое может быть несчастье, если уже сейчас заботиться о тебе, быть с гобой — это для меня огромная радость!

— Милый мой Галчонок! — упрямо сказал Алтайский. — Я очень хотел бы, чтобы ты оказалась права. Но беда в том, что женщина живет чувством, а мужчина разумом. Твое стремление к счастью будет новой фазой разочарования и горечи для нас обоих. Что делают с сожителями в лагере, ты знаешь — их разлучают, их делят жестоко, их порочат... Так зачем чистую мечту предавать поруганию?

— Нет! Ты неправ! Я попрошу родных прислать мне много денег, я подкуплю надзирателей — это ведь люди... И потом, может, завтра мы все погибнем, так зачем отказываться от счастья сегодня?

— Какое счастье? Ведь мы рабы! Уж лучше ты будешь для меня огоньком, который согреет в тяжелые минуты, а их у нас много впереди. Можно ли усугублять жизнь новыми потерями, когда и так тяжело? А потери эти будут, если уже сейчас мне так трудно отрываться от тепла твоих рук!

— Вот видишь! Я права... Нет, не мотай головой и тысячу раз думай еще, я согласна ждать. Я прошу тебя, ради всего святого, не отказывайся от того, что я готовлю для тебя. Обещай мне...

— Нет, Галочка, я не могу принять никаких обязательств. Я дал себе слово не быть близок с женщинами, пока я в лагере...

Галино лицо омрачило облачко, но тут же улыбка прогнала его:

— Скажи, меня ты мог бы полюбить?

— Зачем ты мучаешь меня, Галчонок? — устало выдавил Алтайский. — Я не хочу, чтобы из-за меня жизнь трепала тебя грязными лапами...

— Мыло готово? — на пороге лаборатории стоял Бартель.

Дверь была открыта, но шума и легкого скрипа, когда ее открывали, оба не слышали.

— Какой хороший дивчина! — сказал Бартель, когда Галя выпорхнула за дверь. — Тебе она нравится?

— А что толку в том, Иван Иванович? Ты же знаешь, что делают с сожителями в лагере.

Бартель помолчал, потом сказал:

— Слушай, я, наверное, понял... Давай организуем гидролиз в ночная смена — ее меньше видеть будешь. Я знаю, она бросил Миша... Сегодня вечером приходи к нарядчик, прибыл этап из Прибалтики и Ленинграда — одни девчонки, выберем самых красивый...

— Мне все равно, Иван Иванович. Однако для дела мордovorоты лучше.

— Ты верно монах. Ну тебя к черту, никуда не ходи, я сам выберу!

Когда Алтайский вышел в ночную смену, то оказался в окружении целой сотни худеньких бледных девчат, многие из которых по-русски говорили плохо. Работы ему сразу прибавилось — разве можно было заставлять этих девочек возиться с кипящей кислотой, набрасывать ремень насоса или пресса на шкив крутящейся трансмиссии, крутить задвижки, у которых то и дело вылетали хлюпкие прокладки — хороших-то не было!

Работа была на износ, как Алтайский ни пытался уследить за всем, это ему не удавалось: кто-то, зазевавшись, угодил в неглубокий канализационный колодец и сломал руку; одной из девочек, носивших кислоту в деревянных ведрах из железнодорожной цистерны, капля кислоты попала в глаз, и хорошо, что вода оказалась рядом — глаз даже не покраснел; совсем повезло, когда вылетела крышка люка кипящего гидролизера, а внизу, куда выплеснулась кипящая кислота, никого не оказалось...

Как-то днем, когда Алтайский, недоспав после ночной смены, пришел на завод для разговора с Бартеlem, он встретил Галю. Она была печальна и зла.

— Юра, как вы думаете, — спросила она, — хороший ли человек Гохман?

Гохман работал на заводе бухгалтером, был стар и пышен, как запорожский казак.

— По-моему, дело он знает, не «доходяга», получает посылки и живет лучше, чем я...

— Я не о том, — перебила Галя, — стоит ли выходить за него замуж?

Алтайский замешкался — вот так вольт! Что это — стремление поставить точку в их отношениях или влечение к удовлетворению физиологических потребностей?

— Галя, — не сразу ответил он, — не накладывайте на меня дополнительный груз, мне и без того тошно.

— А мне? — голос Гали сорвался, и она отвернулась.

— Боже мой! — взмолился Алтайский. — Галочка! Ни я и никто другой не имеют права решать за ваше сердце... Любовь зла, полюбишь и козла.

Галя резко повернулась к Алтайскому:

— Значит, нет? — глаза ее заулыбались. — Я так и думала!

— Галя... — опешил Алтайский. — Я только сказал, что не имею права решать за вас. Поймите: мне плевать на себя, на то, что со мной будет, но распоряжаться вами, подтолкнуть вас на авантюру я не могу... То, чего вы хотите, не будет даже миражом счастья, а ведь вы имеете право на настоящее счастье. Но я-то вам его не смогу дать!

— Понимаю, что я должна ждать и помогать тебе, чем смогу, — серьезно сказала Галя. — Главное, что я верю тебе, мне нужно только твое слово... А еще я верю, что ты неправ, ты просто угнетен обстоятельствами, а силища в тебе дикая, даже сейчас, энергия — безудержная. Поверь мне, я — женщина, я разгадала тебя!

— Какая ты, Галя, наивная и хорошая. Понимаю, что хочешь меня поддержать, вселить в меня веру, но что мы, крепостные, можем сделать против барина, который не велит? У барина жандармы в красных фуражках с синими околышами, автоматы, кобели, а у нас голые руки...

— Дурачок, глупенький слепыш! Забудь, что мы в лагере, забудь средневековье, крепостное право. Человек должен быть счастлив! Мы сможем жить в своем особом мире!

Алтайский взял Галину руку, задумался.

— Жизнь-то будет, Галя, — наконец, сказал он, — но собачья, с цепью на шее. Улавливать момент, когда барин отвернется, чтобы сделать запрещенное и, в конце концов, получить трепку этой самой цепью — разве это жизнь? Ты права, натура у меня сибирская, вольная, если уж возьму кого, то и отвечать буду... А если не могу, то бирюком жить обязан, как цепь велит, а крадучись ничего делать не умею...

— Понимаю я тебя и в тоже время не могу понять! — с горечью сказала Галя.

Алтайский отпустил руку Гали, которую, оказывается, он нежно гладил, сразу же почувствовал пустоту и одиночество — как путник в бескрайней, заснеженной, безмолвной степи, придавленной серым, грустным небом...

\* \* \*

Через несколько дней Бартель вызвал Алтайского в дневную смену — основная работа была все же днем.

Первые отблески осени уже пробивались в далах запестревших лесов, в порыжевших кустах по овражкам, в стальном цвете притихшей прозрачной воды в речных заводях.

Кончалась смена, когда Бартель зашел в лабораторию и недовольно сказал:

— Попутал сейчас твою Галю с Гохманом. Зашел в сарай, слышу на чердаке разговор, лестница нет, пошел кругом, нашел маленький лестница и большой дыра, залез — вижу немножко сено, тряпка... Собака спать хорошо... Как можно такой хорошей девушкой и такой толстой старым кот? Эх, Юра!

Алтайский в душе был давно подготовлен услышать эту новость, однако подробности, о которых сказал Бартель — сено, тряпки, сарай, собачья лежанка — были неприятны. Юрий вдруг ощутил в душе пустоту, но в то же время с удивлением для себя отметил, что почему-то не ощущает уязвления чувства собственности, обиды... Выходит, он уже совсем не мужчина... Вместе с тем Алтайский был рад своей твердости. Вот оно, лагерное счастье: собачья лежанка или собачье же свидание подальше от глаз, на пустыре, а если чуть-чуть повезет, то комфортный топчан, тайну которого все равно разгадает надзиратель!

— Ну, что смотришь, как баран? — решительно кольнул Бартель. — Иди, бей Гохмана!

Алтайский, который сидел за столом, подперев подбородок ладонью, и что-то считал на огрызке бумаги, поднял голову:

— Что я могу сделать, Иван Иванович, если я не мужик... И зачем мне штрафной лагпункт, когда своего горя хватает.

— Тогда хорошо, — успокоился Бартель. — Я думал, она тебе изменила. Да еще на собачья лежанка...

— Нет, Иван Иванович, она хорошая, она хотела мне

помочь... Вот ты, Иван Иванович, можешь ли понять, что нельзя думать о женщине, когда кругом море несчастья? Вот ты прислал на завод кучу голодных девушек и женщин, я хожу в перегонную мимо душевой, по коридору. Бывает, что они там одеваются, стоят голенькие, а я вижу только их худобу, и мне хочется... Знаешь чего? Кормить их, бедненьких... Эти девушки, чтобы жить, за пайку хлеба начинают ходить по рукам. Понимаешь, как это плохо? Девушки... Эх!..

— А, Юрий, думать ничего не нужно. Я понимаю, ты понимаешь — это и все, что мы можем.

— Есть еще одна Галя — ленинградка, студентка. Она сидит за то, что не ответила на домогательства работника НКВД, и он ей состряпал дело. Она не знала, что ее может ожидать в лагере, теперь она сломлена, готова на все, и я не знаю, как ей помочь.

— Меньше смотри кругом, душа у тебя мягкий, сам подохнешь с голоду, ежели всех кормить будешь... Скорей социализму надо делать, тогда всех кормить.

— Печально все это, Иван Иванович. Еще хуже, что подлецы всякие из лагерной придурки\* знают результаты медицинской комиссовки и всех настоящих девушек заранее распределили, какая кому достанется за эту пайку...

— А что сделаешь? Жить надо легче, думать меньше... Змитрович работает?

— Да, сегодня гоним спирт. Змитрович в перегонной.

— Ты его на замок закрыл?

— Да, Иван Иванович. Вот ключ.

Вошла Галя и каким-то настороженным взглядом поглядела на обоих. Бартель взял ключ, но уходить не торопился — смотрел на Галю, и в глазах его было сожаление.

Галя прошла к своему месту, достала с полки небольшой лабораторный стаканчик, посмотрела на свет — чисто, решительно и деловито вышла из комнаты.

— Пойду посмотрю, как дела у Змитровича, — сказал Бартель и вышел следом.

Змитровичу — высокому, худому рыжему поляку, была поручена самая ответственная операция — конечная перегонка спирта. Выполнял он ее честно, ни одному из блатных ни угрозами, ни посулами не удавалось выпросить у

---

\* Придурь, придурки — обычно так в лагере называют облугуб куда относятся нарядчики, парихмахеры, повара хлеборез и прочие.

него ни капли. Эта честность имела под собой прочное основание — Змитрович получал посылки с салом с бывшей польской территории, где жили его родные, был независим и незаменим.

Алтайский тоже решил заглянуть к Змитровичу, посмотреть, не перепробовался ли тот готового продукта? Юрий подошел к двери и вдруг услышал истошный крик мастера Валентины Галюновой:

— Юра! Юра! Сюда, скорей! Юра!

Голос раздался с третьего этажа. Алтайский через три ступеньки рванулся вверх. Там на полу, рядом со сборником концентрированной серной кислоты, лежала Галя, которую за плечи, стоя на коленях, поддерживала Галюнова. Глаза Гали были широко открыты, они с укоризной и страхом смотрели на Алтайского. Из левого угла рта тянулся коричневый след стекающей капли. Здесь же, по полу, стоял лабораторный стаканчик со следами темной жидкости на дне...

— Что же ты сделала, Галина? — чуть слышно спросил Алтайский.

Галя глазами показала на сборник. Только мгновения могли спасти ее. Алтайский раньше мысли оказался у одной из бочек с раствором извести, выплеснул в нее капли из стаканчика, которые тотчас зафыркали и запенились, зачерпнул осветленный верхний отстой и поднес ко рту Гали:

— Пей! Ради всего святого, пей!

Галя выпила все. Когда Алтайский поднес второй стаканчик, изо рта ее показалась пена. После третьего стакана пена пошла даже из носа, началась рвота, но Галя покорно пила и пила...

Вечером Алтайский встретился в санчасти с Гохманом, чуть не ставшим «вдовцом». Юрий Федорович поговорил с врачами, увиделся с Галей. Она была слаба, говорила шепотом, но, к счастью, все обошлось благополучно. Мнение врачей было единодушным — ожог полости рта, пищевода и желудка поверхностный, слабый. На вопросы о здоровье, самочувствии Галя ответила одним словом «нормально», но потом добавила:

— Я не думала, что это так страшно... Спасибо, Юрочка, тебя буду помнить всю жизнь...

Обхватив левую кисть Алтайского обеими руками, она, закрыв глаза, пожимала ее и никак не хотела отпустить. Алтайский наклонился, припал губами к

одной, потом к другой руке, Гохман отвернулся...

Галю Павлову Алтайский больше не видел — через неделю ее куда-то увезли. Следом исчез и Гохман.

#### ГЛАВА 4. МУТНЫЕ ВОЛНЫ

Мания мурманика — белковые пищевые дрожжи профессора Плевако. Если считать, что на безрыбьи и рак рыба, то это неплохой заменитель животных белков. Посмотрев на физиономию дневального Шиянкина, круглую, как верх ковбойского сомбреро, и сравнив ее с черепом, обтянутым кожей, какой она была три месяца назад, невольно проникнешься уважением к грибкам, которые под микроскопом выглядят цепочками слегка сплюснутых колец. И на вкус они, в общем, ничего, хотя баранья ляжка, конечно, вкуснее. Только откуда ее взять — всю войну мясо шло на фронт и некогда было думать, почему плачет чабан, отдавая последнюю овцу.

В общем-то, эти дрожжи были хорошим выходом из положения, если бы продолжалась война. Но она кончилась и, как обычно, люди быстро забывали трудное и плохое, вспомнили прежние привычки, восстанавливали забытые было вкусы, стали требовательными и даже капризными. Одним словом, дрожжи так и не пошли как полноценный заменитель белка в пищу людям. Даже в виде добавки они придавали еде специфический вкус, особенно несвежие, что могло бы стать в порядке вещей по причине обычной торговой неразворотливости.

Перемены в людях, стремление их жить лучше, забыть плохое, сбросить осточертевшую одежку Алтайский начал замечать даже в лагере. Особенно у представительниц прекрасного пола в теплые дни, когда красота и привлекательность женщины возвращались к ней ценой добытых двух метров пестренького ситца, неважно какой расцветки, лишь бы свежего и чистого.

Разве можно узнать вот в этой юной, кокетливой пестро-ситцевой вертушке с черными, искрящимися глазищами, с челкой и хитрыми буклями на голове, то самое существо неопределенного пола в засаленных ватных штанищах и телогрейше, с лицом, покрытым копотью и смолой, — да, именно то самое существо, которое работает на углевыжигательных печах? А существо это на углежжении потому и неопрятно и вымазано, что старается заработать рубли и



копейки премий, а уж заодно и допнаек, чтобы видеть, как впиваются в него взглядом встречные мужичишки.

Как ей, Шурке, поступить иначе, если на воле нет родных? Ведь зарплата — это только еда впроголодь, плохонькая одежонка и место на нарах. Все остальное — премию, дополнительный паек — можно получить за систематическое перевыполнение норм и тем больше, чем выше это перевыполнение. Могут еще и досрочно выпустить из лагеря, если статья у тебя бытовая: изнасиловал, ограбил, убил кого-нибудь на перепутье, украл... Но не дай бог украсть у государства! По указу 1947 года, который только что вышел, не будет тебе ни снисхождения, ни амнистии. Да Шурка не из таких, она знает, где и что красть, а теперь и вовсе «зарубить» хочет — обожглась один раз и хватит! Да и Алтайский ей по душе пришелся, даже хорошо, что у него пятьдесят восьмая — этот не обманет, не продаст и воровать не заставит, сразу видно.

В общем, Шурка приделась, стала дезко-красивой вообще и вызывающе дерзкой с теми, кто ей не по душе. Если уж «отошьет» какого-нибудь рьяного ухажера, то так и такими словами, что тот только зубами заскрипит. Ухажеры, конечно, не бежали топиться в Туру, они тут же находили других утешительниц, но раз и навсегда усваивали, что Шурка — это класс, звезда. Хороша Маша, да не наша. Отшивает — значит, сила есть.

Однажды, во время танцев в беседке в выходной день, один такой ухажер, в серой шевровой куртке, в таких же галифе и сапогах, видать, трофейных, краденных у кого-то, в шелковой рубашке с красно-пестрым галстуком, в цветастой тирольке с перышком на голове, подкатил к Шурке как к собственности, ухватил не без расчета и так, чтобы потрогать, что ему понравилось.

Через секунду франт оказался на полу от Шуркиной подножки, а еще через две Шурка уже обихаживала его мокрой шваброй. Черт знает, как она успела за эти мгновения обернуться от беседки до дверей барака, выхватить швабру у дневального и начать ею гасить пыл ухажера?!

Франт, отбиваясь, попытался выхватить нож из голенища и плохо сделал — просто, дурак, забыл, с кем имеет дело. Измочалив швабру о серое шевро, Шурка уже деревяшкой стала бить франта по схватившим нож рукам. Франт все-таки достал нож, тогда Шурка тюкнула его деревяшкой по голове. Несладко, видать, пришлось франту — нож он бросил... А Шурка продолжала молотить, гла-

за ее метали молнии, и была она не просто красива — восхитительна в своей необузданности.

Франт сбежал... Шурка деловито подобрала нож, отнесла швабру дневному:

— Вот выручил, спасибо!

Попался ей по дороге Алтайский — в лягушачьих штанах в дудочку, в зашарпанных, прожженных кислотой рубахе и ботинках.

— Держи перо, отнесем на вахту, — передала она ему нож, подхватила под руку и поволокла, равнодушно поглядывая на ошарашенную толпу в беседке.

— Ну, дает! — донеслось ей вслед.

Шурка сразу ошарашилась, хотела броситься на толпу наводить свои порядки, но безропотно подчинилась двум словам Алтайского:

— Шура, тихо!

С той поры, перед разводом, Шурка стала заходить в барак отличников, где обитал Алтайский, садилась на его топчан и покорно ждала, если он где-нибудь замешкивался. Дневальному, который попытался остановить ее при входе в первый раз, она объяснила ситуацию такими матово-выразительными словами, что он почтительно довел ее до места и доложил Алтайскому:

— К вам жена...

А Шурка мягко добавила:

— Здравствуй, муженек, я к тебе, пора идти на работу. Хочешь, сахарку я достала?

Между тем Шурка прекрасно знала, что никакой женой Алтайского она не станет. Да она и не думала навязываться — просто ей надоели пошлость, грубость, примитивность окружающей среды, она устояла от нее. Сам же Алтайский понял, что Шурка жила пробудившейся мечтой о будущей своей жизни без правонарушений, и с максимальной деликатностью старался помочь ей изменить ее убежденность в том, что все мужики прохвосты и кобели...

Дела на заводе тем временем шли своим чередом. Начальство узнало каким-то образом о том, что из отходов дрожжевого суслу можно получить спирт и что умельцы из лаборатории уже гонят его потихоньку для «внутреннего употребления». Однако расправы не последовало. Наоборот, Алтайский получил официальный приказ наладить производство технического спирта в более крупных объемах. Он деятельно принялся за новую работу — очень скоро, всего через неделю, изготовил с помощью Бартеля и

механика Малышевского большой перегонный куб и дефлегматор, к которому подсоединил обыкновенный самогонный аппарат. После перегонки сула через куб и дефлегматор получилась уже хмельная прозрачная жидкость, а после пропуска ее через самогонный аппарат — самый настоящий технический спирт крепостью около 70 градусов.

Начальство их управления выпуск спирта сначала попыталось включить в план завода. Но из этого ничего не вышло, план не утвердили где-то «наверху» — в самом деле, разве можно изготавливать спирт в зоне да еще руками врагов народа!? Но и приказа демонтировать установку не последовало, спирт продолжали гнать. Не найдя в себе решимости отказаться от столь лакомого «подарка судьбы», каким явился этот «побочный продукт» для местного лагерного начальства, проявив здесь слабину, оно компенсировало ее другим — было решено ужесточить режим и прежде всего убрать с завода всю 58-ю статью, оставив лишь самых необходимых людей — тех, без кого не будет ни дрожжей, ни спирта.

Чем только ни обосновывал Бартель производственную необходимость в политических, однако успеха не добился. Ему было сказано как бы между прочим:

— Не забывай, пока еще товарищ Бартель, что тебе, ссыльно-поселенцу, лучше думать так же, как думает мы.

Вместе со всеми был изгнан с завода дневальный, он же сторож Шиянкин, и уже на следующее утро на заводе не оказалось никаких запасов спирта — бутылки унесли через обрешеченное окно лаборатории. Лестницу, приставленную к окну на втором этаже, так и оставили — незачем и некогда было скрывать следы, торопились начинать пир. Весь день пьяные надзиратели маялись с пьяными бытовиками, но воров так и не нашли — разве может быть вором социально близкий элемент, который к тому же делится с сыщиком дефицитным краденым?

Рейтера, Алтайского, Змитровича; Малышевского, мастеров, которых оставили было на заводе, начали донимать проверками на трезвость. И чем больше проверяли, тем меньше оставалось спирта — каждый проверяющий считал нужным снять пробу, а некоторые не считали для себя зазорным и «проговориться» бытовикам, где и сколько его хранится. Дело дошло до того, что и замки целы, и печати не сорваны, и надзиратели дежурят, а спирта нет — улетучился вместе с емкостями...

Ясно, что это козни пятьдесят восьмой — сами у себя воруют, подлюки! На вахте обнюхивали всех, даже Рейтера, а Змитровича и Алтайского заставляли ходить по длинной drankе, ставя ноги след в след — ясно, что если запах, можно чем-нибудь зажевать, то крен выдаст. Но и крен не выдавал, даже Змитровича, который перестал пробовать продукцию из чувства солидарности с товарищами.

А жизнь продолжала катить по лагерю все более мутные волны...

Хельга-эстонка, голубоглазая красавица, которая так мило, без унижения, выпрашивала кусочки мыла у Алтайского, попала в этап и укатила на спецлагпункт для сифилитиков. Галина, студентка из Ленинграда, последовала вслед за Хельгой.

Алтайский услышал об этом на разводе, где начальнику режима полагалось глашатайским голосом оповещать лагерное быдло о нарушениях этим самым быдлом лагережима. Кто разносил заразу, начальник режима не объявлял, клеймились позором только жертвы. Да и можно ли было клеймить уголовников, окопавшихся в лагерной придурке — оплоте и опоре начальников?

Алтайский хорошо знал Хельгу и Галину, ему было больно и страшно за обеих. Хельга запомнилась воспитанностью, ненавязчивой манерой показать себя и свое право быть полномочной представительницей прекрасного пола, тем самым существом, которое укрощает зверя в человеке... Галина не была яркой, ее надо было рассмотреть: чуть выющиеся каштановые волосы, темные глаза в обрамлении приятного, но бледного в то время личика, стройная фигура, скрытая грубыми рабочими брюками и телогрейкой, не выделяли ее в толпе других заключенных женщин, таких же бледных, изнуренных. Алтайский рассмотрел Галину случайно, когда через преддушевую проходил к Змитровичу. Он увидел ее почти обнаженной, в лагерных трикотажных трусиках. Она стояла у окна, спиной к Алтайскому. Повернувшись на шум завода, который ворвался через открытую Алтайским дверь, она не подняла даже рук, наоборот, как-то расслабилась: смотри, мол, что со мной сделали...

Алтайский видел доходяг-мужчин: непомерно толстые колени, торчащие ребра, впалый живот и глаза, болезненные или протестующие. Доходягу-женщину он видел впервые: худоба скрывалась мягкими женскими линиями, смягчалась шапкой волос. Дефектов сложения, которые подчер-

кивались у доходяг-мужчин, у Галины он не нашел — только достоинства. Гнев, обида, пронзительная боль — чувства, которые испытал Алтайский, встретившись взглядом с Галиной. Он не смог заставить себя еще раз взглянуть на то, что увидел: у молодой девушки груди были как у глубокой старухи — сморщенные, висячие.

Алтайский видел Галину какое-то мгновение, но все-таки понял, почему следователь НКВД домогался ее взаимности, а не добившись, дошел до иступления и кончил преступлением, приклеив Галине, виновной только в магнетической привлекательности, уголовное дело... Шарм, неповторимый, притягивающий, был виден во всем — в повороте головы, изгибе плеча, в неторопливом жесте, в выражении лица и глаз, все еще необыкновенных, лучистых...

Что Хельга и Галина отправлены в спецлагпункт, казалось невероятным, однако было явью — страшной лагерной явью. Да только ли им одним была уготована подобная судьба!

Латышку Виту, ученицу восьмого класса, привезли из Риги вместе с матерью. Обе говорили по-русски с трудом; они не были ни террористами, ни шпионами, ни вообще людьми, достойными наказания. Один из учителей постоянно раздражал весь класс, где училась Вита. Он был скуп и корыстен до мелочей. Был у него большой дом с садом, мимо которого ходили школьники, и каждого он провожал подозрительным взглядом.

Однажды, возвращаясь домой в компании подруг, Вита из озорства, почти на глазах учителя, сорвала цветок, свесившийся из его сада. К удивлению девочек, учитель не сказал ни слова, только глаза его блеснули злорадством... Скандал разразился на следующий день в кабинете директора, где учитель назвал девчонок мерзкими, распущенными хулиганками, которых ждет тюрьма. После нотации ученицы, не стовариваясь, решили отомстить обидчику. Поздним вечером забрались в его сад, посрывали цветы и потоптали грядки.

Через два дня Вита была арестована по доносу как враг народа. При аресте мать не смогла отпустить дочь одну. Она нервничала, призывала небеса в свидетели и, в конце концов, окрестила работников НКВД «чудовищным порождением чудовищного строя». Этого оказалось достаточно, чтобы арестовать и ее. Обеих отправили по этапу со статьей 58 — мать на 10 и Виту на 5 лет, как малолетку.

Когда пятьдесят восьмую сняли с работы на дрожжевом заводе, Виту поставили подвозить на вагонетках опилки к котельной, мать осталась в зоне. Посылок с воли обе не получали, а попробуй-как на тяжелых работах прожить на одном пайке! К тому же паек был урезанным: лагерные придурки позаботились, чтобы Вита не выполняла нормы — в их списках она значилась как девушка и, следовательно, была наиболее лакомой целью...

Мать Виты скоропостижно скончалась, когда узнала о том, что случилось с несовершеннолетней дочерью, а Вита потерялась в лагерных дебрях — ее так и не встретил больше Алтайский...

Надзирательница — рыжая Любка, между прочим, бывшая фронтовичка, обязана была надзирать на нравственность подопечных и понимала это по-своему — не видеть мерзости, творимые над ними лагерной придурью. От этих худых девчонок проку, что от козла молока, а от придурки — то кусок вяленого мяса сверх пайка, то обувь или шмутки, которые если самой не нужны, то рвутся на базаре из рук по любой цене.

Любка энергична, молода, почти привлекательна, только беда ее в том, что, добравшись до жратвы, не может устоять — прихватывает лишку. Сытое круглое лицо, формы, которые трудно удержать казенной юбке и гимнастерке, полные ноги, которые с трудом лезут в голенища сапог, — все это причиняет ей неприятности, да еще какие! Кровь-то кипит, а мужичишки только поглядывают на нее, а притронуться боятся: баба — кровь с молоком, попадись такой в переплет...

В томлении Любка бродит ночью по зоне, бывает, что и парочки попадают, тогда вовсе ей не вмоготу. Она не прочь уже покорооче познакомиться и с заключенными, начала примечать кое-кого. Есть вроде подходящие на дрожжевом заводе... Малышевский-механик, тоже бывший фронтовик, ей по душе, да ключи подобрать трудно — он бывший майор, а она всего лишь сержант действительной службы. Филичкин — энергетик завода, худоват от природы, может, и слабоват, да и его проглядела, уже «женился». Можно бы и «разженить», только как бы от начальства не попало — нужный специалист и его до поры до времени терпеть надо. Бригадир Завьялов давно с западной хохлушей спутался. Есть там еще очкарик один, не матерится, обходительный со всеми и оклемаваться начал... И стала Любка то и дело заходить в лабораторию, присажи-

ваться на освободившееся место Гали Павловой за лабораторным столом.

...Задолго до появления самой Любки на пороге лаборатории Алтайский уже слышал ее голос — не злой и не добрый, а зычный — фронтовой и все же женский, молодой.

— Я опять к тебе. Здорово! — раскатисто начинала Любка, громоздясь на высокую трехногую табуретку и опираясь локтями на стол.

— Здравствуй, Люба. Чего опять пожаловала? — не очень гостеприимно отвечал Алтайский.

— Спишь, что ли, али прикидываешься? Как тебя и называть, не знаю. Был бы ты Иван или Василий, а то Юрий — по-нашему Его... А скажу — обидишься.

— Хоть горшком назови, только под кровать не ставь. И обижаться нам на надзорсостав не положено.

— Вот сам и ответил, зачем я к тебе пожаловала. Девочек у тебя много, порядок должен быть!

— А как же ты, Люба, не углядела Хельгу-эстонку?

— Это не моего и не твоего ума дело... А чего спрашиваешь, али сохнешь по ней? — подозрительно косила глаза Любка.

— Нет, не сохну... Как человека жалко.

— Врешь ты все, баба—царица, вот ты жалостью сухо-то-то свою и прикрываешь.

— Верно, Люба, угадала, — махнул рукой Алтайский.

Любкины глаза показали бег мыслей:

— Вот ты мужик, видать, умственный — спору нет, — сказала она, — а верить мне тебе не положено, потому как у тебя статья. Хошь не хошь, а ты при работе, спирт у тебя есть, мыло... Ну, кто тебе поверит, что у тебя нет бабы? Я ж тебя все равно словлю!

Алтайский улыбнулся — наживка на удочке, которую забросила Любка, была уже знакома:

— Не словишь, Люба, не до баб мне. Сколько можно тебе говорить, что женщины не для меня?

— Да ты уже не шибко доходной, тебе бы сейчас бабу половчее и совсем ожил бы. Не хочешь свою — возьми вольную, бабы есть ягодки!

Любка сверху вниз прогладила себя и подбоченилась:

— Я про себя не говорю, у меня полковник есть на примете, так и просит, так и просит, да я не такая...

— А вот и врешь, Люба. Полковники холостые давно перевелись.

— Ну, не полковник, так капитана всяко найду.

— Женатого?

— Можно и женатого.

— Это ты забудь, Люба. Сейчас не царское время, не с больших харчей мужику заводить двоих.

— А я и не думаю, что после меня мужик на другую бабу поглядеть захочет! — твердо заявила Любка.

— Вот ты какая, Люба. Опасная!

— Ешшо как! — Любка развела руками, приподняла голову.

Да, если бы Алтайский был мужиком, то и поглядел бы на нее, как полагается, а он взглянул, чуть не поперхнулся и пошел пить воду.

— Тебе, может, мыльца надо, Люба? — спросил он.

— Мне бы что другое, — отрезала Любка, — мыла я в прошлый раз брала. Куда ты? — остановила она Алтайского около двери.

— Дело есть...

Смутное подозрение зародилось в Любкиной голове да так и застыло: а что, если у него тоже баба уже есть, как у других? Может, он не захочет размениваться? А, видать, зажечь его можно, хоша и упирается!

Любка завлекательно улыбнулась:

— Ну, что ж, иди, только помни: ежели у тебя баба есть, обязательно словлю!

Но так и не словила и то ли от огорчения, то ли еще от чего, только скоро перевелась куда-то в широкие зауральские просторы...

## ГЛАВА 5. ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Шурка появилась в лаборатории к концу смены:

— Здравствуй, муженек! А я теперь работаю в котельной!

— Как в котельной?

— Подвожу на вагонетках опилки с лесозавода к котлу.

Шурка, которую Алтайский не видел недели две, показала ему не такой, как обычно, бесшабашной и веселой. В глазах затаилась не то грусть, не то настороженность, не то надломленность, плохо прикрываемая решительностью и вызовом.

— Шурочка, милая! Ты чем-то огорчена, душа моя?

— Да нет, муженек!.. А ты всегда такой был?

— Какой? — Алтайский не понял, что хочет сказать



Шурка, но огорчаться вместе с ней и за нее — молодую, обделенную судьбой и такую же одинокую, как все в этих когортах отверженных, было можно и, наверное, нужно.

— Да, такой! — Шурка сдвинула на шею платок, поправила челку смолесто-черных волос, улыбнулась одними глазами — застенчиво и дерзко — и стала самой собой, без тени грусти или настороженности.

— Какой ты непонятливый, — сказала она. — Ты вот скажешь вроде простое, да с душой, а кругом зверье...

— Как же иначе, Шурочка? Сама ты не зверь — нет, я тоже. Значит, между собой мы должны быть людьми, просто людьми... А что ты не раздеваешься? Здесь тепло, а я тебя чем-то угощу... Ну, чего задумалась, снимай свой бушлат!

Шурка действительно задумалась, такой Алтайский видел ее впервые — она была углублена в себя, взгляд темных глаз устремлен мимо него в какую-то точку. В этом взгляде Алтайский увидел жажду жизни, торопливый бег мыслей и... переоценку, которую она делает или, может быть, уже сделала.

Алтайский достал свежий хлеб и молоко, что принес старшина-надзиратель в обмен на мыло, налил два лабораторных стакана:

— Ну, Шура, долго мне тебя ждать?

— Чего? — стряхнула Шурка задумчивость.

— Чего, чего... — сердито заворчал Алтайский. — Я за ней ухаживаю, а она еще не разделась!

— Как? Мне? За что? — Шурка разглядела молоко и хлеб. — Нет! Ты все равно на мне не женишься, а дарма я есть не буду!

— Шура, мы сейчас договорились, что мы люди? Договорились! Давай раздевайся, на пару перекусим, поговорим...

— Ты чего? Чокнутый? Увидят, что мы едим на пару, скажут: женился на блатной Шурке. И вообще, знаешь почему молоко? Поллитра пятерка!

— Вот и хорошо. Дорогому гостю — дорогое угощение!

Алтайский бесцеремонно расстегнул и стащил с Шурки потерявший цвет засаленный бушлат.

— Дорогой гость? — Шурка засмеялась. — Мужичу баба дорога, когда нужна!

Шурка ела с удовольствием, улыбалась доброй, не игривой улыбкой.

— Эх, Шура, Шурка! А ты ведь хорошая...

— А ты? С кем поведешься, от того и наберешься — сам говорил... Ты вот накормил, а даже лапоть не станешь, не только что...

Алтайскому пришла в голову озорная мысль:

— А что, если захочу полапать?

Шурка опешила на какое-то мгновение. Резко изменилось выражение лица — улыбка ее тотчас стала неестественной, — и начала расстегивать лагерную куртку, под которой виднелась старенькая кофта.

Алтайский испугался этой дикой перемены: секунду назад перед ним была нормальная молодая женщина, наметившая поворот своей жизни к чему-то хорошему, и вдруг, прямо на глазах, ее не стало. Он увидел испорченное, блатное существо, рабски следующее законам своего сугубо материалистического мира.

— Шура, — остановил ее Алтайский, — извини, я непростительно грубо пошутил...

Под коркой надетой маски Шурка, очевидно, ждала этой фразы — она облегченно вздохнула, улыбнулась. Вдруг в глазах ее появилось дикое выражение, она раскрыла куртку, выпрямилась, погладила руками груди... Но огонь в глазах погас так же неожиданно, как и загорелся, Шурка опустила руки и голову и недовольно сказала:

— А я ведь ничего! Ишь ты...

— Глупая ты, Санька! — сказал Алтайский. — Понимаешь, я хочу, чтобы ты была всегда гордой, чтобы это стало твоей натурой. Не теряй этого, не разменивайся, ты сама видишь, с кем водилась, от кого училась и научилась быть рабой дурацких, нечеловеческих блатных законов. Плюнь на эту сволочь, живи своим умом и не делай ничего против своей совести и гордости, ничего такого, чего ты не хочешь или не можешь...

Шурка слушала как-то безразлично, расслабленно; стало видно, как она устала — устала от жизни в 25 лет.

— Знаешь, Юра, — Шурка в первый раз забыла назвать Алтайского «муженьком», — я так и делаю, да трудно это. Меня уже выперли из углевыжигалки, туда новенькую одну наша шобла заманила — кобели проклятые. Я сказала Лбу, который старший, что черепок ему развалю, если тронут. Не подумай, что я к тебе покататься пришла, просто у нас с тобой к слову этот разговор получился...

— Верно, Шура, разговор получился. Приходи сюда, когда захочешь. А сейчас пора в зону.

Наскоро одевшись, оба вышли из пропахнувшего кисло-

той, лигнином и дрожжами завода, направились в жилую зону. Чуть поскрипывал под ногами только что выпавший снег. Свет от гирлянд фонарей зоны отражался от низких туч, казалось, само небо светит красноватым заревом. Воздух был чист и вкусен, чуть припахивало березовым дымком.

В зону Алтайский вошел вместе с Шуркой — как-никак, одной бригаде.

— Шурочка, не поддавайся. Буду ждать, заходи, — сказал ей Алтайский на прощанье. Он торопился передать деньги Коле Астафьеву — очередной взнос за когда-то проданные ему краденые ботинки.

\* \* \*

В ночь на новый 1948 год пошел дождь — никто из старожилов такого не помнил. Алтайский купил себе фронттовую не очень заношенную шинель и галифе. В каптерке получил резиновые сапоги взамен разлезшихся ботинок и, как поощрение за работу, суконный солдатский мундир второго срока с пластмассовыми зелеными пуговицами и со звездой — американского производства. Змитрович, с которым он жил в одном бараке отличников, напек блинов из муки, присланной в последней посылке с территории бывшей Польши, отошедшей к Советскому Союзу. Спиртишка они, конечно, тоже пронесли через все вахты и шмоны, но двух чекушек оказалось мало на весь барак — сожители так посмотрели на эти маленькие посудины, что не раздели они спирт между жаждущими, слез обиды набралось бы ведро.

Начальство разрешило лагерному быдлу встречать Новый год до часу ночи. В столовой оркестр баянистов-гитаристов наяривал польки, вальсы, краковяки. Кружились пары, но народу все же было мало — основная масса отсыпалась.

Змитрович с Алтайским побеседовали и, не раздеваясь, прилегли на топчаны — козлоногие кровати вместо вагонок, в чем и состояло главное отличие быта отличников. Нельзя было по-настоящему укладываться спать, в бараке то и дело раздавались женские голоса, шуршали юбки, стучали каблук женских туфель.

Лежащие на топчанах фигуры сразу же привлекли внимание очередной нагрянувшей в барак группы женщин. Оба были подняты, выдворены на улицу и затянуты в сто-

ловую. Чертыхаясь про себя, Алтайский со Змитровичем попытались удрать, но около дверей стояли женские кордоны, пройти через которые мужикам оказалось невозможно — это были не вахтеры, а свои, которых на мякине не проведешь.

При всем честном народе, когда Алтайский вяло танцевал с очередной партнершей, он неожиданно почти был сбит с ног... Шуркой. Партнерша мигом испарилась, а Шурка обвила его шею руками:

— Куда это годится? — начала Шурка на высоких тонах, нарочно обращая на себя внимание. — Какая-то падла танцует с моим мужем! Вы посмотрите на него, на изменника!

— Шура, — тихо сказал Алтайский, — давай отойдем, посидим. Я рад тебя видеть.

Баянисты-гитаристы как раз сделали паузу, и Алтайский понял, что он и Шурка — центр внимания.

— Слушай, муженек, — достаточно громко продолжала Шурка, — на первый раз прощаю, а на второй... Ну, кто хочет с Шуркой связаться, может, вы, девки? А?

Шурка отпустила шею Алтайского и подбоченилась:

— Кто моего солдатика облюбовал?

Алтайский посмотрел на Шурку: черт-те что творится с этой девкой — та же дерзость в лице, изгибах фигуры, тот же огонь в глазах, та же черная челка на лбу — вылитая дикарка Кармен!

— Шура, хватит, пойдем, — совсем тихо сказал Алтайский.

— То-то! — лихо оглядела Шурка стан соперниц. — Пойдем, дорогой, посидим поговорим. Ах ты, мой милый!

— Ну и ну! — услышал Алтайский знакомый бас, оглянулся и увидел, как Змитрович, расставив руки, тряс головой, как пес после купания, с совершенно обалдевшим выражением лица... Раздался смех.

Шурка, зная Змитровича, засмеялась тоже — смех ее был искренним и заразительным. Баянисты-гитаристы переглянулись и заиграли в ритме замедленного вальса только что появившийся шлягер: «Милый друг, наконец-то мы вместе».

— Ты думаешь, дорогой, — замурыкала Шурка в ухо Алтайского, — я плясать не умею?

— Ничего, Шурочка, уже думать не могу! Я уже доплясался! — сердито ответил Алтайский.

— В Новый год разве можно сердиться на женушку? — Шурка сказала это так мягко, что Алтайский вынужден был скрыть улыбку, но язык опередил его:

— Ух ты, Шурка — кочерга с хвостиком... — и сам почти засмеялся.

Шурка танцевала легко, живо, талия ее была податлива и послушна. Если бы не резиновые сапоги, трудно проворачивавшиеся на некрашеном полу, и не мелькавшие перед глазами лица, то Алтайский смог бы, наверное, хоть на мгновение оторваться от сурового бытия, но мгновение это так и не произошло, отрыв не получился...

Шурка, не спуская глаз с Алтайского, легко улавливала все оттенки его настроения. Удивительные существа эти женщины, даже измученные и покалеченные обстоятельствами, они, как чуткий приемник, ловят все нюансы мыслей мужчин, которые им хоть немножко по душе. И неважно, профессора эти женщины или скотницы — любая из них может показать такую природную интуицию, что мужская логика и разум смогут только заметить, но не объяснить эту загадку. Несчастлив тот мужчина, который не видит, не способен заметить этого превосходства у не чужой ему женщины! Она живет чувством, он разумом — это верно, но большой вопрос: что ценнее?

Алтайскому захотелось сказать: «Шурка, ты ангел!» Но вместо этого он с максимальной галантностью взял ее под руку и отвел в уголок, когда музыка кончилась.

Шурка молчала. Она была поражена, как бережно Алтайский взял ее под руку, в самом прикосновении его она почувствовала уважение, даже преклонение; она не могла понять, за что он уважал ее, однако как это было приятно! Шурка зажмурилась, одной ладонью прикрыла лицо...

— Знаешь, Егорушка, — наконец, сказала она, — я тебя очень уважаю, прости мою никудышность! Я тебе кисет сшила...

Шурка достала черный матерчатый мешочек под табак, на котором была вышита оранжевая трубка с синим дымом и слова: «Вспоминай, когда закуришь, Шурку».

Алтайский был растроган, присел рядом с ней на скамейку, обнял и поцеловал в теплую щеку — пусть смотрят все, наплевать!

А Шурка тяжело вздохнула и совсем некстати потихонечку заплакала.

Когда день стал длиннее, повисли первые сосульки на крышах, Алтайский заболел. Виной тому были, как предположил он сам, условия работы и дурацкая его порядочность. Он успел заметить, что рабочие, мастера, да и руководство относились к работе с прокладцей: выбьет прокладку на паровом вентиле — и черт с ней, даже дежурный слесарь не поторопится прекратить адский шум; воздух не подается в нейтрализатор, загипсовался барботер — ну и ладно; в кипящем гидролизере остался остров прибитых к стенке опилок — тоже сойдет; труба прохудилась и кипящий гидролизат с активной кислотой струйкой моет и съедает на глазах стенку трубы паропровода под давлением — тоже ничего...

Вот Алтайский и носился — везде надо успеть, все заметить: отогнать от опасного места заезавшуюся девчонку; обляять слесаря, а самому забраться в гидролизер и в душном смраде серного ангидрида утопить опилки в кислоте; сапогом закрыть струйку из прохудившейся трубы, пока идет перекачка...

Пробовал он объяснять, растолковывать, показывать, но никто ничего не хотел делать, никто ничему не хотел учиться. Только девчонки из Западной Украины и Прибалтики не пропускали слов мимо ушей, старались уразуметь смысл процесса и приобрести навыки, которые им показывали.

«День кантовки — год жизни» — это первый и основной пункт неписаной лагерной конституции. А вот и другие ее пункты: «Филонь», «кантуйся», «коси», «замастыривай» что можешь и, если останешься жив, копти небо до конца срока — это лучше, чем быть прибитым падающей лесиной или утонуть под плотом на лесосплаве, сгореть на углежжении, быть убитым ремнем трансмиссии, попасть под обвал штабеля леса или вот здесь, на чертовом дрожжевом заводе, свариться в кислоте...

Лагерь родил свой язык, специальные термины, обозначающие основные нормы поведения, которые нацеливают на то, чтобы заключенный мог выжить в нечеловеческих условиях. «Филонь», «кантуйся» — значит, под любым предлогом увиливай от работы, особенно тяжелой или опасной. «Коси» — уклоняйся от работы под предлогом болезни. «Мастырь», «замастыривай» — то есть уродуй самого себя с помощью «мастырки» — увечья.

В арсенале заключенного имеется больше десятка самых разнообразных «мастырок»: ожог раскаленным предметом; химический ожог с помощью смеси марганцево-кислого калия и воды, прибинтовываемой к части тела; искусственная флегмона путем протаскивания иголки с загрязненной ниткой через мягкие ткани тела; самоотравление с помощью корня растущей на пустыре травы «пику-та вироза», вызывающего потерю сознания, конвульсии, а при малейшей ошибке в дозировке и смерть; введение в мышцу с помощью шприца молока или скипидара для вызова реакции организма в виде очень высокой температуры и т. д. Неважно, каким будет результат «мастырки»: стойкие нарушения психики, ампутация, инвалидность, даже смерть, главное — освобождение от работы, на какой-то срок или навсегда.

Случался иногда и суд за умышленное членовредительство, если «мастырка» оказывалась грубо «замастырена» и была обнаружена вольнонаемными медиками. Приговор: статья 58, пункт 14 — контрреволюционный саботаж с переводом из бытовиков в политические, с потерей права на расконвоирование. К «мастырщикам» относились и саморубы, которые сами себе отрубали топором или подставляли под пилы пальцы, а то и кисти рук, ступни ног... «Мастырщиков» и саморубов было запрещено лечить, потому как труд — дело чести, доблести и геройства, а негерои — это отрыжка капитализма, язва на здоровом теле здорового общества.

Лагерную философию выживания труднее всех понимали те, кто жил в капиталистических странах — эти самые девчонки из Западной Украины, Польши, Прибалтики, Румынии, дураки из Маньчжурии. Они «пашут», как ишаки, ровно им больше всех надо, а результат один — пайка на 100 грамм больше или меньше. Ну и пусть «пашут». Все равно, когда надо, загремят в лес или по дрова на штрафной, где научатся Родину любить — вот тогда и поумнеют! Привыкли, дураки, для себя работать, а тут — шалишь — все надо делать для светлого будущего государства, а жить — как умеешь. Приблизительно так поучали Алтайского коренные, советские, «временно изолированные» граждане.

А на воле как? На этот вопрос «изолированные граждане» нехорошо улыбались:

— Дурак! Неужто не понимаешь? И там жить можно, только втихаря. Делай, что скажут, и все будет нормально,

а иначе попадешь в изолированные...

Алтайский пренебрегал этими советами — переделывать натуру было уже поздно. К тому же он видел, что люди постарше, которые своими глазами видели времена НЭПа, не «филонили», не «косили», не «кантовались», они добросовестно относились к порученной работе.

Как бы то ни было, но Алтайский заболел и по очевидной причине — неокрепший организм отдавал больше энергии, чем получал калорий, обстановка и условия тоже что-то значили. Полноценной пищи он не мог доставать, даже за спирт и мыло — только молоко от надзирателя, кусочки сала от Змитровича, которые тот мог и не давать...

В лагерном стационаре Алтайский понял, что дистрофия все еще держит его в своих цепких путях. Сама болезнь выразилась потерей голоса, чувством жжения в горле, очевидно, от вдыхания паров серного ангидрида, общей слабостью. Скоро эти проявления болезни прошли, но ординатор из временно изолированных, бывший капитан медслужбы Иван Андреевич Коваленко задержал Алтайского в стационаре — температура по вечерам продолжала оставаться повышенной, субфебрильной.

Без работы было скучно, лезли мысли о жратве, и, чтобы как-то скоротать время, Алтайский напробился помогать Ивану Андреевичу — привел в порядок аптечку, на коробках и баночках приклеил одинаковые этикетки с четким латинским шрифтом, а когда у одного из больных Коваленко заподозрил брюшной тиф, то вместе они стотовили реакцию Видаля, располагая только дюжиной пробирок и мерным стаканом, без термостата.

Были и запомнившиеся Алтайскому встречи. Среди больных в палате находился Евгений Козлюк — бывший старший лейтенант, выпускник московской спецшколы, куда направлялись, как правило, особо проверенные и доверенные. После окончания школы в 1942 году Козлюк в составе приблизительно батальона таких же, как он, проверенных и обученных попал в Англию для выполнения спецзадания — участия в создании союзниками второго фронта и форсировании Ла-Манша. Батальон переделся в форму войск США, Козлюк стал американским лейтенантом. О жизни в Англии он рассказывал лаконично и сухо, по весьма понятной для Алтайского причине — не быть «живым агитационным материалом о жизни за границей».

О том, как переправились союзники через Ла-Манш и в их числе американский лейтенант Женька Козлюк, Алтай-



ский услышал поздно вечером, когда обоим не спалось. Козлюка празила тактика союзников, обеспечивающая минимум людских потерь, и отношение к военной технике. Никаких «ура» под смертоносным огнем противника, никакого героизма, никто не желает да никто и не требует подставлять под пули лоб. Если после авиа- и артобработки объект отвечал хотя бы одним выстрелом, пехота отходила назад, ждала следующей серии бомбардировки. Потери, конечно, тоже были, но минимальные.

А техника — ого-го! Потери ее или выход из строя союзники не замечали, даже новая машина улетала в кювет, стоило ей чихнуть или, тем более, испортиться. Ремонт был предельно прост: забарахлил мотор — его немедленно меняли на уже организованных станциях обслуживания, и не только мотор, но и кузов, коробку перемены передач — все меняли блоками, не считая нужным искать причину поломки. При этом никто не боялся ответственности за технику, просто потому, что за нее никто и не спрашивал, а логика тоже предельно проста — сразу нельзя сделать или отремонтировать лишь живого солдата, вот его-то и надо беречь.

Козлюк побывал и в Париже, уже в советской форме, помогал там обустроиваться советскому посольству. Наконец, вернулся на Родину — здравствуй, родименькая! Поля и леса родной земли приветствовали скитальца, а начальство... адресовало его прямо на Лубянку, не дало даже повидаться с родными. Алтайский понял, что и спецшкола для избранных, и оказываемое «величайшее доверие» не что иное, как вывеска, прикрывающая заложенную в основу общества подозрительность и полное отсутствие элементарной веры в человеческую порядочность.

Козлюк, советский патриот, сидел и верил, верил и ждал, что его вот-вот освободят, но так и не дождался... Передали потом Алтайскому, что измученный напрасными ожиданиями, Козлюк не очень торопился на лесоповале уклониться от падающей на него лесины. Хотя мог бы жить да жить, даже в лагере — он был в лучшем положении, чем Алтайский, родные его не забывали, присылали даже яйца.

\* \* \*

Врач Коваленко после многократных обследований Алтайского, наконец, не очень уверенно пробормотал:

— Ничего не прослушивается, не простукивается, а субфебрильная температура держится. Похоже на туберкулез в начальной стадии. Рентгена, чтобы проверить этот диагноз, нет.

«Этого только не хватало! Чахотка — значит, надо собачье сало или хотя бы любое другое... Нужно усиленное питание, а где его взять? Неужели настал последний час? — эта мысль, как молния, прожгла Алтайского. — Неужели так и не удастся увидеть тех, о ком тоскует сердце? Даже трех лет не выдержал! Как же можно выдержать двадцать?!»

## Глава 6. ШУРКИНА ЛЮБОВЬ

Да, было от чего скиснуть! Пытаясь уйти от мучительных раздумий, тягостной действительности, Юрий старался находить забвение в какой-то деятельности, работе. Бесцельно лежать, «доходить», лениво разговаривая в больничном безделье, Алтайскому было неважно, жизнь трутная сама по себе всегда была ему противна. Теперь же, в условиях лагерной санчасти, ему вдвойне, тройне было тяжело без тех хлопот, которыми он сам себя обременил.

Приведя в порядок аптечку стационара, Алтайский решил разделаться с крысами, которые нагло шлелись в больничном бараке даже днем, а ночью не давали покоя писком, дрызгами и междоусобицами. Только ничего у него не вышло — крыс оказалось больше, чем возможностей приобретения столярного клея. Первые сотни граммов растертого в порошок клея, смешанного с алебастром, крысы слопали с великой дракой — далеко не каждой досталась положенная порция. Может быть, часть из них и сдохла, потому что на день или два крысы притихли. Но достать еще килограмм столярного клея оказалось невозможно, даже Коваленко не смог помочь. Именно он заметил в Алтайском жажду деятельности, при его участии и поддержке Алтайский стал болеть «активно», а не сидеть сложа руки.

Однажды утром, выписывая в кабинете врача рецепты из истории болезни, Алтайский не услышал, как отворилась дверь. Вошел молодой полковник в очках, с эмблемами медика на погонах:

— Что вы здесь делаете?

Алтайский от неожиданности вздрогнул.

— Здравствуйте, — ответил он, вставая. — Выписывая рецепты, надо самим делать лекарства — аптеки-то нет!

— Вы же больной? — покосился полковник на нелепые большие очки Алтайского, на донельзя изношенный рыжий больничный халат, торчащие из-под него кальсоны и лапти на голых ногах.

— Ну, красавец! — засмеялся полковник. — Уж не свою ли историю болезни «подмастыриваете»?

— Простите, я просто помогаю Ивану Андреевичу без всякой корысти. А халат мне дали по благу, другие в одеялах ходят.

Полковник откровенно захохотал.

— Знаю, — сказал он. — У вас пятьдесят восьмая?

Алтайский утвердительно кивнул головой.

— Можно у вас тут присесть где-нибудь? Только помогите снять шинель, рука у меня шалит... Вы меня, наверное, не знаете, — продолжал полковник, снимая шинель с помощью Алтайского. — Я начальник санитарного отдела лагеря Бородин....

— Очень приятно, — не слишком уверенно промямлил Алтайский, которому небо сразу показалось в овчинку и срочно потребовалась нора, в которую можно было бы юркнуть...

— Вы, кажется, смущены? — спросил Бородин, грузно усаживаясь на стул. — И напрасно. Не каждый день случаются встречи с людьми определенного уровня. Да еще с чувством юмора, — добавил он, добродушно улыбаясь.

— Сочувствую, гражданин полковник, у меня таких встреч еще меньше... Разрешите поискать Ивана Андреевича? — вдруг нашел нору Алтайский.

— Нет, батенька мой, никуда вы не пойдете. Вашего Ивана Андреевича наверняка уже ищут. Дайте мне отдохнуть от разговоров на медицинские темы! А вы не врач ли ненароком?

— Нет, я инженер. Правда, в студенческие годы меня потянуло к медицине, вернее, к биологии — собирался одним махом разгадать тайны живой клетки, чтобы избавить человечество от рака.

— Ну, и как — удалось? — спросил Бородин со смешинкой.

— Да, — поддакнул Алтайский, — удалось просветиться и понять, что для разгадки только структуры белка надо не одну жизнь прожить.

— А разве плохо к чему-то стремиться? Кто из нас смо-

лоду не считал себя способным своротить горы? — улыбнулся Бородин.

— Из студентов — большинство!

Приглядываясь к Бородину и не очень доверяя своему первому впечатлению, Алтайский обратил внимание на грубоватые черты лица, несколько не соответствующие высокому лбу и умным глазам — не стеклянно-высокомерным, бездушным, хоть и, фамильным, наследственным, каких он повидал немало, а теплым, понимающим. Еще Алтайский почувствовал, что справился с неловкостью, которую он ощутил в начале разговора. Эта неловкость была вызвана, очевидно, чином и должностью, но не самим человеком.

— Простите, — осмелев, но еще не обдумав и не поняв, зачем, неуверенно сказал Алтайский, — мне кажется, что вы не обидитесь, если я позволю некое сравнение...

— Валийте! — разрешил Бородин. — Только начистоту, если обо мне.

— Знаете, в вас есть что-то для меня знакомое — прежде всего в вас самих, в вашей натуре, в вашем восприятии обстановки... Что-то знакомое, связанное с родом деятельности... Так вот, это знакомое роднит вас с образом земского врача — чеховского врача... Пространства, располагающие к думам, тысячи людей, тысячи хворей, и душевных и телесных, и он один — дантист и эпидемиолог, акушер и офтальмолог, хирург и психиатр, а главное — просветитель темного народа от языческих суеверий и фанатизма слепой веры. Вам было можно и нужно бы уменьшить рамки интересов ввиду их необъятности, а у вас не получается или получается, но так же трудно, как у земского врача. И в этой кутерьме вашей природы хватает, чтобы заметить смешное. Вот вам и сходство с чеховским земским врачом!

— Да вы философ, милый мой, — улыбнулся Бородин и потер переносицу, закрыв глаза. — Вы правы, общее есть, только люди другие, бесконечно разнообразные, до дикости уродливые и контрастные — от академика до дикаря... И в этом именно трудность — не в медицине, не в знаниях, которых подчас не хватало и земским врачам, не в недостатке времени, не в пространствах и количестве.... — Бородин покачал головой и хмыкнул: — Земский врач! Спасибо за откровенность. Как вас зовут?

— Алтайский.

— Нет, имя и отчество?

— Если разрешите — просто Юрий, вы меня старше.

— Ну вот, просто Юрий, видите, беседа у нас на уровне лучших домов Лондона, а вы бежать хотели?

— Верно... К сожалению, военная форма у меня большей частью ассоциируется с неприятностями.

— Так я же медик.

— Вот, теперь буду знать. А вообще-то откровенность давно вышла из моды, и я за нее не однажды бит. Мне еще мама говорила, простите за пошлость, что у меня мысли и слова, как вода в прямой кишке — не держатся...

— Ха, ха, ха, — засмеялся Бородин. — А ваша мама права. У вас тут курят?

— Здесь хозяин вы, — улыбнулся Алтайский. — Пепельницу сейчас найду. Здесь есть чашки Петри из термостойкого стекла...

Появившийся на пороге Коваленко поздоровался с полковником и глазами показал Алтайскому на дверь. Алтайский поднялся, понимая, что двум врачам есть о чем поговорить.

— Знаешь, Иван Андреевич, — сказал Бородин, — а помощник у тебя дельный, напрасно ты его гонишь.

— Нет, я его не гоню, — чуть смутился Коваленко, — ему скучно будет — вы же опять меня драть начнете?!

Алтайский все же вышел.

\* \* \*

Козлюк, узнав о разговоре с Бородиным, обругал Юрия.

— Чудило ты гороховое! Говорил о чем угодно, а о своей судьбе не подумал. Попросился бы на Щучье озеро.

О Щучьем озере Алтайский слышал — там находилась общелагерная больница для туберкулезников.

— К черту, Женя, — среагировал Алтайский. — У меня только чуть повышенная температура по вечерам. Может, это и не связано с легкими, еще заразишься...

— Да плевать тебе на это — двум смертям не бывать, а одной не миновать. Там кормежка лучше и отдых будет наверняка длительный. Сам знаешь: день кантовки — год жизни.

А Бородин уже ушел... Алтайскому не оставалось ничего иного, кроме как обругать себя — опять после драки кулаками замахал и снова оказался задним умом крепок.

Но Бородин вновь появился под вечер, обошел палаты и, увидев Алтайского, сказал:

— Приходите в ординаторскую.

В напутствие Юрий получил накачку от однопалатников:

— Не будь лаптем!

Бородин был в одиночестве, встретил Алтайского дружелюбно. Оказалось, ему просто хотелось с кем-то поговорить на отвлеченные темы, отвести душу.

Бородин интересовался прикладными искусством, живописью, художественными ремеслами и в Алтайском, очевидно, хотел увидеть подходящего собеседника. Бородина привлекал сам процесс творчества — материализация безликого ничто в одушевленную вещь, вызывающую эмоции. Как медик, он заметил, что в лагере, где обостряется борьба за существование, люди обнаруживают у себя способности, о которых раньше не подозревали. Конечно, много грубых, иногда аляповатых поделок на потребительский вкус, но немало и своеобразных вещей, создающих настроение. У него есть работа из соломки — безусловно, произведение искусства, выполненное известнейшим в Союзе писателем...

Алтайский согласился, что способности обостряются — каждый ищет добавку к скудному пайку, каждый хочет выжить. Пример тому — художественная мастерская в Тавдинском ОЛП, где из двадцати ремесленников настоящих художников единицы. Однако у всех двадцати — своя манера письма. Даже он, Алтайский, хотя какой он к черту резчик по дереву, и то оказался зачинателем по этой части в цехе ширпотреба.

— В Свердловске, — сказал Бородин, — в строящейся гостинице «Большой Урал» я видел резную работу — косяки дверей, панно, мебель. Особенно мне понравились стулья в стиле екатерининских времен. Знаю, что работа выполнялась и нашим лагерем, уж не вами ли?

— Грешен, — признался Алтайский, — стулья и косяки — это работа Аркадия Треберта, Руфа Ананьина и моя. Кто и что делал больше, не знаю, так как загремел в штрафную бригаду...

— Вон как, — обрадовался Бородин, очевидно, не дослышав последние слова. — Я храню несколько работ ваших товарищей, был бы рад присоединить к ним вашу. Будет?

— Желание что-то сделать для вас у меня есть, — от-

ветил Алтайский. — Но еще надо здоровье, место и время.

— А что со здоровьем? — заинтересовался Бородин.

— Иван Андреевич находит непорядок с легкими. Товарищи рекомендуют проситься на Щучье озеро.

— Не советую, — подумав, сказал Бородин. — По вас не видно, что вы серьезно больны, а там много инфекционного материала. Народ есть мерзкий — бандиты, воры, нет ничего хуже этой «отрицаловки». Если сам болеет в открытой форме, то непременно из зависти к более здоровым старается их заразить. Так что компания будет не блестящая. В сангородок, в Азанку вы бы не хотели?

— Хотел бы. Я там уже был, меня знает Карасева. Она даже приезжала в Тавду и хотела опять забрать меня к себе, но вместо этого меня занарядили в штрафную бригаду.

— Причину знаете?

— Знаю. Одна скотина отрекомендовала меня в доносе как потенциального беглеца.

— Тень этого доноса будет ходить за вами по пятам, — задумался Бородин.

— Но сейчас-то мнение могло измениться? Здесь, в Туринске, я выходил за зону практически без конвоя!

— Я не сомневаюсь, что это абсурд, но поверят этому наши унтеры Пришибеевы очень нескоро, — твердо сказал Бородин. — Однако на Щучье озеро можно — это специфический сангородок. И, знаете, в теперешнем вашем положении это единственное место, куда я могу вас направить. А потом попробуем все-таки к Карасевой. Что вы там делали?

— Числился художником, малевал лозунги, помогал бухгалтеру, садовнику, копал картошку в колхозе, когда посылали, в общем, не сидел без дела.

Беседа длилась долго. Перед отбоем, зайдя в ординаторскую, Коваленко сразу открыл форточку — курили немного, но комнатка была маленькой.

На крыльце, искреннее ответив на крепкое рукопожатие Бородина, направившегося к проходной в сопровождении Коваленко, Алтайский пошел было к своему барaku, но неожиданно его остановило громкое женское причитание:

— Дорогой муженек, потеря ты моя ненаглядная! Все ноги отбила, глаза проглядела! Почему ж ты бросил свою женушку?

Перед крыльцом стояла Шурка — румяная от легкого

морозца, с лучистыми глазами, открытой головой, дерзкой челкой, в каком-то платьице, выглядывавшем из-под телогрейки, и в туфлях.

— Я бегаю, его ищу, а он в санчасти прячется!

Бородин и Коваленко, уже спустившиеся с крыльца, с интересом рассмотрели Шурку и вопросительно взглянули на Юрия.

— Шурочка! Ты хоть поздоровайся! — обалдело изрек Алтайский первое, что пришло в голову.

— Здравсьте! — любезно улыбнулась Шурка.

— Здравствуй, миленькая! — в тон ответил Бородин. — Ну, Иван Андреевич, дама нам представлена по всем правилам, больше нам тут делать нечего.

Еще раз оглядев очкастого Алтайского, его халат, подштанники, лапти на босу ногу и Шурку, Бородин сказал:

— Что же, контрасты, с точки зрения медицины, дают здоровое потомство. До свидания!

— До свиданьица, полковничек, — присела Шурка.

Из-за угла барака, за которым скрылись Бородин и Коваленко, донесся затихающий смех.

— Ну вот, миленький, видишь, как хорошо обошлось, а ты думаешь, я и молвить не умею — знаю, как с кем!

— Шурочка, зайдем в коридор, а то я замерзну.

— Ах я, недотепа проклятая! — Шурка сорвала с себя телогрейку, набросила на Алтайского и обняла за плечи. — Ну, ничего, ничего, сейчас согрею!

— Шурочка, только ты не говори громко — люди уже спят, — сказал Алтайский, когда они вошли в небольшую переднюю с топящейся печкой и сели около нее на табуретки.

— Нет, я тихо, — прошептала Шурка. — Я тебя действительно ищу, никто не знает, куда ты делся... А смотри, как полковник сказал насчет детей. Хочешь, я тебя вправду ждать буду, сроку-то у меня осталось всего ничего?

— Шурочка, да ведь у меня-то двадцать лет!

— Подумаешь! Я за тобой ездить буду.

— Ты же знаешь, что это невозможно.

— Да... — не сразу вздохнула Шурка. — Когда раскинешь мозгами, то так оно и есть...

— Я буду думать о тебе — это я обещаю, милая моя. Когда тебе будет трудно, вспоминай меня. Может быть, я тебя встречу, когда ты уже будешь доктором или инженером...

Шурка вздохнула, пытливо поглядела на Алтайского:



— А знаешь, Рейтер умер.

— Как? — вздрогнул Алтайский.

— Упал на лестнице, когда пошел дежурить ночью на завод вместо тебя. Ансульт какой-то у него нашли, — Шурка поднялась и обхватила руками шею Алтайского. — Иди спать, миленький, вижу, как тебя огорчила... Дай тебя поцелую!

Шуркины губы, прикоснувшиеся к щеке, были такими теплыми, домашними, что на мгновение пробудили нежность в окаменевшей душе Алтайского. Он бережно обнял ее, почувствовал ровно бьющееся сердце, еле уловимый запах податливого, чистого тела и тонкой девичьей шеи, которые он мог бы целовать...

Юрий долго не мог заснуть — сначала вихрем, потом вереницей текли мысли... По полу, не боясь людей, бегали крысы, в коридоре изредка шаркали ноги по дороге в холодный туалет...

\* \* \*

Следующий день прошел незаметно. Алтайский рано закончил работу, поужинал и решил отдохнуть в своей палате.

Летчик, лежавший рядом с Козлюком, рассказывал о затыжном прыжке с парашютом:

— Верьте не верьте, но комбинезон при свободном падении нагревается так, что обжечься можно...

— Чего-то ты не того, — усомнился Козлюк. — Я тоже прыгал, но щупать себя, когда летишь, не приходилось — в перчатках же, а снимешь — ветер вырвет.

— Перчатки снять можно, чтобы комбинезон пощупать. Не в первом прыжке, конечно, а после десятка-двух...

— А парусность? Будешь перчатку снимать, парусность нарушится, тебя завертит — и хана!

— Да можно, понимаешь, и снять и пощупать — опыт нужен. Но лицо-то, щеки, подбородок, что не закрыто очками, как горят — неужели не заметил?

— А черт его знает — о земле думаешь, а не о роже.

— Ну вот, я прыгал раз двести и знаю, как новички...

Шум, который секунду назад начался в коридоре, перешел в громкую перебранку двух женских голосов.

— Я-то, да не войду? Не лапай, падла! — неестественно громко пригрозил один голос.

— Какая-то девка идет с кастрюлькой, а санитарка ее

не пускает, — прокомментировал высунувшийся в дверь Козлюк.

— Еще, стерва, лается, а сама в санчать к мужикам пришла, — завизжал другой голос. — Тебе говорят, нельзя! Хватайте ее, мужики, за что попало! Ой, ой, матушка!

— Ха, ха, ха, — заржал Козлюк, — девка-то огонь! Погнала санитарку пинками под зад, да ловко так — и повернуться не дает!

Смутное подозрение сорвало Алтайского с кровати. В дверях он столкнулся нос к носу с рассерженной Шуркой:

— Где это видано, мужики, чтобы к родному мужу не пускали разные мусора! Вот он, мой миленький! Здравствуй, муженек! Принесла тебе каши пшенной горяченькой, поешь на здоровье! Где ты тут у меня лежишь?

Столпившиеся в коридоре больные, завернутые в одеяла, с интересом заглядывали в палату.

— Вот тебе и тихоня! — первым пришел в себя летчик. — Поздравляю! — церемонно поклонился он Алтайскому.

— Слушай, мужик! — подскочила к нему Шурка, тряхнула челкой, не торопясь сложила руки на груди. Глаза ее метнули молнии, презрительно прищурились, она дернулась, как бы свиваясь в пружину, которая может наделать много бед, и сказала неожиданно мягко: — Соколик ты мой ясный! Уж не муженька ли моего хочешь обидеть?

— Да что ты! — отступил летчик. — Он такой тихий, а ты такая царевна-лебедь! И ничего нам не сказал — это надо же!

— Он у меня скромный, — пояснила Шурка, успокаиваясь и глядя шею Алтайского, который подошел и на всякий случай отобрал у нее кастрюльку.

— Ну, что уставились? Марш по местам! — неожиданно окрысилась она на улыбающихся и посмеивающихся больных. — Пойдем, миленький, посидим.

Едва дверь освободилась от голов, в нее влетела разъяренная фигура Ивана Андреевича в белом халате:

— Это черт знает что такое! — свирепо процедил он, сверля Шурку глазами. — Какое-то чучело врывается в мужскую палату, устанавливает свои порядки, дерется! Пошла вон!

— Это я-то чучело? — Шурка гневно подняла голову и подбоченилась. — Зенки надо разуть, доктор!

Шурка опять была хороша: стройная фигурка, точеные ножки в туфлях, тонкие руки с острыми локтями, покатые

плечи, гордая шея, открытое чистое лицо с несколько неправильными чертами, брови-дуги над темными, выразительными глазами и пышные, чуть подвитые, смолевые волосы. Если бы не вульгарные слова, вырывающиеся из маленького рта с ровными зубами-чесночинками!

— Марш отсюда, негодница! — менее свирепо рявкнул доктор. И чтоб больше сюда не появляться! Поняла? И вообще, какого черта ты тут делаешь?

— Вот муженьку кашки принесли.

— Какой к черту он тебе муж? Я ведь его знаю!

— Ну и что ж? У вас с Нелькой тоже ничего не получилось, а я ведь не мешала, — уколола Шурка, на что-то намекая.

— Как вам это нравится? — смутился доктор. — Пришел гнать, а она сама меня гонит. Пойми — все равно он тебе мужем не будет!

— Знаю и горюю, — тихо сказала Шурка.

— Ладно, побудь здесь, только немного. Вот тебе мой халат. Приходи, только не каждый день... и скажи, что я разрешил — он скоро уедет.

Оставив на лице Шурки молчаливый вопрос, доктор ушел несколько смущенно, тихо прикрыв за собой дверь.

Весть о скором отъезде была новой и для Алтайского, он не думал, что вчершаний разговор с Бородиным так быстро отразится на его судьбе. Но как неожиданно, по-солдатски прямо доктор сообщил об отъезде! Неужели он не понял, что надо было сказать об этом наедине? Не крушить грубо воздушный замок, который, возможно, был каплей радости в грустном Шуркином существовании? Неужели он не слышал это «знаю и горюю» — слова, которые вывалились у огненной Шурки тихо и безрадостно?

До самого отъезда Шурка приходила к Алтайскому, делилась с ним горестями и радостями, восторгалась и возмущалась, хвалила и ругала кого-то... Юрию теперь было ясно, что Шурка надежно отвоевана у блатного мира, отмыта от еще не успевшей окаменеть накипи. Да и была ли она, эта накипь? Злость, дерзость, умение постоять за себя были необходимы Шурке для защиты своего мира от проходимцев, с которыми сталкивала ее жизнь. Только таким путем она могла отстоять его чистоту.

В канун отъезда Алтайский троекратно поцеловал Шурку в щеки и шею, но не сказал прямо, что это прощание:

— Меня могут увезти, когда ты будешь на работе...

— Как же я буду без тебя? — грустно спросила Шурка.

— Не огорчайся, Шурочка, у тебя все впереди. Ты еще встретишь людей куда лучше меня и, если судьба будет милостива, я увижу тебя — ты будешь лучше, чем сейчас!

На рассвете Алтайский уехал.

Уже пробуждалась весна, светило яркое солнце, падали капли с крыш, снег темнел и чуть подтаивал. Идти было легко, на ногах резиновые сапоги с теплыми портянками — еще один подарок Шурки, поверх теплого мундира солдатская шинель, на плече мешок с «думкой» — еще из дома, Шуркин пустой кисет и горбушка хлеба — сухой паек на дорогу.

А встреча так и не состоялась... Где ты, Шурочка? Знаешь ли, что твой кисет до сих пор хранит Алтайский? Кисет полинял, износился, вместо оранжевой трубки с синим дымом и слов, вышитых тобой, на нем остались отдельные оранжевые ниточки...

## Глава 7. ЩУЧЬЕ ОЗЕРО

Путь от Туринска в Верхнюю Тавду в душном «столыпинском» вагоне, предназначенном для перевозок отверженных, был малоприятен — легкие просили свежего воздуха.

На берегу окаменевшей за зиму Тавды Алтайского ждали легкие санки с возницей и надзирателем.

Речные дали, обрамленные зубцами лесов, были безжизненны, пустынно. Белое однообразие несколько оживлялось горбами торосов на стремнинах, которые старательно обходила дорога — там, крутясь, журчала вода. Сверкавшее утром солнце теперь было затянуто серой мглой, ее лениво пытался прогнать теплый ветер, который лизал и подтапливал снег, отчего он темнел, брался с серой мглой.

Лошаденка бежала шустро, пофыркивая на непривычно легкий груз, с удовольствием заносила санки на поворотах.

— Не на машине едешь, налегай на сторону, когда поворачиваем, — незло сказал надзиратель.

Замечание было справедливым, Алтайский извинился.

— А я демобилизуюсь, — вдруг ни с того, ни с сего сказал надзиратель. — Надоело мне со всякой сволотой возжаться. У нас на Щучьем пятьдесят восьмой мало — врачи, кое-кто из придурков, а в основном всякие паскудни-

ки — ворье, бандиты. И в трудотерапию\* ходят, да больше ножи делают... Мрут тоже много, вон там, за бугром, кладбище — многие тысячи лежат. Говорят, чахоткой здесь запросто заразиться можно. А ты болеешь?

— Наверное. Посылают — значит, болею.

— Ты же не кашляешь. Я думал, ты врач или ешо кто по спецнаряду.

— А само озеро где? — спросил Алтайский.

— Дальше, за городком, его не видать... Вода там, что слеза, и рыбка водится...

Разреженный выборочной рубкой сосновый лес, с белыми вкрапинами берез, темными — пихты, ели и кедра, закончился большим полем со следами сплошного повала, несколькими то ли случайно уцелевшими, то ли специально оставленными маточными соснами и небольшим городком одноэтажных барачков, большей частью спрятанных за глухим забором с шатровой зоной и вышками по углам.

— Вот и приехали, — сказал надзиратель. — Иди пока в баню, а я тут оформлю, куда тебе ложиться.

Баня была телой, вода Щучьего озера необыкновенно мягкой, действительно, что слеза, и очень приятной на вкус.

— Тебе к доктору Дубсу, там закрытники — значит, ты не заразный... Пока, ешо увидимся!

Только этого не хватало — быть заразным! Однако Алтайский ничего не сказал надзирателю, лишь приветливо улыбнулся на прощание.

Палаты были чистые, на покрытых досками железных кроватях лежали матрацы с сеном, на них ватные подушки и по две простыни — одна вместо пододеяльника. Алтайский получил довольно приличный ужин и, съев его, скоро уснул — к этому располагали и волнения дня, и недостаток освещения.

\* \* \*

— Скажите честно, как вы сюда попали? Перкуссия, аускультация ваших легких не дают правдоподобной клиники туберкулеза, а субфебрилитет — дело темное... — врач улыбнулся. Вьющиеся, чуть рыжеватые воло-

---

\* Трудотерапия — лечение трудом. На Щучьем озере для этого использовались столярная и слесарная мастерские, лаптеплетная, пиление и колка дров.

сы, приятное лицо с орлиным носом, цепкие карие глаза, смягченные улыбкой.

— Это приятное известие, — ответил Алтайский. — Ваше имя, отчество, доктор?

— Дубс Армен Карлович, доктор меднаук, учился и защищался в Румынии, взят в сорок четвертом году, потом что не румын, а еврей, да еще русский язык знаю.

— Благодарю вас, Армен Карлович, за исчерпывающую информацию, а я «коллективный пособник международной буржуазии и шпион». Учился в Китае, инженер, взят в сорок пятому году, в единственном числе, наверное, чтобы семья была послушной... Попал на Щучье озеро по представлению врача Коваленко и благословлен спецнарядом полковника Бородина.

— Из Китая, говорите? У нас тут есть ваша землячка, медсестра Лариса Корнеева, взята в тридцать седьмом году после возвращения с КВЖД. Сейчас я выполняю обязанности начальника санчасти, ввиду отсутствия мадам Келлерман, нашей игуменьи, и не слишком покривлю душой, сделав запись в вашем формуляре с подтверждением диагноза — вам это пригодится. Appetit есть?

— От всего съедобного не откажусь в любое время суток!

— Ну, все, — рассмеялся Дубс. — Для меня аппетит пациента — главное мерило его состояния. Здесь я убедился на тысяче больных, в том числе тяжелых, что если человек хочет есть и ест — значит, выздоровеет.

— Спасибо, Армен Карлович, — наклонил голову Алтайский. — Честно говоря, я за последнее время сник духом — разве выкарабкаешься на лагерных харчах.

— Не переживайте, что-нибудь придумаем: и работу подходящую найдем, и подкормку устроим. Следы дистрофии, цинки и пеллагры у вас есть. Рекомендую не заниматься самоанализом и вообще духовным самоистязанием — стремитесь, чтобы у вас не было свободного времени. Вечером заходите ко мне, познакомлю с Ларисой, доктором Чумаком, в шахматы сразимся. А вы с маджонг \* играете?

— Не очень, но могу. Где вы его достали?

---

\* М а д ж о н г — китайская азартная игра. Вместо карт применяются отполированные костяные прямоугольники, на которых вырезаны символы, окрашенные в различные цвета: бамбук, блин, ветер, цветок и т. д. Эти символы определяют достоинство каждой карты.

— Это Ларисиних рук дело. Она/очень обрадуется четвертому партнеру, троим-то неудобно... Приходите!

\* \* \*

На новом месте Алтайский прижился быстро. Он научился делать настои, декокты, растворы, стерилизовать инструмент, а также работал в столярке, резал по дереву и еще участвовал в художественной самодеятельности.

Товарищами его стали ленинградец Борис Орлов, виртуоз-гитарист и мандолинист, эстонец Тармула, бывший студент-медик Тартусского университета, недавно выскокивший из цепких клещей дистрофии и ставший в заключении аптекарем, Саша Малышев, очкастый низкорослый земляк с восточной линии КВЖД, родом из забайкальских казаков, обладатель поставленного от природы лирического тенора.

Тармула, рациональный и пунктуальный европеец, всегда ходил в белом халате и шапочке, что, как он считал, оберегало его от случайных наскоков хамовитых надзирателей. Работы в аптеке было много, и это его радовало, так как заставляло с особой тщательностью и рациональностью распределять время. При этом, заботясь о здоровье, Тармула не забывал о ежедневных прогулках. Вымокший, чуть сутулящийся, он прогуливался гусиным шагом, то и дело останавливался, рвал какую-нибудь травку или листик, долго их рассматривал, обращая внимание Алтайского на то, как разумно и красиво природа раскрасила свое произведение затейливыми кудряшками, завитками, пронизала его чудесными оттенками и неожиданными цветастыми переливами. «А люди не замечают, топчут эту божественную красоту!» — сокрушался Тармула.

Однажды, когда на дворе стояла ненастная погода, Тармула предложил Алтайскому попытаться восстановить в памяти элементарную математику. Алтайский, к своему удивлению, довольно бодро вспомнил школьную программу, но затем споткнулся на логарифмах. Уже вместе с Тармулой они начали рассчитывать и строить логарифмическую кривую и так постепенно вспомнили вслед за элементарной высшую математику.

Короче говоря, с помощью Тармулы Алтайский открыл для себя незамечаемые им ранее чудеса природы, убедился в способности логически и даже математически мыслить, более того, убедился в возможности воскрешения собствен-

ной полноценности. Помимо всего, понимая удрученное состояние Алтайского, Тармула тонко уводил его мысли от горестей текущего бытия, направлял их в русло положительных эмоций.

Саша Малышев — маленький, черненький, подвижный, улыбочивый, всегда внимательно и наивно смотрящий на собеседника близорукими темными глазами поверх больших и нелепых, как у Алтайского, очков на остреньком носике, пел, как поют птицы — чуть надувая шею. Он любил изливать душу в протяжных забайкальских песнях, иногда подкашливая и чуть фальшивя. Саша не мог жить без песен и был самым активным участником самодеятельного театрального коллектива. Маленький рост, хрупкость, высокий голос позволили ему сыграть на сцене беспризорного мальчика — главного героя. Доброго пожилого дядю сыграл Алтайский, который хоть и не любил театр, но не смог устоять против натиска партнера. Саша был безмерно рад, гордился заслуженным им успехом и попытался привить Алтайскому свою любовь к сцене:

— Видел бы ты со стороны, какой замечательный был у тебя грим, какая седина! Из зала ты смотрела таким старым, почтенным, добрым и главное — живым, не выдуманым для сцены.

— Ой, как ты мне надоел, Сашка! — взмолился, наконец, Алтайский. — Отвяжись, артист из меня не получится.

Боря Орлов привлекал Алтайского музыкальной сверходаренностью. Аккомпанируя себе на шестиструнной гитаре, он пел — и как! Его можно было слушать часами. Борис сроднил Алтайского с незнакомыми ему русскими лирическими и героическими песнями, причем в такой интерпретации, перед которой блекло мастерство именитых исполнителей. А мандолина в его руках была тоже чудом, она переливалась пассажами удивительной выразительности.

С врачами Дубсом и Чумаком, с землячкой Корнеевой у Алтайского установились товарищеские отношения без особой близости — интересы все-таки были разные: Алтайский восстанавливал силы, жизненный тонус, промышлял подкормку, а они просто работали, мало в чем нуждаясь, и досуг использовали, чтобы хоть как-то разнообразить жизнь. В ход шли шахматы, маджонг, зачитанные книги, что не вписывалось в регламент натуры Юрия.

Лариса Корнеева, приятная, воспитанная молодая жен-



щина, будучи по характеру не очень разговорчивой, тем не менее от земляка не таилась. От нее Алтайский узнал о горькой участи «кавежедеков» — возвращенцев тридцать пятого года — все они попали за колючую проволоку...

\* \* \*

Месяца через два после приезда Алтайский приступил к работе над шкатулкой, которую решил подарить Бородину. На крышке, в медальоне, он вырезал барельефом русского богатыря с шишаком на голове, на поднятой руке его висела палица — богатырь всматривался вдаль... Стенки шкатулки покрыл рельефной стилизованной резьбой, смесью завитков русских трав — тех самых чудес природы, которые показал ему Тармула.

Шкатулку облюбовал доктор Чумак, он захотел подарить ее Корнеевой, против чего возражать было просто грешно. Вторую, которую сразу же начал делать Алтайский, попросил старший надзиратель Журавлев — косою на один глаз, молчаливый и очень зловредный. Алтайский, по неопытности, ему отказал и вскоре заплатил за это дорогой ценой.

Когда приехал Бородин, шкатулка была готова. Полковник предложил перевести Дубса в сангородок Азанки, где требовался фтизиатр. «А уж вы, Армен Карлович, чуть позже найдете предлог, чтобы вызвать туда Алтайского», — сказал Бородин.

...Отгремели летние грозы, шамолкли птичий говор, стрекотание неумных кузнечиков. Природа притихла, плакала дождями в ожидании зимних испытаний.

Обстановка труда без принуждения, доброжелательность и помощь товарищей были благоприятны для восстановления сил и духа Алтайского. Он почувствовал в себе ростки оптимизма, который, казалось до этого, атрофировался окончательно и бесповоротно. Только рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Кошечкой этой оказался одноглазый надзиратель Журавлев.

Больные «воры в законе» с помощью «шестерок» проделали туннель под зоной из подзаборного сортира. Чтобы не было помех, на день выставляли пикеты воров, которые «налаживали» желающих этим сортиром пользоваться. Надзиратели, видать, подметили странную привязанность воров к многоместному сооружению с деревянной трубой, возможно, обследовали его, когда воры спали, обнару-

жили лаз и должным образом подготовились к встрече гостей.

В глухую ночь побега, перед рассветом, Алтайский проснулся от сухих щелчков выстрелов из наганов, топота беглецов, разбежавшихся по баракам.

Посланные впереди вожakov «шестерки» получили заряды свинца в головы и остались лежать в лазе, а вожак успели выскочить и разбежаться — надзирателям не хватило смекалки устроить засаду изнутри. Было еще темно, часовые с вышек не разглядели беглецов, и надзиратели додумались поднимать всех больных из постелей. Вглядывались в лица, принюхивались, не пахнет ли от кого подзаборным сортиром, искали замазанную в панике верхнюю одежду. И такая замазанная одежда нашлась. Только, конечно, не у беглецов, а у тех, кому ее подсунули. Всех их, в том числе тяжело больных, уволокли в изолятор и начали выпускать только днем, по мере того, как устанавливали по «арматуркам»\*, что верхняя одежда за тем или иным заключенным не числится.

Кому в зоне было неизвестно, что одежда первого срока имеется лишь у «воров в законе» и бандитов, хотя и не числится за ними?! Наверное, для них не составило бы большого труда установить и подлинных владельцев найденной перемазанной одежды, но надо ли выдавать своих «социально близких», от которых еще может быть получен навар. Гораздо проще не найти виновных и составить список подозреваемых в побеге, который отправить куда следует. Таким образом можно и с «социальноблизкими» не испортить отношения и попутно кое с кем из политических рассчитаться, кое от кого просто избавиться.

Меньше чем через неделю Алтайскому приказали собираться в этап, и ничье заступничество не помогло. По зоне быстро распространились слухи, что этап направляется под усиленным конвоем и с закрытым пакетом, то есть неизвестно куда. Пакет может быть открыт лишь в назначенном месте, этапируемые должны быть доставлены туда и дальше, к указанному в закрытом пакете месту конечного назначения, хоть в живом, хоть в мертвом виде.

Вместе с Алтайским этапировалась куча народа, неко-

---

\* «А р м а т у р к а» — арматурная книжка, заводилась на каждого лагерника. В нее записывалось полученное ими «вещевое довольствие», даты выдачи и сроки носки: первого срока — новое, второго срока — ношеное.

торые тяжелобольные, в том числе «вор в законе» с туберкулезом горла Серега Артемьев и еще двое «законников» — Гириша Осипов (по-человечески — Гриша) и Юрка Пахомов, которые хоть и не принимали участия в побеге, но были беспкойными по поведению и шли рангом ниже главных вожаков.

За воротами косою Журавлев злорадно посмотрел на Алтайского и деланно захохотал... Вот она — шкатулочка!

Увидеть Дубса и Тармалу, как и многих других солдагерников, Алтайскому больше не довелось. Он только узнал, что Дубс очень скоро был направлен в сангородок Азанки — полковник Бородин пунктуально выполнил свое обещание.

## Глава 8. СУДЬБЫ РАЗНЫЕ, ТРУДНЫЕ...

За вахтой Щучьего озера штрафников «обшмонали» придирчиво и дотошно — даже воры расстались со своими ножами с фигурными ручками. Алтайскому устроили «козу» — вместо резиновых сапог, в которых он приехал, выдали брезентовые тапочки несколько большего размера. На песочной почве они еще держались на ногах, но дальше, на глине, слетали с ног, приликая к влажному осеннему грунту. Так, очевидно, и должно было быть — не только не убежишь, но и уйти не сможешь! Впрочем, и другим выдали похожую обувь. В более или менее пригодной дефилировали лишь собственники — те, у кого обувь была, но не значилась в «арматурках».

Через Тавду переправляли на моторной лодке. Сначала переехал сопровождающий конвой, потом повезли штрафников, а оставшийся конвой подождал конца переправы, чтобы вернуться на Щучье озеро. Когда под дулами автоматов с того и другого берега перевозили штрафников, дотошные воры прощались с жизнью: река глубокая, желто-черного таежного цвета, кругом омуты, водовороты, а лодка ненадежная. Они знали, сколько лодок, барж и паромов уходили под воду без видимой причины, особенно если на них были «мужики» — политические, а вместе с ними для понту и их брат, уголовники...

Однако переправились благополучно. Затем пешком шли до самого Верхне-Тавдинского ОЛП. Там штрафников загнали в отдельный барак, но когда надзиратели ушли, им все-таки удалось погулять по зоне.

Алтайский отправился в ларек купить чего-нибудь в дорогу и встретил там Ваню Тер-Акопова, бывшего хозяина первоклассной Харбинской шашлычной «Иверия», а теперь лавочника лагпункта. Оба хорошо знали друг друга, и для Ваню было достаточно нескольких слов, чтобы понять дикость положения, в котором оказался Алтайсий. Досадилво чмокнув по-кавказски языком, Ваню сказал:

— Только не унывай, будем думать...

Ваню сбегал куда-то, принес десяток вареных яиц за десятку — весь капитал Алтайского, хотя яйца, очевидно, стоили дороже.

На ночь надзиратели вновь согнали штрафников в барак, где закрыли их до утра. Алтайский выложил на стол добытый десяток яиц, тем самым поставив даже «воров в законе» на уровень товарищей по несчастью, да так оно, собственно, и было в действительности. Воры, приятно пораженные солидарностью «мужика», перемигнулись — и все политические, у которых почти ничего не было из еды, оказались за столом не обильным, но общим, куда основной пай внесли воры. И позднее, до самого места назначения, сохранилось это невиданное доселе Алтайским «единение в жратве» между уголовниками и «мужиками», которое, безусловно, более выгодно было малоимущим «политикам».

Утром, когда пахучий «вагон-зак» уже отгромыхал расстояние от Верхней Тавды до Туринска, штрафников выгрузили и повели куда-то по полям. Конвой загибал такие шипяще-рычащие многоматерные словеса, что перед ними блекли осенние краски севера. Однако словеса эти производили аховое впечатление на смиренных «мужиков-политиков», а воры их просто не слышали. Завидев поле с кочанами капусты, они увлекали к нему всю колонну, выбирали вилки покрупнее, поядренее, усаживались между рядами.

— Дай, падло, нож! — это все, что слышал конвой в ответ на свои шипяще-рычащие тирады, выстрелы в воздух из винтовок и трели автоматов.

Не только капустные поля стали местами привалов — останавливались на полях с брюковой, горохом, турнепсом, а на картофельном разожгли костер, напекли картошки и устроили «перекур с дремотой». Как конвой ни бесился, но стрелять по людям, среди которых были свои, «социально близкие», не отважился, и только к вечеру усталая, пресытившаяся земными дарами компания добрела,

не торопясь, до Шурыгинского ОЛП, где собралась заночевать в общем бараке.

Ан, не тут-то было! Рев надзирателей поднял штрафников, началась суматоха. Воспользовавшись ею, кто-то из «чужих» воров упер из-под носа Алтайского последнее его достояние — мешочек с «думкой». После нового «шмона» штрафники оказались спрессованы в небольшом вагончике узкоколейки, который повез их, поскрипывая, в непроглядную темень ночи.

На рассвете достигли пункта назначения, обозначенного в «закрытом пакете» — штрафное Шурыгинское отделение, штрафной лагпункт 08 — Подгорное, штрафная зона внутри лагпункта, обнесенная пятиметровым глухим забором с калиткой, закрываемой пудовым замком, небольшой домишко без печи с маленькими не видящими солнца решетчатыми окнами и голыми, холодными двухярусными нарами...

Человек хочет располагать своей судьбой, но может только гадать на картах или кофейной гуще, какая она будет!

Как вы думаете, полковник Бородин?

Что скажешь ты, Шурочка? А ты еще говорила...

\* \* \*

Утро выдалось промозглым, серым. Выше пятиметрового забора висела серая мгла, смешиваясь с волнами тягучего тумана, который приносил запахи холодного леса и болотной прели. Четырехугольник высокой штрафной зоны вырисовывался на фоне тусклого, безрадостного, прижатого к земле неба, он олицетворял для Алтайского весь мир, все его радости и печали... Боже, как он сузился, этот мир!

Глядя на зажатый забором небольшой кусочек тусклого неба, Алтайский чувствовал в душе необычайную опустошенность. Даже если бы были крылья, все равно не хватило бы сил и желания спорить с этим равнодушным небом, лесами, болотами и пространствами, путь через которые ведом лишь птицам. Но нужно ли людям уподобляться птицам — сторожким, пугливым, ежеминутно рискующим стать пищей более сильного? Очевидно — нет! Просто потому, что у людей есть разум, есть законы, регламентирующие человеческие отношения. А уж если нет законов, тогда для людей и птичьих права хороши... К тому же все

равно крылья не вырастут — рожденные ползать летать не могут...

Тьфу! Опять Алтайский поймал себя на тяге к философствованию — плевать на этот четырехугольник на фоне неба, на весь этот мир, когда нужно думать об одном сегодняшнем дне, о том, как его прожить, а если и заглядывать вперед, то на денек-два, не больше... И, в общем-то, холодно — зачем терять калории, пропитываться сырым туманом, когда можно нырнуть в барак? Неважно, что в нем душно от нечистых человеческих тел и одежд, опасно от обилия инфекционного материала!

Когда надзиратели, сняв пудовый замок с калитки, вошли в ограждение штрафного изолятора, то увидели мирную картину — в карты никто не играл, никто никого не зарезал, не было слышно мата и подкопов никто не делал.

В столовой, куда привезли штрафников, никого не было — все уже позавтракали и ушли на работу.

Гириша Осипов, которому суп показался жидковатым, подошел к раздаточному окну, позвал повара. Показав, что хочет сказать ему на ухо что-то важное, заставил того высунуться через раздаточное окно наружу и, пока повар не отшатнулся назад, успел вылить ему за шиворот половину миски, а саму миску одеть на голову. Все это он проделал с каменно-непоколебимым равнодушием, сделал для острастки — чтобы всякая падла знала, как надо кормить штрафников и какие они сами!

На обратном пути из столовой в штрафной изолятор Алтайский увидел знакомую долговязую фигуру Павла Глущенко.

— Ты откуда? Неужели ночью приехал? Почему с блатными?

Алтайский коротко поведал о себе и тут же засыпал вопросами Павла. Оказалось, что он заведует медпунктом и ему остро нужен аптекарь. А примерно через час Алтайский после бани пришел в медпункт и облачился в белый халат...

Ну что ж, судьба играет человеком: утром — четырехугольник штрафного изолятора на фоне безрадостного неба и деревянный бушлат в перспективе, а днем — уже подобие личности. И есть чему радоваться: вороне куда ни лететь — все равно дерьмо клевать, хоть сегодня, хоть завтра. Алтайскому завтра, даже сегодня клевать дерьмо же

необязательно — он при деле, и значит, жратва тоже на-верняка будет!

Вот, оказывается, в чем смысл «трудового перевоспитания» в лагере — игра на нужде и самых элементарных потребностях. «Трудовое перевоспитание», не имеющее ничего общего ни с трудом, ни с перевоспитанием — конгломерат приспособленчества и протекционизма. И как просто: сначала силой лишить человека всего, а потом давать ему мелкие радости — большую пайку хлеба вместо маленькой, бушлат без дыр вместо дырявого, деревянную ложку вместо щепочки или пустую банку из-под тушенки вместо ничего! Радость-то какая: и будущее человечества строится задаром, и человеку хорошо — некогда ему думать о том, как он был и что есть сейчас, если он минуту назад получил целую рубашку вместо своей истлевшей или «заныкал» у повара лишнюю порцию баланды. Чем меньше человек имеет, тем меньше ему надо, чтобы почувствовать радость.

Неужели на этом предполагали строить социализм его основоположники? Ради бедных всех уравнивать, всех сделать нищими духом и телом? Или это оттого, что законы святы, да исполнители супостаты? Боже, как несчастен и беспросветно темен народ, его основная масса, которая позволила сделать из себя податливый материал для беспрецедентного по масштабам эксперимента, замысленного умными, но смертными доброжелателями, так и не успевшими доварить варево из десятков миллионов жизней!

А преемники доброжелателей и радателей народного счастья, кто они? Судя по газетам, есть один великий, гениальный, не ошибающийся верховный мессия — товарищ Сталин. «Слава ему во веки веков!» Только ведь не искренне это славословие! Попробуй кто сказать иное — «шестерки» гениального мигом оторвут этому инакомыслящему голову, скажут, что так и было, а газеты, выразители «общественного мнения», сразу подтвердят факт. Вот тебе «свобода», вот тебе «демократия», и настоящее имя им — диктатура, причем формы самой каторжной, в десятки, сотни раз деспотичнее абсолютной монархии. Страх, террор — вот истинная причина послушания и славословия! Люди, так что же практически осталось от гуманных идей социализма и коммунизма, кроме вывески? В каких Иосифов-пулеметных трансформировались Маркс и Энгельс? Уж не утопия ли их человеколюбивые идеи, обернувшиеся на практике беспрецедентным человеко-

навистничеством и усредненным нищенством народных масс?!

Ведь и за воротами лагеря не лучше: по дороге из Шурьгино надзиратель хвастал, на какой богатой свадьбе он был:

— На первое борщ с мясом, граммов аж по шестьдесят, на второе, милые мои, жареная картошка, а хлеба — хошь верь, хошь нет — ешь сколько хочешь! Вот это дак свадьба! Водка аж была окромя самогону!

Алтайский и хохотал, и плакал, когда узнал, как в народе говорят:

— За что боролись, на то и напоролись! Дожили казаки до голой сраки!..

А штрафной лагпункт 08 — Подгорное — не зря слыл гиблым местом. Костяк составляли здесь бытовые бандиты и убийцы — статья 59 УК РСФСР, и террористы — статья 58, пункт 8. Такое объединение было не случайным — предполагалось, что рано или поздно бандиты и террористы перережут друг друга, но прежде они должны были рассчитаться с государством по хозрасчетному принципу: оправдать расходы на следствие, обмундирование, питание, транспорт, обслуживание конвоем, ну и, конечно, дать хоть небольшой доход, обеспечить процентики на вложенный в дело капитал...

Нередко случались побеги. И каждый раз Павел Глущенко или его помощник-бесконвойник, бывший военный фельдшер Василий Егорыч Коротаев, выходили за зону для «подъемки трупов» расстрелянных беглецов.

В редкие выходные дни все население зоны вместо отдыха выгоняли за ворота для личных обысков, перетряхивания вещей в пустых бараках надзирателями, поиска подкопов под снятыми полами специальными металлическими прутьями-щупами. И хоть все знали, что нет пути из этого края болот и гноса, кроме полотна узкоколейки и двух-трех тропок, на которых круглосуточно сидят засады, все равно одни «шмонали», другие бегали без надежды на милость смерти, предпочитая ее рабскому существованию, порожденному неумолимыми инструкциями под эгидой неписанного закона-тайги и прокурора-медведя, шатуна, людоеда...

Но случалось и невероятное. Бывший офицер-пограничник, приравненный к террористам за несговорчивость и упорство в отстаивании человеческих прав, не скрывал, что собирается убежать наверняка. Он предупредил об



этом и конвой, сказав, что не сообщит только день побега. Кто мог предположить, что можно уйти ночью, в дождь — в топь болот. А он ушел с освещенного пятачка, где велась ночная погрузка вагонов узкоколейки, в кромешную темноту, не оставив следов. На «подъемку трупов» не вызвали, посчитали беглеца погибшим в бездонных болотах... Через месяц с небольшим бригадир грузчиков получил от бывшего пограничника письмо, в котором он передавал привет начальнику конвоя... Где ты теперь, оклеветанный герой войны?

Поразмыслив, Алтайский понял, что, уйдя один, герой сделал правильно, хотя мог бы научить, как уйти всем. Рисковать собой вправе каждый, можно рисковать и друзьями, товарищами с их ведома. Но кто поручится, что в мире, где человек человеку волк, где каждый думает о себе, не найдется слабодушного падшего, запрограммированного лагерным «кумом» предателя?

Знайте, люди, что игра на страхе, нужде, на элементарных потребностях людей, в том числе падших, предателей — одна из основ выпестованной верховными «кумовьями» системы «трудового первоспитания». Не страшно ли было авторам негласных инструкций вкладывать в слова «труд» и «воспитание» такой затаенный, подспудный смысл? Что может быть гнуснее и безжалостнее такого коверкания незыблемых, точных понятий и значений слов русского языка?

Но куда денешься, если это было? Если бежавший в одиночку офицер-пограничник усвоил это значительно раньше, чем Алтайский?

Санчасть, где в одном из коридоров поселился Алтайский, находилась на положении осажденной крепости. Бандиты требовали от завмедпунктом Павла Глущенко льгот в части освобождения от работы по болезни и грозились убить, если эти льготы не будут предоставлены. А что мог сделать Павел, если на каждый день устанавливался количественный лимит больных, за чем строго следило начальство?

Дело дошло до того, что начальник лагпункта разрешил Павлу сделать и носить с собой кинжал, что было, конечно, никудышной гарантией Павловой безопасности. Глава подгорновских бандитов Перекальский изнывал от отсутствия спирта и наркотиков — их в аптеке было мало — никак не хотел мириться с упрямством Павла, который, видите ли, не каждый день давал ему освобождение

от работы, а «шестеркам» вообще не давал. Одним словом, Павел все время находился на волоске от смерти и в темные вечера старался не ходить по баракам, а если и ходил, то в сопровождении кого-нибудь из своих.

Спать под окном без решетки Алтайскому было очень приятно. Инстинкт самосохранения то и дело заставлял его открывать глаза среди ночи: на фоне ярко освещенного оконного прямоугольника на противоположной стене иногда видна была тень головы. Стоило Алтайскому приподняться, как тень исчезала — бандиты знали, что на медпункте есть ножи и крючья для раскатки бревен.

Пока коридор был необитаем, бандиты несколько раз проникали в него через окно, но к аптечке пробраться не удавалось — дверь припирал топчан с грузным телом Василия Егоровича, которого побаивались, и не без оснований.

Как-то во время вечернего приема к нему подошла хныкающая фигура со страдальческим выражением на лице:

— Ой, Василий Егорыч, тепература, аж спасу нет! — фигура полезла за пазуху, другой рукой отворачивая ворот телогрейки: — Вот, вот тут!

Василий Егорыч подвел фигуру к распахнутому окну — вечер был теплый — и за пазухой увидел нож. Рожа страдальца мгновенно переменялась: понял?

Василий Егорыч понял отлично. Уже в следующее мгновение фигура вылетела в окно, так и не успев достать нож. Пока пожилой, тучный Василий Егорыч бежал через коридор на улицу, фигура поднялась и, увидев разъяренного Василия Егоровича, пустилась наутек...

Доставленные этапом со Щучьего озера туберкулезники так и сидели в штрафной зоне. По состоянию здоровья большинство из них числилось инвалидами, на работу их не гоняли. Все они нуждались в специальном медицинском обслуживании, которого маленький медпункт не мог обеспечить, и вскоре один из штрафников умер. На просьбы Глущенко забрать туберкулезников в стационар Шурыгинского ОЛП начальство ответило, что примет только больных с высокой температурой — симптоме скоротечной чахотки. Кое-кого по этим признакам удалось отправить, а как быть с другими, болеющими туберкулезом в открытой форме — постоянным источником инфекции? Можно распространить заразу, и весь лагпункт сделать моргом.

Через некоторое время, увидев, что штрафники, в общем-то, люди больные и смиренные, надзиратели перестали

закрывать калитку к ним на день. Сразу же Артемьев, Осипов, Пахомов попросили Алтайского принести им шприц с иглой — и в тот же вечер Глущенко отправил Артемьева и Осипова в сангородок на законном основании — с высокой температурой. На следующий день то же произошло с Пахомовым и двумя менее именитыми его товарищами. Шприц гулял из аптечки в штрафную зону до тех пор, пока все штрафники, кроме Алтайского и некоторых «политиков», не оказались отправленными в сангородок.

Алтайский был посвящен в несложную, но опасную для здоровья операцию, поэтому ни слова не сказал Глущенко — все равно никто не смог бы удержать людей от риска. Алтайский считал себя правым — люди сами шли на риск, никто из них не умер, но в результате больные оказались в больнице, а лагпункт очистился от источников инфекции. Оставшиеся больные с закрытой формой рассосались по баракам дневальными и кухонными, чему поспособствовал Глущенко.

Где и как доставали штрафники граммы молока, осталось тайной. Молоко кипятили, набирали в стерилизованный шприц и кололи друг друга в ягодицы. Это была рискованная операция, в результате которой температура тела повышалась до 40°, а при передозировке мог быть и конец. Но штрафники ухарски смеялись:

— Чего здесь опасного? Сколько трипперов повывлечивали?

— Как это? — изумился Алтайский.

— А ты что, не знаешь, что ли? Как триппер поймает, молоко или скипидар в самый раз: всадишь укол, тебя крутанет аж за сорок градусов, тут заразе и хана, а ты здоров! Только сразу надо делать, как поймает; затянул с лечением — тут тебе чижики запросто расчетвертуют! Ха, ха, ха...

— На фронте так же, — добавил какой-то «политик», — там насчет этого строго, под трибунал можно было попасть...

\* \* \*

Как-то днем из лесу привели саморуба — отрубил себе половину большого пальца на ноге, но неудачно: торчал обрубок сколотой кости. Медпомощь саморубам обычно заключалась в наложении повязки, остановке кровотечения и

в составлении акта о членовредительстве для привлечения к уголовной ответственности за контрреволюционный саботаж.

Саморуба сопровождал надзиратель. Глущенко осмотрел посиневший палец, затянутый веревкой для остановки кровотечения, и, несмотря на присутствие надзирателя, решил помочь саморубу быстро выздороветь и, значит, избежать суда. Нужно было откусить хирургическими кусачками недорубленный осколок кости, натянуть кожу и зашить. Скривив по-блатному рот, Павел процедил больше для надзирателя, чем для саморуба:

— Больно? Еще не так будет! Я тебе покажу, как мастырить!

Операция действительно была варварской, как во времена Крымской войны: Павел обкусывал кость кусачками без анестезии, саморуб орал, а надзиратель, выбежав на крыльцо, блевал от страха и отвращения... А через две недели Павел чудом уклонился от удара ножом. Нанес его спасенный саморуб, который выздоровел и потому должен был вновь выходить на работу.



Цыган Сашка — невысокий, хорошо сложенный атлет лет двадцати пяти, вначале сидел, как все цыгане, за воровство. Позднее получил статью 58, пункт 14 (контрреволюционный саботаж) за неудачную «мастырку». Потом он одумался, устроился поближе к кухне, отъелся и начал самостоятельно учиться играть на баяне. Годика через полтора заиграл так, как могут одни цыгане — заставил баян петь, что хотела цыганская душа. Все было бы хорошо, если бы не бабы, без которых Сашка жить не мог, за что и попал на 08. Правдами и неправдами он постоянно оказывался в сангородках, где были женщины. Сашка считал нужным водить дружбу с медиками, оказывался при этом нужным, услужливым, бесшабашно преданным и честным.

По вечерам, после приема больных, Сашка приходил в санчасть с баяном, пытался учить игре то Павла, который больше предпочитал слушать, то Алтайского. И как бы между прочим просил отправить его в Шурыгинский сангородок к «жене», которой на самом деле не было, но которую, безусловно, нашел бы красивый, талантливый, эксцентричный молодой цыган. Отправить совершенно здорового Сашку Глущенко не мог, и цыган это понимал.

Но бабы, бабы — как жить без них? Не сказав ничего и никому, Сашка решил на авантюру...

Солнечным утром Сашку принесли в санчасть. Конвульсии содрогали его тело, глаза закатывались, расширенные зрачки смотрели бессмысленно, на губах кипела пена... Вместе с ним принесли остатки какой-то темно-желтой луковицы или корня, который он не успел доесть на пустой желудок.

Цыкута вироза — яд, особенно сильный осенью, после полного созревания растения, о чем Сашка, наверное, не знал. А, может, просто переоценил силу молодости...

Срочное промывание желудка с танином, сердечные средства не помогли — Сашка скончался, за несколько секунд перед смертью окинув осмысленным прощальным взглядом знакомые лица и пытаясь виновато улыбнуться...

О, небо! Каким драконам ты доверило справедливость!? Где она? Миллионы женщин плачут ночами в тоске по мужской ласке, а тоскующий по ним молодой, темпераментный мужчина, потенциальный муж и отец, бьется в конвульсиях и гибнет перед порогом их жилищ в неравной схватке с драконовскими порядками!

В ежедневной сводке, переданной лагпунктом в отделение, оттуда — в управление и далее — в область и Москву, под шифром «черных — один», была вычеркнута жизнь Сашки-цыгана...

Неужели не найдется человек, который вырвет из подвалов и сохранит для истории эту статистику, начиная с времен коллективизации и ежовщины? Или, может быть, тот, кто суммировал эти цифры, сам не имел права выхода из подвала и, когда наступало время, своей рукой добавлял себя к списку самоубийц, расстрелянных, умерших? Кто знает!

\* \* \*

Частым гостем санчасти был нарядчик-барнаулец — земляк Алтайского по месту рождения. Невысокий, плотный, улыбчивый, розовощекий, с нечеткими, плохо запоминающимися чертами приятного лица. Не был он ни «врагом народа», ни бандитом. Просто в жизни ему не повезло: в первом же бою его, мальчишку, контузило, он целехоньким достался немцам, но сумел убежать, а когда вернулся к своим, его встретили как чужого и, порядком помотав, приклеили ярлык изменника.

Имя у него было простое, русское — Володя, но тоже не запоминалось, как и черты лица, однако стоило сказать: да этот, как его, — «летят утки», и собеседник сразу подхватывал «и два гуся» — знаю, нарядчик!

Парень он был справедливый, положительный и, как все «политики», не находил общего языка с бандитами и ворами, чувствовал к ним неприязнь, на что бытовики ему отвечали тем же. Даже в самых трудных ситуациях Володя никогда не унывал, по крайней мере, внешне. Будучи в хорошем настроении, он пел «летят утки и два гуся...», при затруднениях скорее декламировал, чем пел, а в пиковом положении чуть ли не шептал, но все про этих же уток...

Работа нарядчика не трудна, но и приятного в ней мало: с утра обеспечить выход на работу всех, кому положено, а положено всем, кроме обслуги и больных. После выхода на работу — развода, пройти по баракам и отыскать тех, кто самовольно не вышел — отказчиков, сделать доклад начальству в цифрах. Днем другие различные дела: принять этап, отправить больных, установить время работы бани, «прожарка», сушилок, установить очередность мойки бригад и черт-те что еще... Вечером разнарядка — распределение бригад по объектам работы на завтра. Самая большая трудность — быть буфером между зоной и начальством, привыкнуть к недовольству власть имущих и к угрозам власть неимущих — все равно никому не угодишь...

Должность собачья, но все же лучше лесоповала двуручной пилой или лучкой, трелевки леса на пару с лошаденкой, раскатки и штабелевки бревен на складах, погрузки в открытые полувагоны — «гондолы»...

В общем, радостей у нарядчиков мало. Но «Летят утки» их находил, и большей частью в радости других. Если «Летят утки» было слышно от вахты, значит, есть хорошие вести: пришли посылки либо почта, привезли продукты или приезжает агитбригада, наконец, просто о ком-то и для кого-то есть радостное известие. В санчасть, за исключением случаев, когда надо было звать на «подъемку трупа», «Летят утки» ходил всегда с радостью — это было единственное место, где он мог не опасаться, — знал, что ни ножа, ни топора для него здесь не приготовлено.

Через неделю после профанации похорон — отправки за зону «деревянного бушлата» из четырех досок с Сашкой-цыганом, Алтайский увидел, как «Летят утки» прямо с

вахты припустил в санчасть рысью. В коридоре раздалось его громкое:

— «Летят утки и два гуся»... — и затем: — Знаешь, Юрий, на тебя пришел спецнаряд, вызывают в Тавду, написано начальником управления... Поздравляю!

Нищему собраться — только подпоясаться.

Уже выйдя за зону, Алтайский пожалел о торопливости, с какой он не прощался, а досвиданьился с теми, кого в лагерных дебрях признал и почувствовал товарищами... Можно было догадаться и брезентовые тапочки сменить на ботинки...

За зоной конвоя не было, вахтер указал на груженный бревнами состав узкоколейки, впереди которого уже пыхтел паровозик-«сормовец»:

— Видишь сзади крытый вагончик, садись в него и жди...

В вагончике оказались еще пассажиры, с которыми Алтайский доехал до Шурыгинского ОЛП, так и не увидев сопровождающего. Попутчики показали ему дорогу в ОЛП, но в зону Юрия не пропустили:

— Ну и что, что из Подгорного? Если есть деньги, сходи вон в магазин, там вино продают.

— Спасибо, денег нет, да я и не пью... Вы знаете, у меня пятьдесят восьмая, срок двадцать лет...

— Да как же тебя одного отпустили?

— Вот и я говорю... Пропустите меня в зону, а то еще кто-нибудь придумает, что бежать хочу, — было уже со мной такое.

— Мало ли что было! Может, тебя на свободу отправляют.

— Нет, мне еще долго сидеть, я по спенцаряду еду.

— Все равно нельзя в зону без документа! Иди-ка ты на все четыре стороны, хошь — посиди на лавочке за вахтой, хошь — гуляй!

Примерно через час появился молодой надзиратель:

— Извини, — виновато улыбнулся он, — я тут домой забегал...

— Ты даже не сказал, куда идти. Ну, а если бы я убежал?

— Что ты! Ты же по спецнаряду едешь... А хочешь, в зону заходить не будем, пойдем к вечеру в Туринск, там тебя и сдам прямо в вагон?

Черт знает, что такое — этот русский характер! Только он может рождать дикие контрасты и вызывать неожидан-

ные, противоположные эмоции: утром — возмущение перед постоянно нацеленными в тебя дулами, а через час — изумление перед доверием, которого ты, оказывается, заслуживаешь.

Алтайский согласился идти прямо к поезду, не подумав о том, что путь до Туринска не близкий, что его брезентовые тапочки будут слетать на каждом шагу — хоть босиком беги по влажному грунту, напоенному колючим холодом! И ни веревки, ни проволочки в чистом поле не найдешь, чтобы привязать эти чертовы тапочки к ногам!

Так и прощандыбал Алтайский всю дорогу до поезда внаклонку, на полусогнутых, чуть не на карачках... Хорошо еще, что успел вскочить в уже тронувшийся вагон-зак, да и то ценой потери тапочки, которую надзиратель, смеясь, бросил ему вслед вместе со словами:

— Будь здоров! Приезжай, как освободишься!

Вагонная держиморда, видать, из вологодского конвоя, посмотрела сопроводительные документы, потом на запыхавшегося Алтайского и изрекла:

— погоди, я те сейчас освобожу!

Держиморда прошла по коридору, выбрала переполненную камеру и затолкала туда Алтайского, хотя рядом камеры были полупустые...



Потом Алтайский узнал, что нарядчика Володю — «Летят утки и два гуся» — бандиты зарубили через месяц после его отъезда из Подгорного. За убийство полагался расстрел, никто из бандитов не хотел терять жизнь, но они хотели внушить страх окружающим, поэтому жизнь, и свою и нарядчика, поставили на карту — проигравший должен был убить и пойти под расстрел. Если проигравший не рассчитается за проигрыш, то убьют его самого, а розыгрыш повторится...

«Летят утки» после развода, как всегда, пошел по баракам в сопровождении двоих надзирателей для проверки не вышедших на работу, больных и «отказчиков». Бандит, сидевший на верхних нарах, трясаясь от страха, ударил нарядчика топором по голове сзади, когда он прошел мимо, тихо декламируя «летят утки...», и еще раз, когда тот нашел силы повернуться к нему после удара, так и не успев дошептать «...и два гуся». Надзиратели разбежались, но убийца не избежал кары. Возмущенные расправой со «сво-



им нарядчиком», «политики» под предводительством Александра Гречина, в бригаде которого Алтайский работал в Азанке на «шпалорезке», решили проучить бандитов. Однако те были наготове...

Обе стороны понесли значительные потери убитыми и ранеными. В бараках и на снегу между ними долго еще оставались густо сдобренные кровью следы людей с вывороченными внутренностями... Санчасть уцелела — кому-то надо было оказывать помощь недорезанными ножами и недопоротым крючьями для раскатки леса...

## Глава 9. КОНЕЦ БРИГАДИРА ВАЛЕЕВА

По пути в Тавду Алтайский так и не уснул — мешала теснота, стоны, вскрики мечущегося во сне быдла — бывших граждан, превращенных в ничто, подопытных мышей в величайшем эксперименте перевоспитания — наибольшего удешевления строительства передового в мире общества.

Полдороги Алтайский простоял — некуда было приткнуться, хотя ноги гудели от ходьбы. Только после того, как удалось сесть на краешек деревянного сундучка, вытащенного из-под нар каким-то энергичным старичком, Алтайский понял, как он утомлен.

Ему казалось странным отсутствие упаднических мыслей о своем существовании и ждущих его перспективах. Сначала Алтайский подумал, что причиной тому было человеческое отношение сопровождавшего его до поезда надзирателя, впечатление, которого не могла омрачить даже вагонная держиморда. Потом подумалось о том, что вызов начальника управления лагеря из того гиблого места, где он находился в последнее время, может быть прелюдией к переводу куда-нибудь для выполнения инженерных заданий. А почему бы и нет? Ведь все видели, что он не жалел себя на работе. Все знают, что он многое может и умеет делать, что он честен, исполнитель, инициативен. И, главное, наверняка всем ясно, что никакой он не преступник! В Верхне-Тавдинском ОЛП Алтайский сразу же пошел в УРЧ, в ту темную комнату, в которой ему когда-то зачитали приговор. Там все осталось без изменений, не было лишь томных девчонок и «вертухая». Вместо них за столом восседала мрачная фигура, которая едва подняла голову над высокой кипой бумаг при появлении Алтайского.

— Я приехал ночью, вызван спецнарядом, моя фамилия...

— Знаю, — перебирал мрачная фигура.

— Что мне дальше делать?

— А ничего. Кто-то тебя выручил. Хочешь — спи согласно категории трудоспособности... Она у тебя четвертая, так что можешь не работать...

— Значит, меня вызвали не на работу?

— Я ж сказал, что тебя просто кто-то выручил. Говори спасибо, что ты в центральном ОЛП, а не на штрафной... Отдыхай!

Уже на крыльце Алтайский окончательно уразумел, что категория у него четвертая и, значит, действительно можно не работать. Есть за что вспомнить добрым словом доктора Дубса или, может быть, полковника Бородина?

Вано Тер-Акопова Алтайский нашел в ларьке, в прежней должности зава, как и полтора месяца назад.

— Вот ты и здесь! — обрадовался Вано.

Вано говорил по-русски почти без акцента. О его кавказском происхождении можно было судить лишь по построению фраз да по мыслям, выражающим органическую неспособность изменить отношение к человеку, которого он знает.

— Я зашел к тебе, Вано, чтобы сказать спасибо...

— Послушай, какое может быть спасибо? Ты что — меня не знаешь, я тебя не знаю?

— Нет, Вано, спасибо за то, что ты человек хороший.

— Ты что, сумасшедший, что ли? Тогда я тоже должен тебе сказать спасибо! Вообще, трудно нам, Юрий, но нам нельзя поддаваться. Как ты думаешь?

Поседевший, осунувшийся, плохо выбритый, в стандартном лагерном одеянии, но еще сохранивший склонность к полноте, Вано выглядел уставшим от борьбы с жизнью, с самим собой, с наступающей старостью.

— Я тоже много думал и считаю, что поддаваться нельзя, хотя это очень трудно сейчас, когда не знаешь, кто волк, кто собака, кто человек, — сказал Алтайский.

— Все правильно! Ты думаешь, кавказский собака нет? Тоже есть. Я думаю, главный собака — Берия, а Джугашвили ему верит... Ему все равно — кавказец или русский, хороший или плохой человек. Только я не знаю, какой дурак придумал, чтобы все работали, как ишаки? Кому не интересно: есть у человека голова или только руки и ноги?

Зачем хороший коммерсант, профессор, доктор работают, как ишак?

— Я тоже не знаю, Ваню. Но, по-моему, это придумал не дурак, а очень умный человек, только большая сволочь. Доктору или коммерсанту нужно платить столько, сколько они стоят, а ишаку — вот мне, тебе — платить не надо, можно даже сена не давать, кормить соломой. И еще, Ваню, коммерсант и доктор думать умеют, а ишак нет. А самое обидное, Ваню, вот что: быть людьми от рождения, вырасти, чему-то научиться для того, чтобы стать ишаком у плохого хозяина, который и кормить-то тебя, ишака, будет соломой и не досыта, чтобы ты скорей подох, не стал потенциальным противником рабства, без которого, как видно, не построить человеколюбивое общество в мировом масштабе...

Ваню задумался:

— Почему голова сейчас дешевле соломы, которой нас кормят, — не могу понять! Наверное, потому, что плохих людей, корыстных людей стало больше, чем хороших, потому что жизнь собачья, кости друг у друга отнимаем, понимаешь — кости, не мясо... Говорят, евреи плохие, цыгане плохие — ничего подобного! Бог дал всем нациям одинаково плохих и хороших людей. Сейчас жизнь в России плохая, а я не хочу, чтобы мой сын, твой сын, сын Амвросия Захтрегера стали плохими людьми, а они станут плохими, если такая жизнь пойдет дальше. Жить надо не ради светлого будущего, надо сейчас жить светло, жить нормально. Не будут наши дети братьями, если сейчас мы вореем друг у друга, нищий у нищего...

Ваню помолчал секунду, другую, потом продолжил мысль:

— Мы с тобой социализм не знали, наши земляки, те что сейчас в лагере, тоже не знали. А скажи, почему все они работают честно, добросовестно, умирают от работы? А здешние, советские, нам говорят: от работы кони дохнут. Уже нет добросовестности! Люди не хотят работать, потому что привыкли получать одну солому и не верят, что за хорошую работу им дадут больше. Мы этого не понимаем... Видишь, психология у советских людей другая. Мы получали за работу, что она стоит, они получают, что дадут. Есть люди на воле, я беру у них товар для ларька, некоторые получают триста рублей в месяц, а кило хлеба стоит тридцать рублей. Как можно так жить и как можно работать хорошо? Все вокруг у главного грабителя — государст-

ва. Когда будет лучше, никто не знает, а теперь уже никто и не верит, что когда-нибудь может быть лучше. Ой, плохо нам...

— Ваню, милый мой, все равно нам нужно жить по человеческим законам, жить с чистой совестью.

— Вот это правильно. Мы так и будем жить, пока живем, только нас не понимают...

— Черт с ним, Ваню! — в сердцах сказал Алтайский. — Нам все равно не переделаешь — у каждого свой царь в башке, мы не Валеевы...

— Ты знаешь, Валеева? — спросил Ваню и, не дожидаясь ответа, сказал: — Он здесь бригадиром. Жестокий человек, бригада его боится, не уважает...

Оба замолчали, вспомнив Валеева, Алтайский — по доброй памяти Тигеню, Ваню — по Тавде.

— Еще могу тебе сказать, — прервал молчание Ваню, — еврея Амвросия Захтрегера знаешь? Сидит со сроком двадцать лет, а бесконвойный. Думаешь, почему? Даже начальство понимает, что он не убежит, он честный, хороший и умный... Его взяли в Польше, потому что по глупости заговорил с советскими офицерами на чистом русском языке. Сейчас Захтрегер ходит в управление, помогает там разным работникам, которые, наверное, мало грамоту знают. Амвросий видел тебя вместе с бандитами, только головой качал и никак не соглашался, что ты тоже бандит. Так вот, он ходил к начальнику управления и про тебя все рассказал. Неделю назад Захтрегер сказал мне, что скоро ты обратно приедешь. И вот ты здесь... Понимаешь, настоящий советский человек не пойдет к начальству, его жизнь заставила быть эгоистом, его не интересует чужой человек, справедливо или несправедливо тот наказан, ему все равно...

Последние фразы заставили Алтайского по-собачьи навострить уши. Ваню несколько не удивился, когда Юрий обнял его вместо Захтрегера — и в лагере, когда Юрий обнял его вместо Захтрегера — и в лагере, оказывается, есть бескорыстная человеческая солидарности!

\* \* \*

Будучи официально освобожденным от работы, Алтайский тем не менее решил подыскать себе какие-то занятия. Два обстоятельства заставили его это сделать. Во-первых, он отлично понимал, что долго без работы его все равно не

оставят, обязательно найдется кто-то из начальства, кто заинтересуется «филоствующим политиком» и позаботится о том, чтобы загрузить его работой, но работа при этом будет дана наиболее тяжелая — уж лучше заранее позаботиться о ней самому! Во-вторых, работа, особенно если она окажется не совсем каторжной, сносной, отвлечет от тягостных мыслей, раздумий, даже поможет в какой-то мере скрасить безрадостное существование.

По подсказке Ваню Тер-Акопова Алтайский пошел посоветоваться к Руфу Ананьину. К этому времени следователи и его привезли из Азанки в Тавду, довольно быстро — за пару недель! — провели следствие, дали за «измену Родине» 20 лет, и Руф стал (теперь уже на «законном» основании) художником-оформителем зоны, а еще по совместительству — художником-декоратором и артистом агитбригады.

В закутке Руфа стоял топчан, чуть дальше располагалась мастерская, в которой, как всегда, толпился народ. Там-то и встретил Алтайский двух новоявленных бухгалтеров — коллег по университету, Юрия Касакина и Валентина Важинского, к которым сразу завербовался в помощники. Жить он устроился вместе с ними — прямо в бухгалтерии. Уж лучше было спать на пахнущем архивом сундуке в конторке, чем мыкаться в переполненном стариками и инвалидами бараке. Сундук между стенкой и шкафом был, правда, коротковат. Спать на спине не получалось, да и на боку, с поджатыми коленками, было не очень весело — по утрам спина и шея не сразу разгибались, но зато воздуха и прохлады было вдоволь — пришел ноябрь, а с ним и снег, и холод.

Немудреную науку расчета допайков, меню-раскладок по нормам пищевого довольствия, хитрую систему замены мяса и жиров на ржавую вонючую селедку, мерзлую картошку и ячневую крупу Алтайский одолел за считанные дни. Важинскому и Касакину стало полегче, но и втроем они едва справлялись с порученной работой — тысячи людей, десятки перестановок бригад, за которыми нужно ежедневно успевать, каждому рту выдать то, что заработано его владельцем накануне. Попробуй они не дать ведомость, бумажку, ордерок, оформленные, завизированные и подписанные к положенному часу, сразу стало бы нечего есть этим тысячам голодных людей, а Важинский, Касакин да и Алтайский вместе с ними «загремели» бы в БУР — штрафной изолятор, на штрафной паек, где и сидели бы в ожида-

нии очередного этапа в лес по дрова или за деловой древесиной...

Однако вечера были свободными. Иногда удавалось даже развлечься, когда привозили киноленту либо выступала агитбригада. В декабре сорок восьмого года Алтайскому, впервые после сорок пятого года, вновь довелось послушать Витю Лаврова-Турчанинова, премьера харбинской драмы и оперетты. Любимец харбинской публики, вернувшись на Родину, тоже оказался в лагере...

И ладно бы все было, если бы Анна Ефимовна, вольнонаемная заведующая медпунктом, не пронюхала, что Алтайский работал на медпункте в Подгорном. Медиков не хватало, а как известно, на безрыбьи и рак рыба. После разговора с Алтайским, который так и не научился врать корысти ради, она дала соответствующее распоряжение нарядчику... На следующий день Алтайский в белом халате уже принимал с умным видом больных, симулянтов и мастырщиков под руководством «без пяти минут врача», бывшего студента французского университета «Аврора» в Шанхае, а теперь «пособника международной буржуазии и шпиона» Володи Клепикова.

Клепиков — высокий, худощавый, с не то чуть сплюсненным, не то с перебитым острым носом, отчего он слегка гнусавил, оказался парнем хоть куда. Чтобы не ударить лицом в грязь, Алтайский с жадностью начал глотать книги и руководства по медицине, которые доставал Клепиков, и, располагая в достатке наглядным материалом, увлекся медициной не на шутку. Клепиков подзадоривал, подкусывал Алтайского, тот злился и не выпускал из рук книги до тех пор, пока не уяснил окончательно очередной Володин вопрос-подвох. Работы было много, работать было трудно, но интересно, а значит, и легко. Не обходилось без ошибок, которые Алтайский считал непростительными, но это была учеба, за которую требовалось платить и очень шадить собственное самолюбие.

Обычно Клепиков жестоко обходился с симулянтами, особенно из воров и бандитов — те его, конечно, не жаловали, грозили при случае расчитать. Поэтому Володя не ходил к больным по вызовам в бараки — они освещались тусклыми лампочками, коридоры не освещались совсем, там легко можно было попасть в ловушку. Володю подменял Алтайский с самыми широкими полномочиями от Анны Ефимовны — мог освобождать от работы всех, кого счи-

тал нужным. Не обошлось без случаев, которые подтверждали его порочное знание медицины.

...Ночь. Холод на дворе. Сыро и душно в темном бараке, отведенном для рецидивистов — отпетых воров и бандитов. В темноте не было видно, кто стонет:

— Ой, мать-перемать, до чего ж голова болит, аж опухла, раскалывается... Ой, доктор, не глумись, ничего не дам щупать, пропадаю... Ой...

— Дай только руку!

Рука действительно или с холоду показалась Алтайскому очень горячей, пульс учащенный, напряженный... И все знания иссякли.

— Ладно, — решил Алтайский, — завтра на работу не ходи, лечись — вот порошки, попей сейчас и утром, а днем приходи в санчасть. Как твоя фамилия, чья бригада?

— Доктор — человек! — раздался сразу поздоровевший голос больного. — Не то, что этот гнусавый! Может «цифирьку» попьешь с вишневым вареньем?... Ой, а мне и «цифирь» не помогает, ужась просто! — опять «заболел» голос.

На следующий день Алтайский узнал в больном того самого бандита, который отобрал у него год назад свой котелок с купленной Алтайским картошкой.

— Я тебя узнал, — шепнул бандит. — Ты человек, доктор, зла не имеешь, давай «по петушкам» \* жить?

Клепиков, конечно, слышал шепот, но сделал вид, что ничего не заметил. Осмотрел бандита, выстукал, выслушал и громко поставил обычный диагноз, обусловленный для таких случаев:

— *Niheritis acuta mudificans!* \*\*

Алтайский готов был провалиться сквозь землю за свою вчерашнюю ошибку, но лицо бандита вытянулось, и он произнес со страхом:

— Это всуерьез? Цыкута, говоришь? Знаю, как от нее дохнут! Может, взаправду лечиться надо?

— И еще как серьезно, — невозмутимо сказал Клепиков. — Я тебе дам порошки, пей неделю по три раза в день. Тебе обязательно надо выходить на работу, дышать

---

\* «По петушкам» — дружески, в основе: дай пять (пальцев, руку) для дружеского пожатия.

\*\* Условное обозначение диагноза симуляции — трудно переводимый воляпок латинских окончаний с нижегородскими выражениями и латинского слова острый (с англ.).

свежим воздухом, двигаться, чем больше, тем лучше... Болезнь серьезная, но может и пройти, если сам себе не враг. Ты еще молодой. А через неделю я тебя обследую. Никаких «цифирей», мяса тоже не ешь — нужна диета. Будет слабеть — значит, дело пошло на поправку. Give me patrium sulfuricum in pulveris,\* — добавил он, обращаясь к Алтайскому.

Недоверие, возникшее в глазах бандита от назначения работы и движения на чистом воздухе, при последних словах Клепикова вновь сменилось выражением почти паники:

— Ну, и доктора у нас! На чистой латыни разговаривают, — сказал бандит, не то подбадривая себя, не то демонстрируя эрудицию. В ящике Алтайский нашел только девять пакетиков с глауберовой солью, поэтому быстро отвесил и мастерски зачерпнул еще три.

— Я даю дозы чуть побольше, — тихо сказал он бандиту, когда Клепиков отвернулся. — Должно подействовать через три-четыре дня. Не подействует — приходи, дам еще...

Подействовало «лекарство» через полтора дня, так как бандит вообще перестал есть — черт их знает, этих докторов! Ведь на чистой латыни разговаривают, ученые...

\* \* \*

В начале нового 1949 года поползли слухи, что бандитов будут отделять от 58-й. Вскоре они подтвердились: была освобождена и выгорожена отдельная зона, и Анна Ефимовна поручила Алтайскому организовать там свой медпункт.

— Мужик ты покладистый, бандиты тебя не тронут. Да и все равно мне посылать туда некого, а чуть что санчасть рядом!

Под медпункт выделили отдельный домик, начали его ремонтировать под присмотром Алтайского. Когда домик был почти готов, поставили стол, пару табуреток и натопили печь, туда неожиданно явилась бандитская делегация, которая, без сомнения, специально подстроила это свидание с Алтайским.

Следом за главарем-паханом вошли «шестерки» с котелками и парой бутылок с осветленной солью политурой,

---

\* Дай мне (с англ.) глауберову соль (с лат.).



один вид которых вызвал у Алтайского представление о медленном превращении в пересоленного караса, стоит только выпить хотя бы глоток...

Пахан — маленький плюгавенький человек, о высоком звании которого в воровской иерархии свидетельствовало лишь одно отличие — особого покроя жилет, почему-то называемый ворами «правилкой». Вцепившись острыми глазами в лицо Алтайского, пахан начал:

— Тебя позычил Серега Артемьев... Ты сам чуешь, где с Серегой был... Свой ты мужик в доску, и нет падлы подметывать под тебя карты! Соображаешь?

Еще бы не сообразить! Пахан ясно дал понять, что его жизнь не будет разыграна в карты, если... А что потребуют бандиты взамен?

— Все у тебя будет — и «подхарчиться», и «подбарахлиться». Сам «прохаря»\* тебе найду хромовы... Соображаешь?

— Соображаю.

— Вот и лады! Ну, что я говорил? — стрельнул пахан глазами на окружающих.

«Шестерки» подали Алтайскому ложку, а сам пахан налил себе, потом Алтайскому политуру в подставленные «шестерками» кружки.

— Как зовут-то тебя? Леха? — переспросил Алтайский. — Так вот что, Леха! Будем мы кирюхами, но разговор еще впереди... А для начала скажу тебе прямо: желудок у меня больной, поэтому политурой меня не неволь, хотя чокнуться с тобой и хоть каплю выпить — обязан! Будь здоров и все вы!

Вновь обретенные кирюхи заулыбались.

— Мужик по делу! — резюмировал пахан. — Эх, будь мы на воле, неделю б пили, что хошь!

Алтайский поднес кружку ко рту, чуть не обжог едучей солью губы и сделал вид, что проглотил. Пахан допил свою до дна, сплюнул:

— Тьфу, зараза!

— Леха, пусть ребята выпьют за мое здоровье, — сказал Алтайский, передавая свою кружку пахану. Пахан благосклонно принял кружку и пустил по кругу «ребят», которых не очень хотел видеть Алтайский: уже совершенные ими преступления и готовность совершить новые, любые, самые пакостные, — все это накладывало на облик банди-

---

\* Про харя — сапоги.

тов особый отпечаток, лица их, эти зеркала души, были похожи на человеческие лишь у некоторых...

Алтайский давно не пробовал ни колбасы, ни вареной печени, ни риса с салом, заправленного острым соусом, поэтому поел осторожно — не расстроился бы желудок от давно забытых яств.

Разговор закончился полюбовно. Бандиты требовали освобождения от работы десяти человек ежедневно и «марафету»\*. Алтайский ответил, что может взять на себя пять человек, а «марафета» не будет — спецзона, не дадут. На том и порешили.

Анна Ефимовна была довольна:

— Только пять человек — неплохо, неплохо. Можно было и больше, но правильно сделал, что торговался. И подхарчиться, подбарахлится не стесняйся, иначе житья не дадут и ноги можешь не унести целым...

Так Алтайский впервые почувствовал на себе смысл «блата»: я тебе — то, ты мне — это, конечно, украденное или добытое иным не слишком честным способом, а то и экспроприированное у главного экспроприатора — государства. И значит, слово «блатной» означает не просто качество, присущее уголовнику, но еще и «своего», которому можно доверять, который не подведет. «Хорошо, если «блат» принят только среди уголовников, — подумал Алтайский. — А если нет?»

Но Алтайскому не суждено было попробовать «блат» на зуб в натуре, кроме яств на «товарищеском ужине» с бандитами. Новый медпункт так и не открылся. Пошли слухи о подготовке этапа пятьдесят восьмой за пределы лагеря, а к началу марта начали прибывать из «глубинки» — лесных, отдаленных лагпунктов — будущие этапники, в том числе женщины.

Владимир Клепиков, Виктор Лавров-Турчанинов, Ваню Тер-Акопов и другие из тех, кто нужен на месте, оставались. В этап пошли отсидевшие меньше трети срока и неугодные. Попал в неугодные и Амвросий Захтрегер.

Приехавшие женщины размещались в стационаре, на медпункте и очухавшиеся от дистрофии мужики петушились, не прочь были помахать крылом, проверить свои силы и способности. Но, в общем-то, не очень уверено...

За несколько дней до этапа и Володя Клепиков стал ку-

---

\* М а р а ф е т — наркотик.

да-то исчезать по вечерам до окончания приема на медпункте. Подбивать итоги, укладываться в лимитированный план и поэтому не давать освобождения от работы даже больным с температурой — все это, в конце концов, надоело Алтайскому, и он решил Володю разыскать.

Дневальный указал на дверь комнаты, предназначенной для процедур, где больным иногда ставили банки и горчичники — весь диапазон физиотерапии, поскольку другого оборудования не было.

Дверь оказалась незапертой. На диване сидел Володя в обществе двух миловидных представительниц перекрасного пола и растолковывал какую-то французскую фразу.

— Здравствуйте, — церемонно раскланялся Алтайский. — Володя там на прием пришел старик один, что-то я не разберусь, в чем дело...

Клепиков с явной неохотой приподнялся с дивана:

— Знаете, Люсенька, пойдемте-ка вместе — я быстро разделаюсь, вы мне не мешаете. А Юра, — Володя подмигнул Алтайскому, — пусть поразвлекает Клаву, чтобы не стать совсем дикарем.

Володя с Люсей ушли, оставив ключ с внутренней стороны. Алтайский растерялся: о чем говорить с незнакомой молодой женщиной? И вообще, как с ними надо говорить? Хамить, дерзить или ухаживать и любезничать? И другое что-то не приходило на ум... Ведь это не Шурка. Той бы врезал, что захотел. Шурка проще, сразу ясно, что ей важно и нужно. А с этой неизвестно...

А Клава? Шатенка с приятными, но настороженными серыми глазами; с неопределенными, но миловидными чертами лица, серьезная по одеянию, приятная по плавным жестам, по выражению лица. Не королева, но что-то в ней есть... Впрочем, как и во всех женщинах.

— Юра, да вы действительно совсем стали дикарем, — сказал Клава приятным голосом. — Или только одичали? Вы из самого Харбина или с линии?

— А разве не заметно, откуда? — нашел почву под ногами Алтайский. — Вообще-то я «паря-зараза» из Трехречья...\*

---

\* Трехречье — большой район на севере Маньчжурии, примыкающий к Забайкалью, где осели несогласные с революцией забайкальские казаки. Они сохранили специфику быта, нравов, обычаев, оставшись почти на дореволюционном культурном уровне. «Паря = зараза» — один из образцов сохранившегося там лексикона.

— Ну уж, не поверю! — пожала плечами Клава. — Вы из Харбина.

— А вы из Нахаловки? \*

— Да, а как вы догадались? — улыбнулась Клава.

— «Пари-заразы» вообще догадливые, — объяснил Алтайский, без стеснения разыгрывая Клаву и пытаясь разделить ее суть.

— Юра, стоит ли наше знакомство начинать с перепалки? Я ведь серьезно, а вы... Вам это не идет!

Стой, Алтайский, вспомни, что в Нахаловке жили не одни нахалы, и тут явно уже не кондовая Нахаловка. Значит, надо беса загнать в пятку.

— Нет, Клава, не нужно, — сказал он. — Мы и так устали от драк с обстоятельствами, с самими собой...

— Вы пессимист?

— Я? Думаю, нет. Честно говоря, я просто долбо не видел женщин-землячек и не знаю, как себя вести...

— Знаете, Юра, в данном случае цель должна подсказывать средства. Будем говорить откровенно: вас интересую я, как женщина?

Алтайский закусил губу, чтобы не рассмеяться — вот она, «трудовая перековка»! — и, улыбаясь глазами, мотнул головой:

— Вы, Клава, начинаете мне нравиться, а ваш вопрос лучше оставить без ответа.

— Понимаю, вы относитесь к категории мужчин, которых женщина, просто как женщина, не интересуется. Вы, очевидно, однолюб?

— Просто виноват перед женой, вел себя по-глупому... Однолюбы — это те, кто нашел свою половинку. Я, кажется, находил, но уже потерял.

Клава встала:

— Юра, или вы садитесь рядом, или я тоже буду стоять...

Впрочем, чуть-чуть разомнусь, сегодня целый день сижу.

Алтайский не понял, хотела ли Клава, вставая, показать свою фигуру или действительно устала сидеть, но невольно отметил про себя, разглядывая прошедшую туда-

---

\* На х а л о в к а — район самовольных застройщиков в Харбине. По китайским законам самовольный застройщик не подлежал сносу, если успевал выложить печь и вынести на крышу трубы. «Нахалы» успевали сделать это за одну ночь.

сюда перед ним женщину: в общем — ничего, но не Галья-ленинградка, не Хельга-эстонка и не Шурка... Чулки, чей-то подарок, на ногах, достаточно стройных, но не точеных. Тусклые туфли, сделанные лагерным умельцем, может быть, и кандидатом наук, перековавшимся в сапожника, поскольку бытие определило его сознание, тоже сидят не совсем ладно...

— Знаете, Юра, — продолжала Клава, делая еще несколько шагов вперед-назад, демонстрируя при повороте не широкие, но достаточно выразительные бедра, — вы мне нравитесь, в вас что-то есть.

— И только? — спросил Алтайский, присаживаясь на диван.

— Нет, нет! Вы просто интересный человек, но с вами может быть и страшно, хотя бы потому, что вы не простите женщине ее слабость или измену.

— Знаю только, что в слабости женщины — ее сила, но ошибаться в женщине нельзя. Неверность первой женщины и ответная неверность мужчины были катастрофой для нас всех. Обманутый мужчина, чтобы не чувствовать себя обездоленным, сделался петухом, которому стало мало своей курицы... А в конце концов, обиженными оказались женщины... Знаю, что многим это непонятно и многим не нравится. Может быть, всем?

— Не всем, но кое-кому, — сказала Клава и села рядом, разглядывая Алтайского, который снял и сунул в карман халата безобразные очки. — Вот вы, оказывается, какой... — добавила она после паузы. — Мне почему-то хочется, чтобы вы знали обо мне больше, чем другие, поэтому слушайте... В Харбине я вышла замуж, очень любила своего мужа, прожила с ним почти два года. Потом каким-то мне непонятным образом попала сюда — может, посмотрела на кого-то косо, или сказала что-то не то, или не заметила ухажера с погонами, не знаю. И вот здесь я встретила человека, немного грубоватого, между прочим, хлеборез, — которого полюбила, и теперь не знаю, кого больше люблю первого или второго?

— А если вы встретите повара или врача? — вспыхнул и еле сдерживая себя, спросил Алтайский.

— Не знаю и боюсь...

Алтайский взорвался:

— Значит, будете любить троих сразу и не знать, кого больше?

— Не знаю, — ответила Клава, не понимая причину

возбуждения Алтайского. — Думаю, больше того, кто останется со мной.

— С глаз долой — из сердца вон! Вы понимаете, что говорите?

— Ну, что особенного я сказала, Юра? Может, я, как и вы, еще не нашла свою половинку...

— Потеряли вы свою половинку, Клавочка! — зло сказал Алтайский. — И никогда ее не найдете! Боже, как калечит людей лагерь! Неужели вы не понимаете, что потеряли душу, сердце, что живете по расчету? Продав себя за кусок рыбы или мяса с картошкой и хлебом, за чулки и туфли, вы пытаетесь найти себе оправдание, прячась под фиговый листок, который вы спутали с любовью! Расчетливый эгоист-хлеборез и чистый юноша, ваш муж, не могут они быть одинаково ценны для вас! Вам самой должно быть тошно от такого сравнения!

Лицо Клавы, потемневшее от первой фразы Алтайского, каменело от каждого следующего слова, в глазах нарастал страх по мере осмысления того, что она слышала:

— Юра, не говорите больше, не могу! — Клава закрыла лицо руками и опустила голову к коленям, сжавшись в никому не нужный, брошенный комочек. Между пальцев прорвались слезы, капнули на сжатые колени, покатались по подаренным чулкам и сорвались на пол около носков тусклых туфель...

Алтайский, поднявшись с места, чтобы уйти, остановился — к женским горячим слезам он и раньше не мог быть равнодушным и не успел еще в лагере стать чуркой, бездушной болванкой... Не сразу, не вдруг Алтайский понял свою вину, понял, что не имел права обнажать чужую исковерканную жизнь, в чем нет вины самой жертвы, как и всех тех, кто злой волей был лишен права быть хозяином своей судьбы.

— Прости, сестра! — растерянно и виновато сказал Юрий, опускаясь на колени, обхватывая руками наклоненную голову и прижимаясь лицом к влажным от слез безвольным, худеньким рукам. — Прости меня, ты не виновата! Мы все не виноваты в это проклятьем заклеянным мире!

Клава медленно подняла голову, не пытаясь скрыть заплаканное лицо с огорченными глазами и большими мокрыми ресницами:

— Ты сказал — сестра?!

Алтайский молча кивнул головой, не отпуская тонких

рук. Глаза Клавы вновь наполнились слезами, она прикусила губу и глубоко вздохнула с какой-то долей облегчения и... разочарования.

Алтайский повторил:

— Клавочка, ты сестра мне по доле, по духу. Я не имел права... Я ничего не должен был тебе говорить, прости меня!

Клава подняла руки, медленно вытерла ладонками лицо и положила их обратно в теплые руки Алтайского.

— И ты прости меня за ложь ради спасения, ради утешения самой себя. На самом деле мы, женщины, — просто игрушки, вам, мужчинам, очевидно, легче...

— В чем-то, может, и легче, а в чем-то и труднее. Из нас могут получиться ой какие подлецы. Мы можем стать убийцами, мерзавцами, ворами, крестинами по уму и сердцу! Из меня тоже хотели сделать вора...

Дверь отворилась, показался Володя со смеющейся Люсей. Они остановились, увидев Клаву, коленапреклоненного Алтайского и их руки...

— Вы хоть закрывайтесь, черт возьми! — с досады от «успехов» Алтайского рывкнул Володя. И не успели Клава и Юрий открыть рты, как оказались запертыми на ключ.

— Володя, открой! — не вставая и не выпуская рук Клавы из своих, громко сказал Алтайский.

Послышался шепот, и удаляющиеся шаги...

— Ладно, Юра, не надо, посидим, — сказала Клава, пытаясь улыбнуться. — Ты груб в своей откровенности, но человечен. Тебе будет трудно здесь... Хотя ты, в общем-то, беспощаден и страшен в своей правоте.

\* \* \*

Еще до подъема Алтайского срочно вызвали в барак, где помещалась бригада Валеева.

Тело Валеева без головы лежало на нижних нарах вагонки, неестественно скорчившись, с нацеленными в чье-то горло скрюченными, забрызганными кровью пальцами. Край нар и матрац, где кончалась шея, были порублены топором — по блестящим срезам дерева оставшимся чистыми от крови, хорошо было видно, как остро он был отточен... Отрубленная голова валялась под нарами, лицом к стене — Алтайский лица не увидал. Тут же лежал один из братьев Бержицких, убитый ударами по голове этим же топором.

Убийцей стал астеничный, застенчивый, маленький ростом бандит, состоявший в бригаде Валеева. Все знали, что бригадир уважает грубую, животную силу и терпеть не могли щупленьких и «доходяг» — слабых физически. Убийца предупреждал Валеева, просил перевести в другую бригаду от греха подальше, но Валеев был неумолим:

— Я те научу родину любить! — этой любимой фразой, подчеркнутой презрительным прищуром глаз-щелочек, Валеев прекращал любые разговоры с доведенными до отчаяния бригадниками. Умышленно или по глупости он не давал передышки в работе, обедов и доппайков «доходным», ослабленным и всячески обихаживал здоровых. Не имея понятия о справедливости, солидарности и прочей «мути», главным Валеев считал отношение к нему начальства, которое сытно его кормило, поощряло за послушание, тупоумие и старания по «перевоспитанию трудом» трудновоспитуемых слабаков. Из них полагалось выжать последние капли сил и разума на благо «общества и государства» перед тем, как они сдохнут. «Хоть бы ты сдох скорей, что ли!» — эту фразу Валеева Алтайский не мог забыть, хоть и старался...

Крепкие физически бригадники не были и не могли быть друзьями Валеева; они относились к нему, как к неизбежному злу, которое их все же кормит, дает премии. В окружении здоровых мужиков, с индальгенцией от начальства на непогрешимость, Валеев чувствовал себя повелителем и хозяином животов и душ.

Застенчивый бандит с черными решительными глазами и нервными руками — Алтайский видел его несколько раз в санчасти — оказался безжалостным судьей и палачом. Впрочем, единолично вынести и исполнить приговор, не только ради себя, но и людей, ради справедливости, за которую он сам будет неминуемо расстрелян, мог взять на себя, наверное, не столько бандит, сколько человек отчаявшийся, безмерно ожесточившийся.

Бержицкий стал случайной жертвой. Проснувшись и увидев, как кто-то маленький отделяет голову мертвого Валеева, не чувствуя страха от возмущения ненужной жестокостью, он бросился вниз с верхних нар, рассчитывая на свою силу и ловкость, но реакция настороженного убийцы и его острый топор сработали быстрее...

После расчета с бригадиром и его защитником, опьяневший от крови убийца вытер руки и топор об одеяло, не



торопясь прошел мимо оцепеневших обитателей барака, на выходе бросил топор к дверям вахты:

— Подберите вашу суку! И еще одного... Того жалко, но сам полез...

\* \* \*

И еще одна жизнь. Вернее, ее закат.

Через несколько месяцев после отправки из Верзней Тавды этапа с товарищами тихо скончался Ваню Тер-Акопов. Потеряв надежду встретиться с семьей, он был совсем удручен отъездом товарищей — не осталось никого, с кем мог бы погоревать вместе.

Многие хотели бы улокоить его по-христиански, но не смогли.

Да будет тебе уральская земля пухом, мир твоему праху, дорогой товарищ и кавказский брат!

Ищите, други, эти безвестные могилки! Не только ради ушедших в небытие ваших отцов, жен, мужей, матерей, отцов, сестер и братьев, а ради таких вот достойных звания человека, как этот безвременно ушедший кавказский брат!.. Да и покалеченных, убитых морально тоже ищите — не их вина, что им досталась доля морских свинок в опытах строительства невиданного человеческого общества.

1960—1978

---

# РАССКАЗЫ

---



Где ты, Алеша?



Майн Рид по-советски



Соперницы



Джiovанни-Ваня





## Где ты, Алеша?

Станция Азанка в 1946 году мало чем отличалась от средних станций ветки Свердловск — Верхняя Тавда. Приземистое здание деревянного вокзала, разветвленные станционные пути, пара пассажирских поездов в сутки, небольшие раскиданные по пригоркам бревенчатые срубы серых домов без оград и улиц, — все производило впечатление нежилого или моалообитаемого места. На пустырях между домов кое-где торчали из песчаной почвы пни без коры. Проезжие места были обозначены колеями телег с копытной тропкой посередине. Поля и пригорки вокруг станции окаймлялись зубцами леса, то терявшегося вдаль, то различаемого в виде сборищ елей, пихт и сосен со светлыми прожилками берез и осины. Изредка тишину станции разрывали звонкие удары буферов, мирное пыхтение маневрового паровоза и дискантовые посвисты — то ближние, то дальние — паровозиков, болтающихся по «усам» узкоколейки. Вдалеке чуть слышно вгрызалась в дерево и то и дело захлебывалась дисковая пила и шпалорезки со специфическим звоном. Вторя ее атакам, натужно тарахтел движок локомотивчика, а с дальних путей доносились глухие уда-

ры об землю круглого леса, разгружаемого с узкоколейных платформ, и невнятные человеческие голоса.

Днем и ночью люди в засмоленных телогрейках разгружали, пилили, таскали, катали, грузили, кромсали ни в чем не повинный лес, и, в отместку, он выматывал их до полного отупления. Попробуй-ка справиться с тяжелыми сырыми бревнами, шпалами, березовым шпоном, авиалафетом и горбылем, когда весь инструмент — железные крючки, пила, топор да жерди, а вся механизация — утомленные мускулы.

Люди работали молча, и на их лицах не было радости — где-то рядом бродил конвой. Да и черт с ним, с конвоем, — пусть бы бродил себе, главное — к безмерной усталости не добавлялись бы мысли и тоска, которые точили душу и разум, да брюхо не было бы всегда пустым. Но нет сил что-то изменить. Начальство не знает, да и знать не хочет, как трудно быть в неведении о судьбе семьи; как трудно и непонятно, не совершив преступления, годами, десятилетиями жить за колючей проволокой; как бессмысленно трудна каторжная работа и как скуден паек, часть которого раскрадывается тем же начальством. Все еда — это хлеб, ячневая жидкая каша и баланда. Все без следов жира. От работы и недоедания люди «доходят» — худеют, болеют, в том числе психически, теряют контроль над собой. Одни звереют, другие отделяются от всех невидимой стеной, третьи замыкаются на мыслях о еде — добывают остатки рыбьих голов, варят их с крапивой или картофельной шелухой, если удастся найти...

Еще недавно большинство этих людей тихо и мирно жило в далекой Маньчжурии, у каждого была семья, работа, был дом и очаг. А сегодня они никому не нужны. Они рабочая сила — рабсила, обязанная выполнять все, что ей прикажут. И ведь они не заключенные. Взятые советскими органами после окончания войны в Маньчжурии, они прошли «филтрацию» — проверку для решения вопроса допуска их к участию в пятилетке «восстановления и развития народного хозяйства».

Виноватых или причастных к «антисоветской деятельности» в Ворошилове, Хабаровске и Спасске-Дальнем осудил военный трибунал к различным срокам лишения свободы, а у оставшихся — этих самых, которые здесь, в Азанке, Тавде и еще где-то у черта на рогах — не нашли состава преступления даже советские органы. А как быть?

Наверху рассудили примерно так: после «фильтрации» мог остаться тяжкий след у этих самых «профильтрованных», а потому впоследствии они могут стать «плохим агитационным материалом» о гостеприимстве отечества, поэтом обратно в Маньчжурию, к семьям, их отпускать нельзя. При открытом же общении с советскими гражданами они могут опять же выступить «плохим агитационным материалом» о жизни за границей. И решено было изолировать «профильтрованных» и отправить под конвоем с Дальнего Востока на северный Урал — как-никак, рабсила и пусть поработает бесплатно. После «фильтрации» и они уже почувяли, как надо любить Родину — язык у них не повернется не только разговаривать, но и мычать. А которые не почувяли — почувяют, будьте уверены!

Термин «изолировать» был придуман не зря — для ареста нужно основание и ордер, а тут просто: вы не преступник, но подлежите изоляции. Сами должны понимать, что разлагать идеологически стойких советских граждан выдумками о жизни за границей никто им не позволит!

И не позволили, и «изолировали», и сделали каторжниками и дистрофиками, и тихо-психо-тронутыми. И место выбрали удачное — медвежьи углы, где «закон — тайга, прокурор — медведь»... А ежели и после этого «профильтрованные» не научатся Родину любить крепко, то во всяком случае поймут, что власть шутить не любит — пустьдохнут хоть все разом, хоть по очереди...

Поняли это «изолированные», и каждый по-своему искал выход из тупика.

Осенью 1946 года вышеназванный контингент стал участником придуманного органами очередного фарса — «перифильтрации» и преследования, в основу которой был заложен принцип: был бы человек, а статья найдется. В этом же году решениями неконституционного особого совещания УралВО — Уральского Военного округа — всем «изолированным» без исключения были определены сроки лишения свободы от 10 до 25 лет...

Алексей Владимирович Светлов — сын протоиерея, худой, высокий, богобоязливый, уже замороженный работой и отчаявшийся, наверное, неожиданно и для самого себя, ушел с места ночной работы по погрузке вагонов. Перелезая через колючий забор зоны, он повис на нем. Подождал, не будет ли выстрела, и наконец, разодрав телогрейку, плюхнулся на землю. Еще подождал выстрела и, не торопясь, пошел к станции, сел в случайно подошедший

пассажирский поезд — вид его не слишком отличался от других пассажиров — и поехал. Куда, зачем, для чего — он не представлял.

Вообще-то он надеялся, что его подстрелят, когда он полезет через забор. Наложить же самому на себя руки — смертный грех...

Ехал Алеша до рассвета. Ему понравилось поле с темневшим в отдалении лесом на какой-то станции. Он вылез из вагона и побрел через поле к видневшемуся поселку. Возле крайнего дома увидел женщину, повязанную платком — пожилую, молодую или старую, не разобрать, — и спросил:

— Бабушка, а нет ли у вас чего-нибудь покусать?

— А ты кто такой? — проявила бдительность хозяйка, устанавливая пустые крынки из-под молока на козлономом столе.

— Из лагеря я, бабушка.

— Бежал, что ли?

— Да нет, бабушка! Умереть я хотел, да не пришлось...

— Свят, свят, свят, — скороговоркой проговорила бабка, крестясь. — Грех-то какой, знаешь?

— Знаю, бабушка. Вот я и хотел, чтобы меня солдаты убили.

— Ой, страсти-то какие! — испугалась бабка... — Бежал, значит? А ты знаешь, нам не велено ничего давать беспачпортным!

Из ее причесаний Алеша понял лишь, что она не даст ему поесть, и повернулся с безразличием и покорностью.

— погоди! Ну, куда ты? — остановила его бабка и задумалась: ведь парень уже больно худой, покладистый и не настырный...

— Может, ты бесконвойник? — попробовала она найти оправдание своей бабьей мягкости.

— Нет, бабушка, не бесконвойник и не заключенный...

— Так кто же ты есть? — опешила бабка.

— А я и сам не знаю, — только так и смог объяснить Алеша. — И паспорта у меня нету, — добавил он, снова поворачиваясь.

— погоди! — остановила опять бабка. На ее преждевременно состарившемся лице со светлыми глазами Алеша прочитал немую борьбу — бабкино сердце было явно за него. Ее нахмуренные брови расправились, во взгляде мелькнула решительность.

— На вот, мой горлачки, — строго показала она на крынки, а сама пошла в дом.

Когда она вернулась, Алеша стоял над тазом, держа в руках так и не замоченный в воде «горлачек».

— Ну, что же ты не помыл?! — укорила бабка. — Руки у меня грязные, бабушка, — ответил Алеша и показал руки с нестриженными ногтями, с давним налетом смолы, кусочками прилипшей коры.

— Ишь ведь ты какой! — неожиданно улыбнулась бабка.

— Ладно, я тебе полью. Вот только мыла нет. И хлебушка, — добавила она, вынимая из передника несколько картофелин и устанавливая на стол небольшую крынку с простоквашей. — Ты вот, с ополосками помой — показал она, разбалтывая в крынке воду, — знаешь, как отмывает, а потом чистенькой...

Алеша засучил рукава — молочные ополоски и правда отмывали руки.

— Ты и физиогномию тоже... — приказал бабка, придумав наконец, как бы ей выразиться покультурнее.

Алеша умылся.

— А, теперь вот ешь! — скомандовала бабка и отвернулась, когда Алеша куснул картофелину прямо с кожурой, а потом жадно припал к крынке с уже забытым запахом кислого молока...

Часа через два бабку окликнул немолодой сержант во главе группы вооруженных солдат с красными погонами и спросил, не видела ли она беглеца.

— Беглеца не видела, — ответила бабка. — А вот обходительного, чернявого да худого видела. Говорил, что не заключенный он и без пачпорта.

— Вот-вот, — перебил ее сержант, — нам его и надо!

— Так вот он к тому лесочку пошел. Сказал, что там где-нибудь на солнышке приляжет.

Когда солдаты уже подходили к лесочку, переговариваясь и бранясь, Алеша встал и неторопливо пошел к чаще. Сержант замер.

— Стой.

Алеша не оборачивался.

— Стой!

Алеша упрямо шел. Один из солдат вскинул карабин и, припав на одно колено, выстрелил. Алеша упал.

Бабка слышала выстрел и видела, как несли убитого. Ей почему-то показалось, что она не на Урале, а опять на

родной Смоленщине. И идет не сорок шестой, а сорок первый год... Тогда вот так же несли бойцы своего, только тот шептал:

— Бросьте меня, братцы.

А этот не шепчет, не говорит, только кровь капает через настил из веток...

И все-таки Алеша не был убит. Случилось чудо: пуля прошла через мягкие ткани шеи и, не задев жизненно важных центров, вышла. Через две недели он был здоров и перестал думать о смерти. Очевидно, вблизи он ее хорошо рассмотрел, и она показалась ему слишком измученной, уставшей косить. И он пожалел ее и больше не пытался отягощать работой.

Воскресшего Алешу осудили лагерным судом на пять лет исправительно-трудовых лагерей, когда еще ни один из «манчжурцев» не был судим.

Статья 58, пункт 14 означала «контрреволюционный саботаж». Так обычно расценивался побег осужденных по бытовым статьям. Но можно ли было судить не осужденного и не лагерника?.. И что есть тогда побег?

Мы учились с Алешей вместе в Харбинском университете, и хотя он был на другом факультете, но запомнился очень отчетливо.

Очевидно, потому, что был тихим среди горластых студентов и взгляд темных выразительных глаз его невольно привлекал внимание своей задумчивостью. Мне он был симпатичен. Видел я его последний раз в пятидесятых годах. Встреча была мимолетной, и мне не удалось перекинуться с ним даже парой слов.

Где ты, Алеша? Как живешь?



# МАЙН РИД ПО-СОВЕТСКИ

Ленинградский школьник Боря Орлов любил мечтать. Очевидно, Луи Буссенар, Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн, Даниель Дефо да и другие достаточно прославленные авторы были тому причиной. Мать Бори, любящая, заботливая, к тому же учительница не только по профессии, но и по призванию, поощряла увлечение книгами единственного сына.

Отличник Боря Орлов мечтал о приключениях в жарких тропиках, на необитаемых островах, о схватках с кишущими вокруг них акулами и пиратами. Ленинградский порт манил его запахами тропиков, рыбы и океанской соли...

По лагерному формуляру, Боря — шпион и контрреволюционный саботажник!

Боря больше молчит, рассказывает неохотно, видно, как борется с собой и мучается воспоминаниями, тщетно пытаясь восстановить провалы в памяти. Об этих провалах своей памяти Боря точно не знает, но видимо, догадывается и боится их повторения. Отягощенный печальным опытом своей короткой, но уже исковерканной жизни, Боря продолжает смотреть на нее еще мальчишескими глазами, в которых, когда он молчит, можно увидеть взрослую боль и недоумение: неужели это жизнь? Неужели так было и будет всегда? Как могут люди называть жизнь счастьем?

Боря недоверчив, резок, умеет по-лагерному постоять за себя, имеет неисчерпаемый запас сверхморских выражений. Он ничем не отличается от окружающего большинства озлобленных, обиженных и изувеченных. Такие же, как у всех, острые глаза, эгоизм и хваткость в вопросах животного существования. И только когда в его руках оказывается гитара или мандолина, то сквозь блатные припевки или виртуозный барабанный бой — особенно когда он поет для себя или для близких ему людей — только тогда проступает прежний Боря, худенький мальчишка-фантазер.

...К четырнадцати годам Боря просолился книжной солью дальних странствий настолько, что в ленинградском порту ему стало тесно. Он запасся провиантом за счет школьных завтраков, и к тому времени, когда припасов, по его мнению, оказалось достаточно, был готов и план. В Ленинграде мальчишек не берут на суда без подготовки даже юнгами, значит, надо попасть в лондонский порт Саутгем-

птон, где все капитаны бывшие юнги, и через некоторое время вернуться к маме уже капитаном.

Караулить подходящее судно было нелегко, но литературные рецепты ухищрений будущих капитанов достаточно разнообразны, и, применив еще и смекалку, Боря оказался в трюме грузового иностранного корабля, окончательно уверовал в магические рецепты. Припасов, по его прикидкам, у него было достаточно до Саутгемптона не меньше килограмма сухарей, кусок корейки и два рубля восемнадцать копеек денег, на часть которых Боря приобрел, про запас, кусок копченой колбасы...

К утру третьего дня плавания провиант у Бори кончился, но это его не смутило, так как, по его расчетам, на горизонте должен был появиться Саутгемптон. И верно — вскоре началась суматоха, застопорились машины. Боря высунулся на палубу, вдалеке увидел шпили знакомых церквей — не иначе как Вестминстерское аббатство — и без особых осложнений оказался на берегу. Люди говорили на непонятном языке, и это была первая неприятность — как он мог забыть выучить хоть один язык? Он попробовал договориться жестами с каким-то пожилым моряком с иностранным крабом на фуражке, который стоял на трапе не слишком большого судна, но моряк неожиданно дал ему монетку. Боря возмущенно отказался, а моряк позвал другого, который начал расспрашивать мальчишку на разных языках, но о чем именно, Боря так и не понял. Тогда Боря решил заговорить, и... оба моряка рассмеялись — оказалось, что тот и другой хорошо говорили по-русски. На это судно Борю не приняли, не приняли и на другие — кому нужен юнга, который и команд не поймет...

Наступил вечер. Очень хотелось есть, и Боря пожалел, что не взял монетку от доброго моряка — какой вкусный пирожок с мясом он мог бы купить! Бегающая огнями реклама, ярко освещенные кафе и рестораны с сердитыми швейцарами — все это было чуждым и недосыгаемым, как и сотни маленьких ларечков с мороженым, пирожными, пирожками, где советские деньги не брали.

По кое-где сохранившимся затертым табличкам с русскими буквами, по названию реки — не Темза, а Даугава — и, наконец: по вывеске на железнодорожном вокзале, Боря понял, что это не Саутгемптон, а Рига...

А деться было некуда — в парке, на берегах не то речки, не то рва, хотя и стояло много скамеек, но было страшновато — очень темно, сыро и холодно. Проплутав до

глубокой ночи, он наконец догадался пойти по течению реки и подошел к портовым причалам. Парохода со знакомыми моряками не было — он ушел вместе с Бориной надежной достать монету.

Выручила Боря гора тюков с чем-то мягким, закрытая большим грязным брезентом. Сонный сторож не заметил юркнувшего под брезент худенького мальчишку, хотя его белая рубашка была хорошо видна в темноте ночи. Голодный желудок поворчал немного. Запах грязного и пыльного брезента был не очень приятен, но переживания и разочарования дня да и страшная усталость оказались сильнее, и Боря заснул крепким сном, подложив под голову согнутую руку с пустым провиантским мешочком.

Утром Боря еще бы поспал — в его убежище оказалось тепло и уютно, — но кто-то начал стаскивать с него брезент, послышались голоса, фырчание автомобиля, гудок пароходной сирены. Когда брезент был стянут, Боря вспомнил, где он и что с ним.

Его ослепило теплое яркое солнце, он увидел гору белых тюков, заполнивших причал, двух рабочих и сторожа, устроившегося в стороне на отдельном тюке. Рабочие не обратили внимания на Боря, как и он на них — его глаза не отрывались от булки с мясом, которую сторож с аппетитом запивал молоком из баклажки. Пожилой сторож перестал есть, встретившись с Бориными глазами.

— У меня продукты кончились. Нет их, — сказал Боря, вывернув пустой мешочек, из которого упали несколько крошек.

— О! Продуктай... нет? — это все, что понял Боря из сердитой тирады залопотавшего сторожа.

— Взял я из дома, из Ленинграда, мало продуктов, не хватило, но я, честное слов, вам отдам, когда заработаю...

— Ле-нин-град! Мало продуктай, я, я, — согласно закивал сторож, недоверчиво поглядывая на Боря...

Боря облегченно вздохнул, когда в не очень выразительных глазах сторожа, окруженных морщинами, прочитал понимание, и чуть не подпрыгнул, когда услышал чуть дребезжащий голос:

— Я ве-рию, ты не раз-бой-ник!

— Конечно, я путешественник. Я много читал, я знаю, что устроюсь юнгой и сразу с вами рассчитаюсь...

— Ты голедний, ты глупый, — сказал сторож, прикусывая остатки булки с мясом и свободными руками развязывая узелок, который Боря только что заметил.

— Вы правы, — сказал Боря, следя за движением старика, — но я не глупый, я просто не рассчитывал, что путешественникам, кроме завтрака, нужен еще обед и ужин. И у меня просто не хватило...

— Опять глупый... — сказал старик, доставая из развернутого узелка оставшуюся половину булки с мясом и еще один чистый стаканчик. — Не ты не хватил... совет Россия не хватил... — добавил старик, подавая булку и наливая молоко в стаканчик из баклажки.

— Спасибо, я обязательно с вами рассчитаюсь... — учтиво, но скороговоркой сказал Боря, торопясь усмирить буркотню в желудке и дикое желание проглотить предложенное угощение разом.

— Ой, какая вкусная булка, и мясо — просто замечательное, — стараясь не торопиться и соблюдать учтивость, к которой чувствительны старики, бормотал Боря. — И знаете, в Ленинграде тоже есть очень хорошие булки. И мясо тоже есть, но вкус другой...

— На... — протянул старик стаканчик с молоком, — говорит нада все правда...

— Да, спасибо, я стараюсь. У меня мама учительница...

Через минуту Боря доел вкусную булку, запил молоком из стаканчика, который старик долил еще, опустошив баклажку.

— Спасибо вам большое! — сказал Боря старику. — Я буду стараться тоже угостить вас, но если по правде, я не знаю, когда смогу это сделать. Как устроюсь юнгой, возьму аванс и сразу к вам...

Старик, может быть, не все понял, но услышав слово «аванс», рассмеялся:

— Ты мальчик неплехий, ты глупый... юнга... аванс... — покачал он головой.

И хотя Боря не очень понял, что смешного было в словах «юнга», «аванс», но беседа продолжалась. Старика, хотя стариком он был пожалуй, лишь в Борином понимании, звали Иоганн. Он был австрийцем, недолго пребывавшем в русском плену, когда еще Бори на свете не было... Русский язык успел почти совсем забыть. Женился Иоганн на латышке, и остался в стране жены. В Австрию возвращаться было не к кому...

Боре Иоганн посоветовал вернуться домой, а когда его смена кончилась, он познакомил мальчика с таким же, как он сам, немолодым русским грузчиком...

Когда капитан советского судна, отчалившего в Ленинг-

рад принял Борю на борт, у Бори не было никаких иных дум, кроме мысли о маме, мягкой постели и борще со сметаной. На судне его желание исполнилось, только он не увидел мамы. Зато постель в матросском кубрике была тоже мягкой, а такого вкусного борща и каши он ни раньше, ни позже никогда больше не попробовал.

И, вот, знакомый Кронштадт, Ленинградский порт. Борю пустили даже на мостик, постоять рядом с капитаном, и пока судно причаливало, Боря мысленно уже входил в свою квартиру, а для мамы были готовы и слезы радости, и горькое рассказание.

Боря заторopilся и был первым у спущенного трапа, но какие-то дяди велели вернуться и предъявить документы. Напрасно он говорил этим дядям, которые поднялись по трапу вслед за ним, где он учится и где работает мама, — его погрузили в серую темную машину с решетчатым окном сзади. Окно закрыл собой солдат в голубой фуражке с красным околышем — такие Боря видел с мамой в театре на царских жандармах, только те с саблями, а этот с винтовкой. Знакомых улиц Боря так и не увидел и маму тоже...

Борю посадили в страшную тюрьму, в одиночку. По ночам вызывали, показывали карточки, называли фамилии, требовали признаться, по чьему заданию, что и кому Боря передал за границей. Боря объяснял, просил позвать маму, которая знает, как много он читал книжек, но Борю не понимали. Потом его начали пугать расстрелом, давать подзатыльники, пока Боря наконец не понял, что от него хотят подписки под какими-то бумагами. Он с радостью согласился и подписал, что был агентом остатков групп какого-то Савинкова. С застывшим в глазах ужасом Боря только поддакивал и подписывал исписанные листы, когда большие, взрослые дяди прочитывали их ему и называли его пособником десятков шпионов с незнакомыми фамилиями...

Через месяц вновь испеченный шпион-малолетка, осужденный «особым совещанием» по статье 58, пункт 6, часть первая — шпион в мирное время — поехал в «воронке» последний раз по ночным улицам Ленинграда и на дальних путях был поднят в еще холодный, решетчатый вагон-зак. Звона буферов, перестука колес, толчков и ругани Боря не слышал и не чувствовал — ко всему он был безучастен. Ему было безразлично, зачем и куда его везут, нужно или нет и вообще зачем жить без мамы?

Через неделю Боря был на центральном пересыльном пункте Востокураллага, в городе Верхняя Тавда Свердловской области...

На «комиссовке» в Тавде врачи поразились худобе и без того худенького мальчика, его глазам — большим, немигающим, его односложным лающим ответам и порешили направить его в ОП. В чистом бараке ОП Боря пробыл недолго: когда выхватывали у него пайку хлеба, глиняную миску с баландой, толкали, давали подзатыльники — он молчал, но когда помянули его мать, Боря превратился в пружину, — царапал, бил и топтал обидчика, пока сам не упал и уже не смог подняться... Боря отлупил мелкого ворюшку — социально близкий элемент, — и начальство посмотрело на инцидент по-своему. Лагерные врачи, направившие шпиона-Борю в ОП, получили взбучку, так и не узнав, за что, а Боря был направлен на границу с тундрой — в совсем гиблые места, штрафные лагпункты: Бокарюки, Санкино, Темрюки. Именно там полагалось кончать свои дни всем строптивым — и старым и молодым да ранним шпионам и прочим социально опасным политикам.

Что было дальше, Боря помнил лишь урывками... Помнил, что ему очень хотелось есть, и ни о чем другом он думать не мог. Он старался работать: пилил, колот дрова, возил дрова к квартирам начальства, к баракам конвоя и туда, куда еще прикажут, но еды не хватало, и он таял...

А в бараках зоны становилось все холоднее и холоднее — привозные дрова шли только начальству, кора и щепки в зону, на кухню. И взять дров было неоткуда.

Люди в бараках, с высокими «тундровыми цоколями», чтобы не оттаивала вечная мерзлота от тепла жилища, начали замерзать до смерти, а начальство разводило руками — так, мол, и быть должно. По утрам, когда открывались запертые на ночь бараки, раздавался бодрый голос дежурного держиморды:

— Мертвяки есть? Давай их сюда!

И окоченевшие «мертвяки», иногда еще теплые, раздетые до белья — их одежку делили уцелевшие — скатывались вниз головой по высоким лестницам. Еще теплые, катясь вниз, они иногда размахивали руками, дрыгали ногами, мотали головой, застревали, и дежурная держиморда брезгливо подталкивала их вниз оструганной дощечкой с записями. Под бодрый счет: один, два, три, четыре... «мертвяки» грузились в сани, и держиморда заходил в барак для проверки уцелевших и записи фамилий убывших.

Дальше у Бори был провал в памяти.

Очнулся он в палате «первой терапии» сангородка Востокураллага на станции Азанка, недалеко от Тавды, где лечащим врачом был «политик» доктор Арсеньев, а начальником сангородка — «мадам» Карасева, вольнонаемный врач, чудом не забывшая клятву Гиппократа. Добрый доктор Арсеньев взял шефство над малолетним «шпионом», и лишь с его помощью Боря узнал о себе больше, чем помнил сам...

Оказывается, в тундре, наслушавшись советов лагерных ловчих, доведенный до отчаяния и потери контроля над собой, Боря попросил иголку. Он выдернул нитку из лагерного бушлата, почистил ниткой зубы, вдел ее в иголку и чуть ниже локтя протасил иголку с ниткой под кожей. Как у него распухла рука, как он метался в жару и бреду, как кто-то сердобольный отправил его в Азанку, он уже не мог вспомнить сам.

Доктор Арсеньев, с помощью хирургов, чудом вырвал Борю из рук безжалостной старухи с косой и, будучи психиатром, не пожалел труда для восстановления Бориной психической полноценности.

Еще не оправившегося мальчишку судили лагерным судом за «мастырку» — членовредительство, — признали виновным в контрреволюционном саботаже и приговорили на основе статьи 58, пункт 14 УК РСФСР, к дополнительному лишению свободы сроком на пять лет.

Однако ласковые руки и доброе сердце растопили лед Бориной души, и он выздоровел, но не совсем — был обнаружен процесс в легких, что дало возможность доктору Арсеньеву продержат Борю у себя несколько лет. Нашлись и еще добрые люди, которые, увидев Борины способности к музыке, преподали ему первые уроки, и Боря заиграл на мандолине, балалайке и гитаре, да так, что у музыкальных цыган вызывал зависть.

После выздоровления Боря стал работать у доктора Арсеньева сначала санитаром, потом фельдшером, участвовал в коллективе самодеятельности и даже заслужил покровительство «мадам» Карасевой, без помощи которой Боря не смог бы оставаться в сангородке так долго. Но... Боря уже был совершеннолетним, и взрослого «шпиона» и саботажника не смогли удержать у себя ни Арсеньев, ни Карасева. Однако послать его на верную гибель, на любой рабочий лагпункт в лес им не позволили ни душа, ни серд-

це — вместе с другими больными он был направлен на Щучье озеро, специальный сангородок для больных туберкулезом заключенных Востокураллага.

В 1949 году Борис Орлов угодили в Восточную Сибирь, на трассу Байкало-Амурской магистрали, на ее первую очередь от Тайшета до Лены, в особый, закрытый, режимный «Озерлаг», где содержались особо опасные преступники.

В 1953 году, на одном из лагпунктов Озерлага, так и не дождавшись весточки от матери из послеблокадного Ленинграда, так и не поняв, что же такое жизнь, не узнав и не рассмотрев её, Боря Орлов погиб от туберкулеза легких...

Мир праху твоему, дорогой товарищ, осколочек человеческой жизни! Даже мертвый, ты можешь и должен пробудить чувства добрые и своей короткой, исковерканной жизнью растопить замороженные сердца тех, кто властен не допустить разгула властолюбия и бесчеловечности во всем мире и на нашей с тобой во многом изувеченной Родине!

1976



## Соперницы

1946 год. Ветка железной дороги от Свердловска к северо-востоку доходила в то время до Верхней Тавды, и по ней в центр непрерывным потоком шел лес. В Тавде, небольшом таежном городке, располагалось главное предприятие обширного района — управление Востураллага. Щупальцы его шарили по рекам Тавде и Туре с притоками, по железной дороге, бесчисленными узкоколейками дотягивались до лесной глухомани, до болот и тундры и приводили в движение рабсилу заключенных.

Лагерь считался исправительно-трудовым, но даже у бывалых рецидивистов-уголовников одно наименование его уже вызывало дрожь. Не дай, Аллах, попасть в него — в Шурыгинское штрафное отделение или совсем в гроб — Бокарюки, Санкино — в тундру, откуда вовсе нет возврата и нет спасения от костлявой старой бабы с косой. Не привезут туда жратвы и дров — загибайся. А все потому, что спросу с начальника нема, им же неохота возиться с дровами, переть их в тундру. Зачем, когда топливо можно возить только для себя и охраны. А жратву заключенных продать на месте втридорога не составляет труда — мало кому ее хватает в этих краях. За “черных” же, за мертвяков, с начальника лагпунктов спросу нет — людей поубавилось, значит, по команде новых пришлют.

Уж если ты попал в Востураллаг, держись поближе к поселкам, где есть отделения или ОЛП — особые лагерные пункты. Так, когда дойдешь — станешь тонким, звонким, прозрачным с голодухи, — есть шанс попасть в ОП, оздоровительный пункт, недельки на две. Здесь загнуться сразу не дадут, а сначала в сангородок отправят — там хоть жратва получше да пахать надо немного. А потом, будь что будет: день кантовки — год жизни.

Другие лагпункты все в гиблых местах: болота, гнус всяческий, надо пахать в голоде и в холоде. И вообще, чтобы не подохнуть в Востураллаге, надо мозгами ворочать. Правда, все равно, как ни крути, а всю дорогу тебя старуха с косой на зуб будет пробовать. Заболел взаправду — она рядом, замастырил — она тут. Саморубам тоже не светит — мало того, что руки и ноги лишились, надо еще лечиться, а если начальство разрешения не даст — старуха опять тут. Опять же мастырщиков и саморубов судят, дают пятьдесят восьмую пункт четырнадца-

тый — контрреволюционный саботаж. А это совсем труба дело. Вот и мозгуй, как замастырить или заболеть, да при этом с косою старушечьей разминуться, да начальничков обвести...

Если же попадешь в Азанку... Начальница там — Карасева. Человек! Кроме того, что сама специалист толковый, обслуга и врачи у нее больше из мужиков-политических... Там и мамочный пункт есть, где рожают мамки-зычки. Ворвам там, ну, вообще уголовницам с бытовыми статьями здорово светит — их активируют и по активровке досрочно освобождают вместе с дитем. Ясно, бабам прямой смысл забеременеть, тем более что мужиков хватает — конвой ВОХР, разные придурки и бесконвойные. Мамок хорошо кормят, пока дите живое, а умрет — не горюют долго — они уже отъелись и новых мужиков ищут. Тут и подхарчиться у них можно, а там, глядишь, и в зоне остался. Вот они, мозги-то!

Так заведено было и, наверное, не только в Востуралаге. Сангородки-больницы были оазисами, домами отдыха и санаториями для уголовников-бытовиков — бандитов, воров, убийц, насильников и прочего, по выражению начальства «социальноблизкого элемента». Им проще попасть в придурки, в ВОХР, «жениться» или «выйти замуж». Начальство это знало и не пыталось пресечь нарушения лагеря. Наоборот, особенно надежных, проверенных на преданность и приближенных поощряло «путевками» в сангородки для отдыха и утоления плоти...

И стала голой разновидность новой морали и любви, само зарождение которой и дальнейшее культивирование началось с недоброй памяти начала тридцатых годов.

После полудня к санитарке родильного корпуса сангородка Азанки Люське приехал «муж» Гришка, здоровый, черный, с пронзительными темными глазами и цепкими большими руками. Гришка, как и Люська — невысокая, простоватая, начинающая рыхлеть молодая женщина, — был уголовником-бытовиком. На воле он занимался грабежом, она специализировалась по квартирным кражам. Это не мешало Гришке свободно разгуливать без конвоя и быть комендантом ОЛП-5 самой Азанковской пересылки, то есть рукой и ногой начальника.

По документам Гришка прибыл в сангородок в принудительном порядке — для лечения застарелой гонореи, что

освидетельствовал медпункт ОЛП-5 и подпись с печатью самого начальника.

На пороге проходной Гришку встретила Люська, шатнулась к нему, но Гришка и смотреть на нее не стал — ткнул в бок и что-то промычал. Люська опрометью кинулась в барак готовить еду, а Гришка важно прошествовал в корпус «первой терапии». Показав направление и печать начальника доктору Арсеньеву, так и не осужденному с 1937 года, но просидевшему девять лет под индексом КРА\*, Гришка сказал:

— Эту липу справь, когда бабы приедятся. Они и еду для меня будут брать — стол пятый. Пока...

Возмущенный Арсеньев не успел выговорить и слова, как Гришка удалился с хозяйским видом. Прошествовав по дорожкам сангородка, он уселся на скамейку «пяточка» — круглой клумбы с радиально расходящимися от нее дорожками, обильно усаженными неказистым белым табаком. Гришка поправил гармошку сапог и сделал вид, что задумался. Жесткое сухое лицо его деланно нахмурилось, заиграли скулы, и стало видно, как он некрасив и убог духовно, груб и силен физически...

Гришкино одиночество длилось недолго. Из бани напротив выскочила юркая, смазливая бабенка Нюрка по прозвищу Чубчик, с только что закрученными буклями волос, прямо по клумбам, млея, пошла к Гришке.

— Сокол мой, — пропела она, — заждалась!

— Дура! — процедил Гришка, но лицо его разгладилось, глаза ощупали Нюркину фигуру, посерьезнели, и он снисходительно и неестественно улыбнулся.

— Вот, таким-то я тебя и люблю... — еще нежнее пропела Нюрка, до истомы в ногах, упиваясь видом здорового мужика.

— Дура! — еще раз протянул Гришка, с усилием отводя глаза от Нюркиных округлостей.

— Вот даст тебе Люська...

— Миленький, лишь бы ты был со мной. А старую стерву Люську уж как я разделаю.

Нюркины глаза дико блеснули — мужик-то был рядом и что могли стоять угрозы какой-то уже стареющей бабы на пути к эдакой красотище.

---

\* КРА — контрреволюционная агитация.

Гришка для вида упирался, когда Нюрка потащила его в баню...

Через час Гришка невозмутимо сидел на нижней наре двухъярусной «вагонки» в общем мужском бараке. Перед ним на тумбочке стояла миска жареной картошки, залитая омлетом на американском яичном порошке, раскрытая банка американской же свиной тушенки и литровая банка с молоком. Между ломтями хлеба лежали леденцы, разбросанные в умышленном беспорядке.

Выздоровливающие работяги, выписанные из больничных палат перед отправкой в лес, голодными блестящими глазами пожирали снесь и готовы были гадами ползти к ней по первому зову из любого угла длинного барака.

Люська сидела напротив, глотая слюну и будучи не в силах оторвать взгляд от густого пучка черной шерсти, выглядывающей из выреза Гришкиной майки. Унимая расслабляющую дрожь в коленках, она в который раз уже предлагала суженому попробовать отобранную у кого-то еду.

— Гришенька... — в истоме робко выдохнула Люська. — Отведай!

А Гришка продолжал смотреть в окно и молчал. Наконец он удостоил взглядом тумбочку, взял ложку, зачерпнул картошку, вывалил в рот и, уставившись в одну точку, начал медленно жевать.

Люська чуть заметным движением выразила восхищение.

Гришка взял банку, набрал полный рот молока и неожиданно прыснул все содержимое в Люськино лицо!

Люська не шевельнулась. В одну ее ноздрю попал кусок картошки, по лицу, подвитым волосам и отглаженному платью потекла жеванина, — она сидела как каменная, не меняя позы и даже не моргая...

Гришка не смотрел на Люську, как будто ее нет и кругом тоже пустота. Зачерпнул ложкой тушенку, хрумкнул несколькими леденцами, откусил кусок хлеба и снова начал лениво жевать. Не дождав, хлебнул молока, двигая щеками, как это показалось замороженным работягам, размешал все в необъятной пасти и снова прыснул в Люськино лицо. И снова и снова...

Когда так с ужином было покончено, вся картошка, часть тушенки, хлеб и остатки леденцов расположились в люськиных волосах, в вырезе платья, на коленях и на полу в потеках. Остаток молока Гришка вылил на Люськину го-

лову, по-хозяйски прикрыл банку с тушенкой, сунул в рот горсть леденцов и неторопливо вышел из барака, сворачивая на ходу в «козью ножку» восьмушку полулиста «Уральского рабочего».

Когда за Гришкой закрылась дверь, Люськино лицо ожило, и на нем отразилась дикая ненависть:

— Нюрка, гадюка!!!

Едва сдерживая дрожание губы, сцепив руки, Люська недолго колебалась. Как подхваченная ветром, она, не утираясь, лишь обмахнув платье рукой, тяжеловатым бегом рванулась в женский барак.

По дороге ее уже караулила Нюрка. Только мгновение они смотрели друг на друга ненавидящими глазами. Люська первая толкнула соперницу головой в грудь. Задышав от нехватки воздуха, ловкая и более молодая Нюрка успела ударить Люську ногой в подбородок, когда та падала на нее всей тяжестью со скрюченными пальцами, нацеленными на горло. Люська шлепнулась рядом, как мешок, но в следующее мгновение, лежа, начала лягать опрокинутую соперницу. Нюрка почувствовала, что уже может дышать глубже, и вскочила. Поднялась и Люська, и обе вцепились друг другу в волосы. Когда от нестерпимой боли одна из голов опускалась слишком низко, коленка соперницы жестоко била в лицо. Нюрке удалось вырваться. Резким движением она ударила соперницу головой в грудь и обеими кулаками в живот снизу. Люська тяжело села.

Победа была полной, и Люська не сопротивлялась, когда, зачерпывая пригоршни грязи, Нюрка мазала ей лицо, шею, грудь.

Визг и крики не потревожили Гришкиного созерцательного благодушия. Он сидел на полюбившейся ему скамейке и не трогался с места, в то время как больные и обслуга бежали к месту дуэли его зазноб.

Но Нюрка — «воровка по первому разу» — по неопытности рано праздновала победу и напрасно поторопилась ополоснуться, припудрить зубным порошком царапины и ссадины на припухшем лице и одеть чуть помятое платье, в котором она встретила Гришку.

Люська через десять минут после поражения была готова к новому бою — она появилась в женском бараке с «коллективным» детским горшком, одолженным в детском саду у не посмевших отказать нянек.

— Девки!!! — громко прошипела она у порога, — а ну, дуйте, кто чем может и хочет! Только побольше, падлы!

Девки, у которых Люська ходила в жоках, как женщина, для которой нет запретов — и убить может, — постарались, и еще через десять минут все было готово.

Люська заняла ключевую позицию за щитом, закрывающим прямой выход из уборной, и притаилась за дверью второго «очка»...

Стемнело. Лес, окружавший сангородок, молчал. Стрелокотали кузнечики. Воздух, настоенный хвоей и запахом цветущего табака, был неповторимо чист и свеж.

Нюркина душа пела гимн победе, когда, перед тем как похвастаться о ней Гришке, она захотела на минутку заглянуть в многоместный домик с деревянной трубой. На ходу напевала все известного «чубчика-кучерявого». Зайдя за щит уборной, она прервала пение на словах: «развейся весел, как и я...» Заметив мелькнувшую тень, она почти осознала, что ей еще может угрожать опасность, но было уже поздно — на ее голову опустился горшок. Задышавшись, не видя ничего, сдернув тяжелый и гадкий головной убор, она стукнула им одну из «шестерок» Люськи, но в следующее мгновение была сбита с ног и упала лицом вниз. Забрызганная нечистотами Люська сидела на ней верхом, с дикой радостью намотав волосы соперницы на руку, приговаривала:

— Вот тебе Гришка, вот... тебе... Гришка... — и после каждого слова тыкала ее лицом в нечистую землю.

Нюрка сразу обессилела от сознания собственного позора — она могла только плакать...

Гришка ждал с деревянным безразличием. В темноте Люська не разглядела гримасу разочарования, мелькнувшую на Гришкином лице, когда он узнал ее. Она подошла вымытая, в чужом халате, надетом на голое тело. Гришкино лицо было непроницаемым: привычка не переть против чужой силы, подлости, коварства, против того, чем победила Люська, так вкоренилась в нем, что раздавила тлевшую искру чувства к веселой Нюрке. И Гришка размяк, глянул на Люську, даже улыбнулся, запустил руку под подол халата, похлопал по голой ягодице и сказал:

— Здорово ты права качаешь, сразу видно, что жена!

Через неделю Гришка отдохнул. А ему было от чего отдыхать — он порядком отбил руки и обломал один «дрын» о спины работяг, в том числе и воров, которых он таким образом выгонял на работу. Не все же время быть с бабами, и Гришка «пошел в народ» — в общий барак, в котором его пыталась кормить Люська.

Обнищавшие за время болезни выздоравливающие работники были рады толстому кисету с махрой и газете, которые Гришка щедро выложил на большой стол посередине барака. Притихшие разговоры возобновились, но, по понятиям Гришки, они были мелки и не давали возможности отвести душу. Гришка молчал, наблюдал и слушал. Он узнал кое-кого по знакомым спинам, которые он гладил «дрыном», и увидел, что многие из этих спин закурили махру — значит, понимают, что такое комендант. И Гришка решил, что подошло, лед тает и можно высказать свое наболевшее. Бесцеремонно и глубокомысленно Гришка изрек:

— Эх, знали бы вы, какие люди пропадают!

Пауза оказалась слишком длинной, и кто-то, желая развить Гришкино человеколюбие, услужливо поддержал его:

— Да, Гриша, действительно, есть люди. Вот в четвертом бараке совсем доходит профессор Никаноров, его вся Россия знает. Там еще...

— Э-э-э! Ну, ничего-то ты не понимаешь! — возмущенно и искренне перебил Гришка. — Что мне твои профессора? Это же пустые пузыри, не люди, а я о людях говорю! Вот — Серега Артемов-Свист, это ж мировой щипач. А загибается от чахотки — вот о ком жалеть надо! А Бузила! Санька-Мокрушник! Гришка Осипов! Ахмет-Пльвун!.. Да все твои прохвессора их правилки\* не стоят! Ну, ничего-то вы не понимаете, а еще «мужики»!

И, отсыпав часть махры и оставив огрызки газеты, Гришка с огорчением удалился.

И все же оказалось, что Гришкины эмоции были более людскими, чем у тех, о ком он сокрушался. Выполняя волю лагерного начальства, Гришка нарушил воровские законы — «ссучился», перестал быть «вором в законе», каким он числился. Первый узнавший об этом «вор в законе» обязан убить «суку», и если бы он этого не сделал, то второго убил бы третий...

Через полгода Гришку нашли в одной из каморок при бараке ОЛП-5 прибитым к полу десятком железнодорожных костылей. Поговаривали, что организатором был Санька-мокрушник.

---

\* П р а в и л к а — жилет, неременная принадлежность „вора в законе“.

## Джиованни — Ваня

Станция Парчум небольшая, нахохлившаяся, хмурая стоит на сотом километре Байкало—Амурской магистрали, если считать от Тайшета. Группки домиков разбросаны на солнышке небольших холмов в окружении огородов, тайги и зарослей малины. После станции дорога поворачивает направо, петляет среди пней просеки и теряется в гуще тайги...

Перед поворотом, слева на пригорке, зона временно изолированных советских и прочих граждан. Глухой забор, подойти к которому изнутри помешает сначала «шатровая зона» из колючей проволоки, натянутая между анкерами в земле и верхом столбов, такая же колючая изгородь перед забором. За столбами распаханная полоса, на которой остаются даже птичьи следы и сам забор с вышками на углах и на поворотах, где торчат «попки» — часовые, прожектора и пулеметы... Снаружи, за забором, опять распаханная полоса и опять «шатровая зона», за которой тянется тропочка, вытопанная ногами сменяющихся нарядов «попок» и проверяющих.

Лагерь инвалидный, и можно было бы не соблюдать охранных строгостей, да куда там — не положено. И Берии уже нет, и лагерников не гоняют с руками за спину или взявшись под руки, и не кладут в грязь всем строем, но куда денешь инерцию? И по инерции же на вышках звучат подбадривающие слова передачи постов:

— «Пост по охране изменников Родины, шпионов, террористов, диверсантов сдал». И в ответ:

— «Пост по охране изменников Родины, шпионов, террористов, диверсантов — принял...

И, между прочим, этих самых изменников Родины и прочих шпионов уже изредка выпускают за зону — расконсервируют. Носят они в зону малину и все прочее, что в лавках есть. Есть у шпионов даже деньги — уже больше года за работу им платят наличными, гроши, конечно, но кое-что и прикупить можно к пайку, папиросы, махорку. Если инвалид работает — то можно отказаться от лагерного стола, сняться с довольствия и питаться в платной столовой, оплачивая только вещдоловствие и постельные принадлежности. Одним словом «житуха» стала куда лучше, и не жратва теперь смысл и цель этой житухи, а свобода: «Ну, когда, черт возьми, выпустите? Если уж обделались



со своим репрессивным аппаратом, то отворяйте ворота! Ух, телега скрипучая, если такая тянучка и дальше будет продолжаться, то и до конца сроков дотянется!»

Начальство уже боится отбирать у «зыков» где-то купленные часы или реквизировать приглянувшуюся одежонку как неположенную. Боятся потому, что в новых веяниях никто пока разобраться не может и, кто знает, может, завтра один из изменников Родины будет назначен начальником и сразу же посадит начальника теперешнего просто по причине знания какого-нибудь нового указа, приказа или предписания, по которому, может, и расстрел полагается старому начальнику как бывшему бериевцу...

Ходил тут в дневальных незаметный мужичишко — изменник Родины, и вдруг приехала комиссия, надела на изменника форму офицера-пограничника с полным «иконостасом», оказывается, честно заработанным на Халкин-Голе и в Финляндии, подхватила под белы ручки, усадила в мягкий вагон воезда и вдогонку кланялась — изменник-то еще в начале войны Брест защищал целых два месяца в тылу фашистов. Хоть и докладывал он в свое время об этом следователю и всем прочим, да все впустую. И вот, надо же, через десяток лет проверили — и вышло, что изменника не сажать было надо, а давать звезду Героя... И случился с начальником лагеря конфуз — только накануне он героя обляял и посадил в изолятор для порядка за то, что метла не там стояла... А герой-то, оказывается, еще человеком был, ведь мог «подвести под монастырь» этого начальника, если бы пожаловался, а он ничего не сказал — просто никому из лагерного начальства руку не подал на прощание. Правда, сукин сын, в форме, с иконостасом, не только обнимался, но и целовался с другими изменниками Родины, шпионами и диверсантами — хоть бы форму с зелеными погонами не позорил!

Вот и попробуй тут не дожить до инфаркта! Разговоры еще среди верховодства самого Ангарлагеря идут, будто бунтовщиков из норильских лагерей скоро пришлют — особо опасных, которых не зазря на север посылали, а для тихой и болезненной кончины от цынги и недоедания. А они на тебе, хоть и меньше половины, да выжили...

В общем, лагерному начальству завтрашний день ничего не сулил хорошего, и, на всякий случай, чтобы не вызвать новый бунт, когда придут «особо опасные», кормежка была улучшена. Нашлась и одежонка получше, появились простыни, усиленно заработали «клоповарки» и

«прожарки» — закрытые, примитивно сваренные баки типа больших самоваров, из которых образующийся пар подавался в бараки по шлангам, обваривал и выдувал клопов из щелей и нар. «Клоповарки» иногда взрывались, поэтому нары стали разбирать, выносить на улицы, растрясая по дороге клопов, и опускать в горячую воду. А в бараках клопов пугали керосином, паяльными лампами и кипятком. После операции «Клоп» их становилось меньше, но жрали они зыков в три раза ожесточеннее, наказывая кормильцев за причиненное беспокойство.

Контингент лагпункта почтовый ящик — 120/1-105, в основном состоявший из неработающих инвалидов, собранных со всей трассы Тайшет — Лена, в общем не знал о причинах суматохи, но был не против китайской свинины, отечественной солонины, простыней и одежки лучше — в кои веки и инвалиды сподобились чуткого отношения. Однако шила в мешке не утаишь: поползли слухи, потом кто-то из начальства проболтался об «особо опасных» гостях, и все кончилось приказом освобождать бараки, которые лучше. Инвалиды сначала были огорчены тем, что не ради них идут улучшения, даже негодовали, потом, как всегда в лагере, смирились, прикинули и пришли к обычному выводу — если сегодня уж хорошо, то завтра будет лучше. А кое-кто даже хлопал в ладоши от радости — бесперспективные инвалиды получали щит из «особо опасных» и, судя по приготовлениям, особо обихаживаемых изменников Родины и шпионов. Обихаживаемых — значит, лучше снабжаемых, а кому не ясно, что у хлеба не без крох!

И вот норильчане приехали... Люди как люди, вещички не очень драные, пожилых мало — попробуй-ка выживи там, где «двенадцать месяцев зима, остальное лето»?

Нельзя сказать, что прибывшие вели себя заносчиво или вызывающе — они были просто лучше организованы и требовательны к самим себе. Быстро сформировали бригады, с охотой пошли работать. Тех, кто постарше, определили на места потеплее: заставили убрать вороватого и бестолкового завстоловой из бытовиков и поставили своего — толкового Ивана Алексеевича Спасского.

Вскоре наступила православная Пасха, и, к удивлению аборигенов, по этому случаю столы были составлены в длинные ряды и покрыты простынями. Состоялся общий праздничный обед — еда из обычных продуктов была приготовлена вкусно и сытно, порции вполне достаточные.

Удивление достигло апогея, когда после праздника качество и количество еды в столовой сохранилось и нечего было гадать, как такое могло получиться — просто были закрыты лазейки для воровства...

Организатором и душой всех этих перемен внутриларьерных порядков не без основания считали Спасского.

Он был невысокого роста, с темными, но начинающими седеть волосами, с несколько грубоватыми, русскими чертами лица, смягченными довольно пышными усами. По внешнему виду он выглядел чуть старше пятидесяти лет. Так и было на самом деле — он еще юношей покинул Россию во время гражданской войны и хлебнул сполна горькую чашу скитаний и неприкаянности рядового эмигранта.

...Насколько я помню его рассказы, после Турции и Африки Иван Алексеевич окончательно обосновался в Италии. Ему повезло с работой, он выучил язык, оперился, по любви женился на итальянке и получил права гражданства. Все было бы хорошо — жена и дети наполняли его жизнь радостью, но на Италию свалился Бенито Муссолини с чернорубашечниками, и началась поголовная мобилизация. Спасский — теперь уже Джiovани Паски — не избежал общей участи, прошел военную муштру и получил офицерский чин. Когда для похода в Россию в помощь бесноватому фюреру его «брат» — дуче сформировал «голубую дивизию», Джiovани Паски оказался в ее составе, — знание русского языка повернуло его жизнь в новое русло, и ни слезы, ни мольбы, ни пожилой возраст не помогли.

Остатки растрепанной «голубой дивизии» были подобраны частями Советской Армии и направлены в места не столь отдаленные на работы по восстановлению народного хозяйства. В их числе оказался Джiovани Паски.

Военнопленные, как известно, хоть и не были добровольными энтузиастами восстановления советского народного хозяйства, но работы выполняли и, в конце концов, трудом искупили свою оккупантскую вину. Начиная с осени 1946 года, их малыми партиями начали отправлять по домам. Дошла очередь и до «голубой дивизии»...

Весть о готовящейся отправке домой, в Италию, к семьям, была принята до озноба, и все заторопились.

— Слушай, Джiovанни, — обратился к Паски старший группы офицеров, — ты ведь знаешь русский язык, так помоги побыстрее уехать. Сходи к этой самой комиссии, если

надо пиши бумаги, переводы, словом, поспособствуй нашей скорой отправке.

— Си, синьор! — и Паски полетел помогать. В конце концов он сам разве не хочет поскорее увидеть жену и детей, по которым так соскучился? До этих пор Паски ни с кем из советских офицеров по-русски не разговаривал — не было нужды и, кроме того, он сам не понимал почему, но какой-то инстинкт подсказывал ему не рекламировать, что он знает русский. Пока же он шел к домику, где располагалось советское начальство, забыл об этой мысли, — слишком велико было желание поскорее отправиться домой...

— Скажите, — обратился Паски к дневальному, — кто здесь занимается вопросом отправки итальянских военнопленных?

Дневальный — солдатик МВД — вытаращил глаза: по остаткам форменной одежды он догадался, что перед ним итальянский офицер, а как «рубит» по-русски!

— А, вы, — заикаясь, вымолвил солдатик, — по какому вопросу?

— Хочу помочь в оформлении нашей отправки.

Солдатик на минуту задумался, потом подошел к двери без надписи, отворил ее и сказал:

— Товарищ капитан, тут к вам итальянец...

— Какой итальянец? — недовольно спросил голос.

— По-русски рубит, как мы с вами, товарищ капитан!

— По-русски? — изумился голос. И после паузы: — Ну, давай его сюда!

Паски, не дожидаясь приглашения, сам вошел в комнату и сказал:

— Гражданин капитан, по поручению итальянских офицеров я пришел помочь вам, если нужно, конечно, в нашей отправке. По-русски достаточно грамотен.

Немолодой, склонный к полноте, лысеющий капитан стал разглядывать Паски с нескрываемым интересом:

— Знаете, — наконец сказал он, — пожалуй, вы мне пригодитесь. Я все путаю итальянские фамилии, так и хочется скрестить всех одной фамилией Макарони или Спагетти... Потом еще провинции ваши, городишки. Кто откуда родом, черт их знает, можно и напутать... Вы все понимаете, что я говорю?

— Чего же мне не понимать, если я русский! — выпалил Паски и тут же в душе выругал себя — надо было просто сказать, что понимает.

— Русский? — капитан привстал от удивления. — Но вы же итальянский офицер и среди них нет ни одной русской фамилии?

— Все правильно, — ответил Паски, понимая, что врать уже не имеет смысла — проговорился. — По-русски я Иван Алесеевич Спасский, а по итальянски Джиованни Паски.

— Вот здорово! — опять изумился капитан.

— Иван, — пояснил Спасский, — по-итальянски Джиованни, а Спасский плохо звучит, Паски проще.

— Иван Алексеевич, — успокоился капитан, — можно вас так называть?

— Пожалуйста, гражданин капитан, я уже отвык, и мне это будет даже приятно.

— Вы, Иван Алексеевич, сказали, что по-русски достаточно грамотны? — Разве в Италии есть русские школы?

— Что вы, конечно, нет, — улыбнулся Спасский. — Я учился в классической гимназии еще в России.

— А как в Италии оказались?

— Я потерял родителей и родственников во время гражданской войны. Товарищи по гимназии посадили меня на пароход в Одессе и я уехал. Был в Турции, во Франции, даже в Африке, а устроился на работу в Италии, женился там на итальянке, есть дети, скучаю, хочу поскорее домой.

— А в России вам не хочется остаться?

— Откровенно говоря — нет. Мои понятия о доме сейчас ассоциируются с семьей, а она в Италии.

— Да, пожалуй, вы правы, Иван Алексеевич.

Через два дня бумаги с помощью Спасского были готовы. Спасского удивило только их количество, дотошность сведений о каждом, тогда как, по его мнению, можно было ограничиться куда меньшим объемом — речь-то шла о решенной отправке, пересчитал по головам, и хватит...

Спасского попросили еще помочь в оформлении итальянских солдат, что было кстати в безделье ожидания. Разбирая бумаги, он познакомился с другими советскими офицерами, в том числе с «оперативными уполномоченными», которых оказалось немало. С оперативниками рядовые офицеры общались только по нужде, и это было заметно...

Наступил день отправки. Радостные лица, шутки, смех, клятвы никогда больше не соватся в Россию — в общем, праздник наступающей свободы! Началась посадка в «те-

лячи» вагоны. Перед Спасским вырос старший оперуполномоченный:

— Иван Алексеевич, можно вас на минуточку?

— Да, пожалуйста, — ответил Спасский, и оба отошли в сторонку.

— К вам большая просьба помочь нам еще немного — денек, два. С вашим командованием это согласовано...

Спасский чуть не свалился с ног от этой новости.

— С командованием согласовано? Не может быть! — попробовал он протестовать. — Так не могло сказать наше командование. Они же знают, что я не меньше их хочу домой!

Поезд тронулся. Спасский оказался зажатым целой кучей оперуполномоченных.

— Не вздумайте кричать, Спасский, — тихо предупредил старший опер. — Можете улыбнуться и помахать рукой.

Вагоны все быстрее проплывали мимо. Знакомые, увидев Спасского, замахали было руками. На их лицах Спасский успел прочесть сначала изумление — почему ты не с нами? — потом подозрительность — почему ты остался вместе с оперативниками? — и наконец презрение — как мы раньше не догадались, что ты насадка, русский холуй!.. А Спасский окаменел и не мог даже поднять руки. Когда он осознал значение прощальных взглядов своих товарищей, мелькнул уже красный сигнал последнего вагона — путь домой, к семье был для него отрезан.

— Что вы сделали со мной, сволочи?! — простонал Спасский, проявляя непосредственность русской натуры. — Будьте вы прокляты!!! — Слезы душили его, горечь усугублялась от сознания своего бессилия: «Ну почему я не закричал сразу? Ведь Винченко, Патрик, Стефан могли остановить поезд, силой вырвать меня из рук этой сволочи... Будь она проклята, европейская сдержанность, надо было заголосить по-рязански, завывать по-волчьи... Дурак... Дурак... дурак...»

Через неделю свора, окрещенная Спасским сволочью, с особым удовольствием оформляла и «клеила» ему дело. Сначала пытались прилепить измену Родине, но спохватились и сделали из Спасского шпиона и пособника международной буржуазии — статья 58, пункты 6, часть первая — шпионаж в мирное время — и пункт 4 — содействие международной буржуазии...

За строптивость и несговорчивость Спасскому без суда

определением «особого совещания» назначили срок отсидки — двадцать пять лет. Негласное предписание повелевало использовать его в местах весьма отдаленных, откуда не возвращались живьем...

А Спасский выжил — настолько велико было желание реабилитировать себя в глазах товарищей, семьи и новой родины. Уже в шахтах Норильска Спасский ни на минуту не забывал свою семью, жену, детей, которым некому было помочь. Лучше бы он умер раньше среди товарищей, тогда жене было бы легче — ей дали бы пенсию.

Как были тяжки испытания, как тревоги и работа грызли тело — пусть расскажет он сам, если жив, конечно...

Мне он успел поведать несколько страниц своей эпопеи перед тем, как нас развели лагерные пути-дороги.

Особенно мне запомнился эпизод его мытарств перед отправкой из Норильска их лагерей.

Судьба еще раз была милостива к нему — оставила живым.

Итак, Норильск...

После кончины Сталина, МВД хотя менее уверенно, но так же жестоко продолжало обращаться с «временно изолированными» своими да и не своими гражданами, по прихоти судьбы оказавшимися в советских лагерях. В Норильске, где в основном содержались обреченные, строгости режима и конвоирования усугублялись местными «унтерами Пришибеевыми» и носили зверский характер. Номер на коленях и спине, закрытые на ночь бараки, отсутствие радио, газет, журналов — в общем, полная изоляция от мира не были так тяжки, как конвоирование на работу и с работы. Обыски с раздеванием догола, «шмоны», ходьба строем, взявшись под руки, унижительные действия конвоя, применение оружия при нарушении команд — все это было пакостно и привычно. Но когда по дорогам к шахтам и обратно вдруг раздавалась команда «Ложись!» и гремели выстрелы по непокорным... Укладывание в грязь стало системой обращения с заключенными, практикуемой ежедневно по несколько раз.

Сама по себе работа в шахтах отбойным молотком или киркой в промозглой сырости, вечной мерзлоте и темени была каторгой, но нет такого слова в лексиконе языков мира, которое бы определило степень каторжности работы под землей в одежде, специально вымоченной в грязи!

И конвой знал это, как знал и то, что заключенные после ежедневных «грязевых ванн» могли вымыться в бане

только раз в десять дней, а стирать и сушить одежду каждый день не было никакой возможности. Жалобы начальству на поведение конвоя приводили к окончательному озверению последнего, и вот люди не смогли больше терпеть.

В один хмурый день над всеми лагерями Норильска взвились черные флаги — было решено на работу не выходить. Переговоры уполномоченных от зон, среди которых был и Спасский, результатов не дали — начальство не посмело нарушить порядки, установленные самим Берией. Но в то же время оно не знало, и как быть. Входить в зону с оружием запрещал регламент — оно могло попасть и к заключенным, отправить в зону солдат без оружия опасно — заключенных больше. Наверное, сам сатана надоумил лагерное начальство обратиться к танковой бригаде, а танкисты не посмели ослушаться приказа МВД.

В то время, как в столице расстреливали Берия, Абакумова, Рюмина и К<sup>0</sup>, танки, с ходу, таранили и сносили норильские зоны — давили деревянные бараки и в них живых людей. Обезумевшие люди, выскакивающие из-под рушащихся барачков, оказывались в кольце вооруженного до зубов конвоя и собак. В отделившихся от общей толпы заключенных стреляли без промаха. Крайних рвали собаки, кольцо нападавших сужалось...

Голодных, ошалевших, деморализованных, выскочивших в чем попало, людей укладывали на холодную землю мокрой тундры, и следить за ними оставались несколько конвоиров с автоматами и собакой, а освободившаяся охрана направлялась для доблестного «взятия» следующей безоружной крепости. А люди оставались лежать сутками без права пошевелиться — сразу настигала пуля, да и соседа прихватывала... Многие тогда не встали — если не были застрелены, то окоченевали и пристывали навсегда к вечной мерзлоте.

Немало молодых осталось в тундре, а вот Спасский уцелел. Он считал, что молитвами своих близких!

«Лагерный телеграф» из уст в уста передавал, будто бы потом глава специальной комиссии, назначенной А. М. Маленковым, перед строем лагерного начальства сам расстрелял кое-кого из виновников бессмысленного уничтожения людей.

Было ли такое или не было, утверждать трудно. Можно быть уверенным лишь в одном: обличающих документов нет и не может быть, даже в сверхсекретных архивах.



Можно ли бросить тень на «ум, честь и совесть нашей эпохи»?

Скоро не будет и живых свидетелей. Да и живущие расскажут ли кому-нибудь сейчас о том, что им довелось увидеть и пережить?

В лагере, где души были открыты, не боялись делиться мыслями, а «стукачей» душили полотенцами по ночам, когда бараки были закрыты, в одну из таких безысходных ночей и рассказал мне свою эпопею Иван Алексеевич Спасский — Джиованни Паски.

Если ты жив, Джиованни, Ваня, Иван Алексеевич, дополни сам — много лет прошло и я не смог все рассказанное тобой восстановить в памяти, знаю лишь, что ты говорил правду.

Если тебя нет в живых и родные так и не знают правду о тебе, пусть эти строки реабилитируют тебя в глазах семьи и перед страной, которая приютила тебя и которую ты не предал!

Я не могу поступить иначе — это мой долг перед товарищем и его семьей!

Сообщите, люди, через радиостанции мира, жив ли Ваня или как живет семья Джиованни Паски и знает ли правду о муже и отце?!

---

---

## ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) имела важнейшее значение для политических и культурно-экономических отношений между СССР и Китаем – она была единственной сухопутной магистралью, которая связывала эти страны. КВЖД пересекала Маньчжурию с запада на восток и с севера на юг. Главный ее отрезок на линии «восток-запад», протяженностью более 1000 километров, начинался в Чите, где КВЖД соединялась с Транссибирской магистралью, затем пролегал по территории Маньчжурии, через Харбин и Мукден, и шел дальше на восток, до Владивостока. Вертикальный отрезок «север-юг» также начинался на советской территории, у Благовещенска, затем проходил по Маньчжурии через Харбин и следовал до города Чанчунь, находившегося в точке пересечения отрезков дороги и был неофициальной столицей КВЖД.

КВЖД строила почти целиком Россия, используя свои материалы, средства, рабочую силу. Было это перед русско-японской войной. Дорога являлась собственностью России. После революции, а затем изгнания японских, американских и английских интервентов из Сибири, с советского Дальнего Востока, Приморья и Забайкалья правительство СССР предложило главе правительства Китая Сунь Ятсену учредить совместную эксплуатацию КВЖД, что и было сделано.

Однако нормальная совместная эксплуатация дороги продолжалась недолго. После контрреволюционного переворота в Китае утвердилась гоминьдановская власть, опиравшаяся на блок буржуазно-милитаристских сил и проводившая политику антикоммунизма и антисоветизма.

В мае 1929 года было совершено нападение на генеральное консульство СССР в Харбине, участились нападения на КВЖД, провокации на советско-китайской границе с очевидной целью: спровоцировать войну с Советским Союзом. В сложившихся условиях Советское правительство вынуждено было заявить о разрыве дипломатических отношений с гоминьдановским правительством.

Японская агрессия в Маньчжурии, ее захват и образование марионеточного государства Маньчжоу-Го, которое японцы рассматривали как удобный плацдарм для будущего военного вторжения в пределы советского Дальнего Востока, – все это вызвало подъем китайского национально-освободительного движения. Среди прогрессивной китайской общественности началось движение за восстановление дипломатических отношений с СССР, который в продолжение всего периода маньчжурского кризиса последовательно выступал в защиту национальных интересов китайского народа. В декабре 1932 года состоялся обмен нотами между СССР и Китаем о восстановлении дипломатических отношений, что вызвало сильную реакцию со стороны Японии.

Правящая верхушка Маньчжоу-Го и японские военные власти, бесконтрольно хозяйничавшие в Маньчжурии, организовывали крушения поездов, грабежи и убийства советских людей, работавших на Китайско-Восточной железной дороге. Учитывая эту провокационную политику, невозможность в сложившихся условиях обеспечить нормальную работу КВЖД, советское правительство предложило выкупить его долю собственности железной дороги. Летом 1933 года в Токио начались японо-советские переговоры по этому вопросу, в мае 1935 года они завершились подписанием соглашения о продаже советской части собственности КВЖД правительству Маньчжоу-Го.

Советский персонал был уволен с железной дороги, оставаясь в вынужденной эмиграции.

А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе» писал: «... По той самой сталинской логике, по которой должен был сажаться в лагерь всякий советский человек, проживший за границей, – как же могли эту участь обминуть эмигранты? С Балкан, из Центральной Европы, из Харбина их арестовывали тотчас по приходу советских войск, брали с квартир и на улицах, как своих. Брали пока только мужчин и то пока не всех, а заявивших как-то о себе в политическом смысле... Более затяжно получилось с эмигрантами шанхайскими – туда руки не дотягивались. Но приехал уполномоченный от со-

ветского правительства и огласил Указ Президиума Верховного Совета: прощение всем эмигрантам! Ну, как не поверить! Не может же правительство лгать! (Был ли такой указ на самом деле, не был, – органов он во всяком случае не связывал). Шанхайцы выразили восторг. Предложено им было брать столько вещей и такие, какие хотят (они поехали и с автомобилями, это Родине пригодится); селиться в Союзе там, где хотят, и работать конечно, по любой специальности. Из Шанхая их брали пароходами. Уж судьба пароходов была разная: на некоторых почему-то совсем не кормили. Разная судьба была и от порта Находка (одного из главных перевалочных пунктов ГУЛАГа). Почти всех грузили в эшелоны из товарных вагонов, как заключенных, только еще не было строгого конвоя и собак. Иных довозили до каких-то обжитых мест, до городов, и действительно на 2–3 года пускали пожить. Других сразу привозили эшелонам в лагерь, где-нибудь в Заволжье разгружали в лесу с высокого откоса вместе с белыми роялями и жардиньерками. В 48–49 годах еще уцелевших дальневосточных ре-эмигрантов досаживали наподскреб».

## ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора.....	9
Реквием разлученным и павшим (повесть)	
Часть первая. Зов Родины.....	13
Глава 1. Плата за откровенность.....	13
Глава 2. Утро после допроса.....	25
Глава 3. Госпиталь.....	33
Глава 4. Цена хиромантии.....	43
Глава 5. Выздоровление.....	51
Глава 6. Как делаются агенты.....	61
Глава 7. Соломоново решение.....	73
Глава 8. Прибыли на место.....	79
Глава 9. На лесоповале.....	82
Глава 10. Жажда жизни.....	90
Глава 11. В следственном изоляторе.....	99
Глава 12. Схватка со следователем.....	111
Глава 13. Единственный способ ускорить следствие.....	115
Глава 14. Финал клееного фарса.....	120
Часть вторая. Невиданный эксперимент.....	127
Глава 1. Штрафник.....	127
Глава 2. Прощай, Тавда!.....	131
Глава 3. Можно ли было поступить иначе?.....	139
Глава 4. Мутные волны.....	149
Глава 5. Повороты судьбы.....	157
Глава 6. Шуркина любовь.....	167
Глава 7. Щучье озеро.....	177
Глава 8. Судьбы разные, трудные.....	184
Глава 9. Конец бригадира Валеева.....	198

## **Рассказы**

Где ты, Алеша? .....	216
Майн Рид по-советски.....	222
Соперницы .....	230
Дживанни-Ваня.....	237
Историческая справка.....	247

**К78** Краснопевцев Ю. Ф.  
Реквием разлученным и павшим: Повесть и рассказы. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1992. — 256 с. ISBN 5-7415-1011-6

Шпионаж в мирное время. Таков был приговор суда, по которому Юрий Краснопевцев провел почти десять лет в лагерях... Автор книги не претендует на художественное открытие темы, уже получившей название лагерной. Солженицын, Шаламов, Домбровский — эти и другие имена на слуху у современного читателя. Представленные же здесь рассказы и автобиографическая повесть «Реквием разлученным и павшим» (имевшая в рукописи подзаголовок «Записки заключенного») несут в себе непреходящую ценность документа — правда документа, художественно осмысленного, — так как написаны непосредственным участником и свидетелем событий.

*Документально-художественное издание*

**Краснопевцев Юрий Федорович**

**РЕКВИЕМ РАЗЛУЧЕННЫМ И ПАВШИМ**

**Редактор О. Н. Скябинская**

**Художник С. С. Логинов**

**Художественный редактор А. К. Лебедев**

**Технический редактор В. М. Панфилова**

**Корректор Т. В. Виноградова**

**Без объявления**

Сдано в набор 17.09.91. Подписано в печать 15.01.92. Формат 84x108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. кр.-отг. 14,28. Усл. п. л. 13,44. Уч. изд. л. 14,29. Тираж 10000. Заказ 124. Цена договорная.

**Верхне-Волжское книжное издательство**

**Министерства печати и информации РСФСР.**

**150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12. Типография № 2 Министерства печати и информации РСФСР.**

**152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.**



ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД,  
а в скором будущем КОНЦЕРН, имеет:

1. Надежные дизельные двигатели типа ЯМЗ-8423 с турбонадувом и предварительным охлаждением всасываемого воздуха с малым удельным весом и следующими особенностями:

- высокая экономичность
- хороший запуск
- малая тепловая напряженность
- удобство в ремонте и долговечность,

что позволяет отнести его к лучшим двигателям подобного типа.

2. Базовая модель ЯМЗ-8423 с мощностью 325 л. с. при 1900 об/мин. коленчатого вала предназначена для тракторов 7-701 М, а также аналогичные двигатели с мощностью 270 л. с. при 1700 об/мин. предназначены для фронтального погрузчика К-702 М для лесовозного трактора К-703 и автогрейдера ДС-98 Б.

Для фронтального погрузчика ТВ-272 ЮЭКЛ (объем ковша 4,2 м<sup>3</sup>) возможны две модели:

1. ЯМЗ-8481-01 мощностью 335 л. с. при 1900 об/мин. коленчатого вала.

2. ЯМЗ-8481-02 мощностью 310 л. с. при 2200 об/мин. коленчатого вала.

Эта малотоксичная модель предназначена для погрузки в тоннелях, карьерах, шахтах без вытяжной вентиляции.

Двигатель ЯМЗ-8421 предназначен для грузовиков МАЗ, двигатель 8424 для самосвалов БЕЛАЗ.

Все указанные двигатели могут быть использованы для дорожно-строительных машин и других узлов, таких как генераторные и компрессорные установки.

Тутаевский моторный завод выпускает также запасные части к двигателям ЯМЗ-236, 238, 240, 238 НД:

- блоки цилиндров

- головки блоков
- диски сцеплений
- гильзы-поршень
- водяные насосы
- масляные насосы
- маслоподкачивающие насосы для двигателя

### ЯМЗ-240

- коробки передач 238 А в сборе.

Кроме этого завод имеет развитое металлургическое производство и способен по чертежам заказчиков и ино-заказчиков изготавливать отливки из чугуна, стальные поковки, алюминиевые отливки.

С предложениями о сотрудничестве, заказами и деловыми предложениями обращаться по адресу: 152300, г. Тутаев Ярославской области, ул. Строителей, 1. Тутаевский моторный завод.

Телефон 2-13-98

Телефакс 21467

Семья Краснопевцевых благодарит всех принявших непосредственное участие в подготовке книги к изданию, и особенно спонсора Тутаевский завод дизельных агрегатов — директора т. **Малова** Александра Григорьевича (реклама завода размещена в книге), а также председателя общества «Мемориал» Юрия Борисовича Марковина — человека с неисчерпаемой энергией, стремящегося помочь репрессированным и их семьям и сумевшего много сделать на этом поприще.





